



# СОГЛАСИЕ

*Владимир Крюков*

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГРИМУАРА



*Олджернон Блэквуд*

ТАЙНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ



*Александр Давыдов*

АПОКРИФ, ИЛИ СОН ПРО АНГЕЛА



*Луи Повель*

ГОСПОДИН ГУРДЖИЕВ



3' 1994

---

---



# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

**№ 3 (28). МАРТ 1994 ГОДА**

МОСКВА. А/О «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

Владимир Крюков  
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГРИМУАРА

3

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Густав Майринк  
АНГЕЛ ЗАПАДНОГО ОКНА  
*Фрагменты из романа. Перевод с немецкого*

21

Георгий Иванов  
РАССКАЗЫ

53

Олджернон Блэквуд  
ТАЙНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ  
*Новелла. Перевод с английского*

71

Юрий Стефанов  
КОНЬ-ОСЬМИНОГ  
*Поэма*

91

Мирча Элиаде  
ЗАГАДКА ДОКТОРА ХОНИГБЕРГЕРА  
*Рассказ. Перевод с румынского*

97

Александр Давыдов  
АПОКРИФ, ИЛИ СОН ПРО АНГЕЛА

126

---

Дилан Томас  
ПАНОПТИКУМ  
*Новелла. Перевод с английского*

164

---

Юрий Соловьев  
СВИДЕТЕЛИ ГЕКАТЫ  
*Стихи*

166

---

Алексей Шишкин  
ШАГ ИНОХОДЦА  
*Рассказ*

170

---

Артур Макен  
IN CONVERTENDO  
*Рассказ. Перевод с английского*

176

---

**ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

Луи Повель  
ГОСПОДИН ГУРДЖИЕВ  
*Фрагменты из книги. Перевод с французского*

182

---

**ЭЗОТЕРИКА**

Рене Генон  
СИМВОЛИКА КРЕСТА  
*Главы из книги. Перевод с французского*

208

---

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Юрий Стефанов  
СКВАЖИНЫ МЕЖДУ МИРАМИ

219

---

*В подготовке номера приняли участие  
В. Ю. Крюков и Ю. Н. Стефанов*

---

---



Владимир Крюков  
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГРИМУАРА

*О вы, разумные, взгляните сами,  
И всякий наставленья да поймет,  
Сокрытое под странными стихами!*<sup>1</sup>

*Данте.  
Божественная комедия.  
Ад, IX, 61—63*

Гримуар... Черный кожаный переплет, кованые металлические застёжки... Подозрительно хорошо сохранившиеся пергаментные страницы, испещренные грозными, «крепкими, как смерть» заклинаниями, каббалистическими фигурами, таинственными символами... Хаос не поддающихся никакому воспроизведению знаков, магических формул, загадочных иероглифов, пантаклей и сигилл... Нервные, судорожные сплетения линий — «так и хочется сравнить их с корчами только что вынутого из петли человека»<sup>2</sup>, — странные, чуждые фонетическому строю любого из известных языков буквосочетания, предполагающие совсем иные, отличные от человеческих, артикуляционные возможности, принципиально другое строение органов речи... В какие же бездны архаических экстазов должен был погрузиться человек, чтобы там, в темном медиумическом трансе выговорить эти страшные заклинания! А может, никаких заклинаний и нет, подумает читатель, просто обычная чепуха, абракадабра? И лишний раз засвидетельствует, что одна из самых распространенных в Средние века магических формул, представляющая собой искаженное древнееврейское *abreg ad hábra* (Не оставь нас небесным твоим огнем до самой смерти)<sup>3</sup>, со временем превратилась едва ли не в ругательство. Впрочем, стоит ли удивляться, люди всегда были склонны считать чертовщиной все странное и таинственное, превосходящее уровень их понимания. Откроем любой словарь и убедимся, что с «гримуаром» аналогичная ситуация: «1. колдовская книга; 2. бестолковщина, тарабарщина». И все же попытаемся докопаться до этимологических корней этого «зловещего» слова. Робер (Robert. Dictionnaire de la langue française. P., 1989) утверждает, что *grimoire* — это искаженное французское слово *grammaire* (грамматика); другой, не менее авторитетный, источник (Trésor de la langue française, IX, 1981), скрупулезно фиксирующий современное состояние французского языка, выдвигает версию о том, что исходным материалом послужило слово *grimace* (гримаса; кривляние, лицедейство). Мы

же, в свою очередь, рискуем предположить, что речь идет, по всей видимости, о сложной контаминации нескольких слов, может быть, трех: два ингредиента уже названы, а третий, ключевой, — *miroir* (зеркало). Итак, гримасничающая грамматика, кривое зеркало, зеркальное письмо...

Очевидно, гримуар — одна из разновидностей «языка птиц», той сокровенной фонетики, знание которой открывается лишь на высших ступенях посвящения. Напомним древний нордический миф: только победив дракона Фафнира и омывшись его кровью, Сигурд (Зигфрид) обретает способность понимать этот сакральный язык. Точнее, гримуар — тот же «язык птиц», только ряженный в шутовские одежды, «Веселая наука» парижского Двора чудес (*Cour des Miracles*), официальным языком которого во все времена было *argo* (*argot*).

Трудно удержаться, чтобы не привести чрезвычайно остроумное толкование этимологии слова «арго», предложенное Фулканелли; этот современный герметик настаивает на том, что *gothique* (готический) — это позднейшая деформация *argotique* (арготический), утратившего свой рудиментарный префикс, что же касается слова «argot», то оно в свой черед восходит к названию легендарного корабля «Арго» (*Argo*)<sup>4</sup>. Утверждение, которое кому-то наверняка покажется спорным, но из него следует очень важный в контексте нашей работы вывод: «...человек, понимающий дух и букву арго, — прямой потомок аргонавтов, покинувших когда-то родину ради поисков Золотого Руна»<sup>5</sup>. Если учесть глубочайшую алхимическую символику мифа о плавании аргонавтов, речь идет о каббалистическом ковчеге с адептами, посвященными в его сокровенные законы, на борту — о герметической навигации, осуществляемой исключительно тайными, давно утраченными современным человечеством лингвистическими средствами. Среди экипажа этого фантастического «Арго» мы обнаружим и Франсуа Вийона, входившего в тайное общество Кокийаров (от фр. *coquille* — раковина), и его не менее знаменитого тезку — Франсуа Рабле (по свидетельству Фулканелли, «медонский кюре был не только посвященным, но и очень серьезным и глубоким каббалистом»), и Иеронима Босха, запечатлевшего в своем творчестве герметический символизм «Братства Свободного Духа» (*Nomines intelligentiae*)<sup>6</sup>, к которому он принадлежал. Мы могли бы назвать еще немало громких имен, однако вряд ли есть смысл перечислять их здесь, тем более что многие из них так или иначе будут упомянуты ниже.

Думается, что все вышесказанное об арго может быть отнесено и к гримуару, видимо, и тот, и другой — разные манифестации традиционного «языка птиц», внешняя абсурдность и темнота которых надежно охраняли герметическую Истину от любопытных взоров профанов. И все же эти «странные, непонятного происхождения вещи: пергаменты, испещренные таинственными иероглифами, растрепанные рукописи, от зловещей криптографии которых становится не по себе, какие-то, по всей видимости, редчайшие инкунабулы, мрачные толстые гримуары в черных переплетах из свиной кожи с массивными медными застежками и, наконец, несколько ветхих гравюр с жутковато загадочным содержанием — они как магнитом притягивают взгляд, завораживают своей энигматикой — непроницаемой, но тем не менее рождающей в душе неясные, волнующие ассоциации. Кажется, эта темная символика, минувшая верхние слои сознания, устанавливает тайную связь с неведомыми человеку глубинами его же собственного «я», однако на поверхность не проникает ничего, разве что тоненькая цепочка пузырьков, невнятно намекающих на что-то чрезвычайно важное, знакомое, только давно-давно забытое»<sup>7</sup>. . . В этих строках Майринк очень точно передал странное ощущение от первого соприкосновения с традицией, от смутного, еще не осознанного «подключения» к тайне.

Сразу внесем ясность: слово «традиция» мы употребляем в его изначальном смысле, не имеющем ничего общего ни с экзотикой фольклорных или этнографических обычаев, ни уж тем более с мертвым и косным консерватизмом «освященных традицией» политических направлений. Традиция, как ее понимал французский эзотерик Рене Генон (René Guénon, 1886—1951) посвятивший разработке этого фундаментального понятия всю свою жизнь,— это сокровенное, нечеловеческого происхождения Знание, пребывающее в вечном движении духовной преемственности: тысячелетиями передается оно из уст в уста, свидетельствуя о неиссякаемом Источнике, вне соответствия с которым человеческая жизнь лишена всякого смысла. Только традиция способна правильно, «по меридиану», ориентировать «отпавшего» человека, сознание которого замутнилось настолько, что сам он уже не в состоянии восстановить утраченную связь с вечными трансцендентными принципами, лежащими в основании видимого и невидимого универсума. Традиционное Знание кардинально отлично от так называемого «объективного» человеческого знания, получаемого исключительно экспериментальным путем, ибо оно основано на Откровении и природа его сверхчувственна — это относится к любой из «традиционных наук», совокупность которых и составляет традицию. И если профаническое знание мертвым грузом оседает в сознании, ничего, по сути, в нем не меняя, то постижение традиционных дисциплин трансформирует саму личность «странника», ступень за ступенью восходящего к «полярной вершине», чтобы там, в конце сакрального процесса-странствования, отождествить свое «я» с Абсолютом.

Когда-то в своем первоизданном, «адамическом» состоянии довременной мудрости, одним из символов которого является земной рай иудаистской традиции, человек воплощал собой основные духовные принципы мироздания, но после грехопадения внешний мир все глубже погружался в темную бездну материи, все более грубело, коснело и обмирщалось человеческое сознание, уже не способное к прямому восприятию предвечной Истины. Этим «перепадом высот» и объясняется расхождение между буквой и Духом традиции, между внешней ритуальной стороной доктрины и ее изначальным смыслом, который, по мере того как человечество «просвещалось», становился все более темным, непонятным и страшным. . . На Западе внешняя сторона традиционного Знания выродилась в религиозные формы, и человек, разъятый на тело, душу и ум, вместо «живой воды» традиции получил для каждой из своих составляющих соответствующий эрзац: обряд, мораль и догму. Что же касается сокровенного реверса, то он стал сугубо эзотерическим и манифестирует теперь себя в таких непроницаемо темных аспектах, постигнуть которые без традиционного посвящения совершенно невозможно.

К одному из таких «темных аспектов» следует, наверное, отнести и устную, так называемую «народную» форму, в которую облеклось традиционное Знание. Надо сказать, что священное учение дошло до нас в двух мало похожих и очень далеких друг от друга формах: жреческой, хранимой священнослужителями и запечатленной в сакральных текстах (Веды, Библия); и народной, устной, которая в весьма странном и подчас причудливом виде отразила вечную Истину в преданиях, легендах, сказках и обрядах. Люк Бенуа назвал это наследие наших предков «непонятным осколком высшего знания»<sup>8</sup>, восходящим к народной прапамяти (не путать с коллективным бессознательным!) и представляющим собой отнюдь не досужие выдумки, но редкую по полноте совокупность данных доктринального характера.

С течением веков тот глубинный «народный» слой, который хранил и передавал из поколения в поколение непонятное ему самому «наследство», конечно же, менялся. По мере того как официальная церковь, чтя букву и забывая про Дух, коснела в своем чисто внешнем служении Истине, все больше становилось изгоев и отверженных, которые,

прослав еретиками, оседали на дно общества, качественно преобразуя состав этого находящегося вне закона государства в государстве. Воистину, неисповедимы пути Господни: высочайшая Тайна Тайн — и разношерстная, буйная компания школяров, бродяг, воров, клошаров, вагантов, странствующих жонглеров, юродивых, словом, всех тех, кто имел честь принадлежать к подданным Двора чудес! Но разве не сказано: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом»<sup>9</sup>...

Дело здесь, очевидно, в зеркальном характере традиционного символизма: необходимо всегда помнить о том, что отражение в зеркале является обратным по отношению к отраженному в нем объекту. Высшее в мире причин становится низшим в мире следствий, и наоборот. Очень хорошо иллюстрирует этот зеркальный принцип то, что Генон называл «нисходящей реализацией». На высших ступенях посвящения человек, завершивший свое индивидуальное развитие в «тонком» мире, облачается в свое зеркальное отражение на земле, принимая образ какого-нибудь ничем не примечательного простолюдина, представителя самых презренных профессий: жонглеров, торговцев скотом, нищих, юродивых... Так даосские «бессмертные», дабы не возбуждать праздного любопытства и лучше смешаться с толпой, обычно являются людям в столь вульгарных обличьях, что никому и в голову не приходит искать под маской какого-нибудь вечно пьяного бродяги высокого посвященного.

Средневековым календарем были предусмотрены особые дни, которые как бы выпадали из общего, «нормального» годового цикла, дни, когда верх и низ менялись местами, когда странный ночной мир вдруг выплескивался на улицы, заполняя собой храмы, университеты, дворцы... Тогда, среди бела дня, в праздничной атмосфере средневековых карнавалов и так называемых «храмовых праздников», сопровождавших обычно ярмарками и буйными площадными увеселениями — тут были и великаны, и карлики, и уроды, и ученные звери, — можно было разглядеть глубочайшую сокровенную основу, на коей созиждилась вся эта пестрая абсурдная фантазмагория. Взять хотя бы «праздник дураков» («*festa stultorum*») или «праздник осла», когда веселый «пасхальный смех» («*risus paschalis*») сотрясал гордые своды готических соборов... Оба эти действия, очень похожие на разнузданную оргию, восходили к римским Сатурналиям; «...самой замечательной чертой этого праздника — она-то больше всего поражала воображение древних — была свобода, дававшаяся в такое время рабам. На время Сатурналий различия между господами и рабами как бы упразднялись — раб получал возможность поносить своего господина, напиваться, подобно свободным, сидеть с ними за одним столом»<sup>10</sup>. В период этого античного карнавала, который кипел на улицах Древнего Рима с 17 по 23 декабря, ряженые избирали своего «лжецаря» — в некоторых странах этому калифу на час даже вручались монаршьи регалии, и вся полнота власти переходила на смутное карнавальное время к нему, — однако ночью, к исходу праздника, толпа предавала своего избранника ритуальной смерти. В эпоху Средневековья до кровопролития, правда, не доходило, — шуты ограничивались поруганием и осмеянием своего «бобового короля» («*roi pout rige*»), но это, пожалуй, единственное отличие. Так же упразднялись все иерархические отношения, слуги помыкали господами, и мир в полном смысле этого слова становился на голову: под гром барабанов растекались по средневековым улочкам фантастические процессии с шутовскими герольдами и акробатами, с фокусниками и мистерийными демонами, с «дикарями» и «лесными женщинами», с потешными огнями и карнавальным «кораблем дураков» («*Narrenschiiff*»)<sup>11</sup>, а над всей этой жутковато глумливой и невероятно смешной вахханалией безраздельно воцарялась Ее Величество *Parodia Sacra*.

В Средние века пародийная литература, так называемая «литерату-

ра дураков» (Narrenliteratur), традиционно связанная с шутовским, балаганным мироощущением, была распространена весьма широко. Вспомним знаменитую «Вечерю Киприана» («Coena Cypriani», V—VIII вв.), представляющую, по словам Бахтина, «своеобразную карнавално-пиршественную травестию всего Священного Писания (и Библии и Евангелия)»<sup>12</sup>. Другое древнейшее произведение смеховой литературы — «Вергилий Марон грамматический» («Vergilius Maro grammaticus») — остроумная пародия на латинскую грамматику (вот она, «гримасничающая грамматика» собственной персоной!) и набившую оскомину школьную премудрость. До наших дней дошли многочисленные пародийные литургии, шутовские парафразы евангельских чтений, молитв («Отче наш», «Ave Maria»), псалмов, литаний, постановлений соборов и т. д. Высшим достижением этой странной традиции по праву считается «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского. Исключительно богаты, своеобразны и многозначны карнавалы средства выражения — современному человеку трудно, почти невозможно «понять этот полузабытый и во многом уже темный для нас язык»<sup>13</sup>. В мистериях нередко звучали речи на редких, незнакомых, намеренно искаженных и даже несуществующих языках, которые должны были вызывать смех своей чуждостью и непонятностью. В знаменитом фарсе «Мэтр Патлен» герой наряду с бретонским, фламандским, лимузинским, лорренским, пикардийским, нормандским наречиями и макаронической латынью время от времени для пущей важности употребляет несуществующий язык, который он называет «гримуаром» («grimoire»). Не следует только забывать, что толпа была лишь слепым проводником этой сатиры — хотя и привносила в нее немалую лепту! — но сам импульс шел со стороны сокровенного знания, того самого, на которое намекнул незабвенный Алькофрибас Назье, «извлекатель квинтэссенции»: «...в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны»<sup>14</sup>.

Именно этим неявным присутствием тайного знания и следует, пожалуй, объяснять то, что в эпоху Средневековья гротескные праздники, «носящие пародийный и даже кошунственный характер, не только допускались, но в какой-то мере официально поощрялись»<sup>15</sup>. Во всяком случае официальная церковь еще не совсем забыла об отвергнутом строителе Храма, да и рукотворные соборы достаточно ясно свидетельствовали всеми своими архитектурными элементами, гармонией пропорций, способом кладки, темной для непосвященных символикой искусных барельефов, цветами витражей и розеток, странными фигурками химерических чудовищ, забравшихся под крыши, прицепившихся к шпильям, за таившихся в сумрачных нишах, о причастности сокровенной Традиции. Не следует также забывать, что в ту благословенную пору герметические науки процветали в основном за высокими монастырскими стенами, под сенью монашеских орденов и большая часть знаменитых адептов была духовного звания: аббат Тритемий, монах-бенедиктинец Базиль Валентин, английский францисканец Роджер Бэкон — Doctor admirabilis, испанский францисканец Раймон Луллий — Doctor illuminatus, папа Иоанн XXII, епископ Гийом Парижский — инициатор создания герметического барельефа на главном портале Нотр-Дам... Кроме того, конечно же, учитывался психотерапевтический эффект карнавалного действия: дать возможность безнаказанно проявиться самым темным, низшим сторонам своего существа — именно это всегда так привлекало и возбуждало человека толпы в подобных празднествах; вполне естественно, что церковь использовала карнавал как своеобразный вентиль для сброса излишних «паров», ибо прекрасно понимала: не будь этого клапана — взрыв неминуем. Что и не замедлило случиться, когда в 1547 году было упразднено шутовское общество «Королевство Базош» и распущено



беспутное братство «Беззаботные ребята» («Enfants sans souci»), а еще через пять лет, в 1552 году, официальным постановлением Дижонского парламента был запрещен «праздник дураков». Тогда «произошел беспримерный по сравнению с предыдущими столетиями всплеск колдовства; оба эти факта достаточно тесно связаны между собой, хотя обычно эта связь остается незамеченной, что тем более удивительно, поскольку несомненно поразительное сходство между описываемыми праздниками и ведьмовскими шабашами, где точно так же все делается шиворот-навыворот»<sup>16</sup>.

И все же события эти явились лишь слабым, приглушенным эхом той эпохальной катастрофы, которая случилась двумя столетиями раньше, в 1312 году, когда был разгромлен орден Тамплиеров. Вряд ли будет преувеличением сказать, что на костре, на который взошел мартовским утром 1314 года гроссмайстер рыцарей Храма Жак (Якоб) де Молэ, сгорел «золотой век» европейского Средневековья. Ибо поистине огромна роль, которую играли рыцарские ордена, и прежде всего Тамплиеры, осуществлявшие духовную связь между Западом и сакральными центрами Востока<sup>17</sup>. Трагический конец рыцарей Храма ознаменовал собой первую фазу того злокачественного процесса, который завершился полным разрывом этих отношений, столь важных для обеих сторон. В середине XIV века миссию Тамплиеров взяли на себя такие тайные инициатические организации, как Fede Santa и Fidei d'Amore, за которыми стояли какие-то неизвестные лица, надежно хранившие свой анонимат. «Не обладая никаким писаным уставом и не составляя, в сущности, никакого сообщества, они, разумеется, не проводили и регламентированных собраний, и все, что можно о них сказать, сводится к тому, что они достигли той степени духовного совершенства, которая позволяет нам назвать их «европейскими суфиями» или, по меньшей мере, «мутасаввуфинами», обладателями высших чинов в своей иерархии»<sup>18</sup>. В качестве прикрытия эти «европейские суфии» активно использовали корпорации средневековых каменщиков, а тайное знание, которым они делились со строительных дел мастерами, носило глубоко символический характер и восходило к традиции тех посвященных зодчих, которые возводили храм Соломона. Кстати, «стрельчатый или готический свод, давший название целому архитектурному стилю, несомненно берет свое начало из арабской архитектуры, хотя многочисленные надуманные теории стараются всячески опровергнуть эти истины. Теории эти противоречат традиции самих европейских строителей, утверждающей, что их знания были получены ими с Ближнего Востока»<sup>19</sup>.

Что же касается наименования «Братство Розы-Креста» (Fraternitas Rosoe-Crucis), которым эти пришельцы стали пользоваться, то оно появилось только в 1374 или, как утверждает Михаэль Майер, в 1413 году; «символ Розы-Креста несравненно древнее легенды о Христиане Розенкрейце — имя и жизнь этого вымышленного основателя братства, конечно же, аллегория — которая появилась уж никак не ранее XVI века»<sup>20</sup>. В течение трех веков розенкрейцеры служили тайным мостом между Востоком и Западом, как бы символизируя своей деятельностью те путешествия, которые совершал легендарный основатель их братства. Но болезнь прогрессировала, и следующей фазой опасного процесса явились Ренессанс и Реформация. Ну, а летальный исход, как указывает Сент-Ив д'Альвейдр, наступил в 1648 году и совпал с подписанием Вестфальского договора, положившего конец Тридцатилетней войне. Вскоре после этого последние двенадцать адептов, двенадцать истинных розенкрейцеров, покинули Европу и навсегда переселились в Азию. Отныне «сокровищница подлинных инициатических знаний перестала быть достоянием Запада»<sup>21</sup>.

Однако в Средние века все обстояло иначе. Исламские влияния «легко прослеживаются в тех многозначных произведениях, чья истин-

ная цель не сводится к чисто литературным упражнениям»<sup>22</sup>. То, что творчество Данте в значительной мере было инспирировано персидским и арабским эзотерическим символизмом, — факт достаточно очевидный и вполне естественный, если учесть, что автор «Божественной комедии» являлся одним из руководителей «Fidei d'Amog». «Двумя взаимодополняющими формами одного произведения»<sup>23</sup> назвал Генон «Божественную комедию» и «Роман о розе» Жана де Мэна (Jean de Meung, 1250—1305), имея в виду прежде всего те рассыпанные по страницам этих великих творений многочисленные аллюзии, которые позволяют говорить о них как о совершенно конкретных инициативских наставлениях. «Многих вводит в заблуждение легкая форма, в которой написана сия книга («Роман о розе»), однако это не менее серьезная интерпретация оккультных мистерий, чем та, что с таким блеском удалась Апулею. Розы Фламелья, Жана де Мэна и Данте срезаны с одного куста»<sup>24</sup>.

К концу Средних веков, когда гротескные праздники, о которых шла речь выше, были упразднены или вышли из употребления, гротеск, утрачивая живую связь с породившим его карнавальным лоном, становится чисто литературной традицией, меняется, перерождается... Наиболее адекватно сохранилась разве что комедия дель арте. Прошло еще немного времени, и демоны, химеры, чудовища — весь этот фантастический бестиарий, окаменевший на карнизах готических соборов, окончательно перекечевал в литературу. Традиция меняла свое тайное русло: прежнее — навечно запечатленная в камне арготическая мистерия — превратилось в «памятник архитектуры», в мертвую куколку, из которой в те далекие, теперь уже почти легендарные времена выпорхнул царственный мотылек, новое... Сбылось пророчество Клода Фролло, когда он, указав правой рукой на печатную книгу, а левой — на Нотр-Дам, произнес: «Это убьет то».

В 1523 году Франческо Маццола, более известный как Пармиджинино, усевшись перед выпуклым зеркалом, написал автопортрет, повергший в крайнее замешательство его современников. Так возник *маньеризм* — стиль, который «на протяжении последующих ста пятидесяти лет определял интеллектуальную и социальную жизнь от Рима до Амстердама, от Мадрида до Праги»<sup>25</sup>. Тотальная карнавализация реальности — иначе не назовешь это шествие гротескных, причудливо деформированных образов, которое захлестнуло холсты Понтормо (Якопо Карруччи), Россо, Арчимбольдо, Тинторетто... Маньеризм с его изысканностью настолько рафинированной, что, казалось, еще чуть-чуть — и она обернется чудовищной площадной грубостью, с его царственным великолепием, таким пышным, что невольно рождало впечатление мыльного пузыря, — маньеризм с его хрупкой утонченной красотой, балансирующей над бездной inferнального уродства, с его темными, парадоксальными метафорами и головокружительными, захватывающими дух переходами из крайности в крайность приводил в восторг и почти навязывал жутковатое ощущение какой-то фатальной двуликости, эфемерности и абсурдности жизни. Пожалуй, все же именно эпоха Великих географических открытий вызвала этот странный, оптический эффект иррационально призрачной зеркальности макрокосма, когда одна только мысль о потустороннем двойнике-антиподе<sup>26</sup>, вскоре воплотившемся в образе темнокожего туземца-каннибала с экзотических островов, мгновенно обернулась кошмаром эсхатологических ожиданий — само собой разумеется, что непроницаемо черный зеркальный реверс впрямую ассоциировался с негативным царством Антихриста, — когда перевернутый мир карнавальной дьяблерии, где все «шиворот-навыворот», где правое — это левое, а левое — это правое, стал прямо на глазах обретать пугающе конкретную реальность.

Парадоксальная поэтика маньеризма лишь констатировала этот шок, вызванный слишком резким и внезапным расширением горизонтов средневекового сознания, — в разряженное пространство такого уютного и привычного прежде мирка со всех сторон хлынуло новое, странное, недоступное пониманию и потому — ужасное, кошмарное, чудовищное. . .

«Совмещение двух или нескольких явно несовместимых элементов в конструкции, не предназначенной ни для одного из них, вызывает предельно яркую поэтическую вспышку»<sup>27</sup>, — скажет три века спустя Лотреамон, облекая в слова фундаментальный принцип маньеристской поэтики. Итак, сочетать несочетаемое — человека и его антипода, красоту и уродство, гений и злодейство, рай и ад, Бога и дьявола! Одним из самых распространенных вариантов такой «конструкции», в пределах которой можно было осуществить эту «предельно яркую поэтическую вспышку» — в современной квантовой механике подобная реакция называется аннигиляцией, — тогда, в XVI веке, явилась метафора.

Темный, экзальтированный, галлюцинативный метафоризм пропитывал произведения таких признанных мэтров барочной поэзии, как итальянец Джамбаттиста Марино, испанец Луис де Гонгора, англичанин Джон Донн, превративших маньеризм из творческой манеры в стиль жизни. Но и на этом они не остановились, — каждый из них мог бы с полным на то основанием избрать своим девизом следующие исполненные люциферической гордыни слова: «Ничто не слишком!» — тогда-то и была провозглашена максима, призывающая художника сублимировать самое жизнь (и прежде всего собственную!) в произведение искусства. Невольно вспоминается нелепый на первый взгляд парадокс, оброненный Оскаром Уайльдом в одной из его статей: «Расхожее мнение о том, что искусство подражает природе, верно с точностью до наоборот».

Итак, искусственный человек, *homme artificiel*, алхимический гомункулус! Творец становится объектом собственного творчества, воплощая собою идею духовного нарциссизма, которая прозвучала впоследствии в знаменитой «дендистской» заповеди Шарля Бодлера: «И днем и ночью видеть сны пред зеркалом»<sup>28</sup>. Иными словами, художник отныне превращается в адепта, занятого герметической трансмутацией собственного «я» в нетленный шедевр.

«Я — другое»<sup>29</sup>, — напишет о себе в третьем лице Артюр Рембо, как бы резюмируя то несколько странное высказывание, которое его корреспондент мог легко счесть недоразумением (письмо к Жоржу Изамбару от 13 мая 1871 года): «Я хочу быть поэтом и насилюю себя ради того, чтобы *прозреть* <...> Цель одна — достичь неведомого, извращая *все свои чувства*. Мюки чудовищные, но надо быть сильным, надо родить в себе поэта, и поэт узнает в тебе себя. Я не заговариваюсь. Было бы ошибкой сказать: я мыслю. Правильнее говорить: меня мыслят». А двумя днями позже этот шестнадцатилетний мальчик, после которого в поэзии никто так и не смог сказать ничего принципиально нового, в своем знаменитом «письме провидца» (имеется в виду письмо к Полю Демени от 15 мая 1871 года) разовьет эту мысль подробнее: «Первое, чем следует заняться тому, кто хочет стать поэтом, — это тщательный, беспристрастный самоанализ; будущий поэт ищет свою душу, он знакомится с ней, он испытывает и изучает ее; и только закончив это свое исследование, он приступает к культивации; это кажется простым: большинство полагает, что это процесс естественный <...> Но дело обстоит иначе: необходимо изуродовать собственную душу на манер компрачкосов, сделать из нее монстра, каково! Представьте человека, который, добровольно привив себе на лицо бородавки, заботливо возвращает их.

А я говорю, что только такой человек станет *провидцем*, сотворит из себя *провидца*.

Поэт становится *провидцем* в процессе последовательного, бесконечно долгого, сознательного *извращения всех своих чувств*. Через любые, самые невероятные формы любви, страданий и сумасшествий; он ищет себя, он травит себя самыми опасными видами ядов, чтобы выжечь в себе все, чтобы на дне не осталось ничего, кроме квинтэссенции. Несказанная пытка — она потребует от него колоссальной веры и нечеловеческих сил, но она сделает из него самого большого, самого преступного, самого проклятого — и самого Мудрого (Savant)! — Ибо он достиг *неведомого!*<sup>30</sup>

Отметим для себя — мы еще вернемся к этому письму, — что «маленький Шекспир», как назвал гениального юношу Виктор Гюго, довольно точно описывает здесь начальную фазу Великого алхимического Деяния, которая называется «Творение в черном» (L'Œuvre au noir). Казалось бы, чего еще медлить? «Пьяный корабль» к тому времени был уже спущен на воду. . .

С той поры я блуждал в необъятной поэме,  
Дымно-белой, пронизанной роем светил,  
Грыз лазурь, где утопленник, странный как время,  
Поплавком озаренным задумчиво плыл.

Где в тонах голубой, лихорадочной боли,  
В золотистых оттенках расцветной крови,  
Шире всех ваших лир и пьяней алкоголя  
Закипает багровая горечь любви<sup>31</sup>.

Однако во «внешней» реальности якорь был поднят только через три года, в 1874 году, когда, закончив «Пору в аду» и «Озарения», Рембо начинает вести жизнь бесприютного бродяги — прежние авантюры с Верленом можно считать лишь «пробой пера», — скитаясь по всей Европе, нанимаясь на работу в Африку, путешествуя по Египту, Абиссинии, Аравии, посещая Яву и Кипр, занимаясь Бог знает чем, не брезгуя даже торговлей оружием, но не давая себе труда до самой смерти в 1891 году написать хотя бы строчку, — после «письма провидца» это бегство в «неведомое» уже не воспринимается как взбалмошная выходка строптивого юнца: в самом деле, если тебе удалось трансформировать собственное «я» в произведение искусства, то стоит ли тратить время, марая бумагу в честолюбивом желании зафиксировать для грядущих поколений свой нерукотворный шедевр? Кстати, нечто подобное содеял и другой «потомок аргонавтов» — Поль Валери, на двадцать лет покинув «землю обетованную» поэзии ради ледяных пустынь абстрактной математики.

Но вернемся в XVI век. В 1586 году известный оккультист Джамбаттиста делла Порта, основавший в Италии *Academia de'segreti* (в Падуе к тому времени уже существовала аналогичная *Academia degli occulti*), издал в высшей степени курьезный труд под названием *Humana physiognomonica*, в котором он весьма обстоятельно проводил далеко идущие параллели между человеческими чертами лица и строением звериных морд, а также чрезвычайно оригинально и убедительно прослеживал, как характерные пластические формы животных легко, ритмично и естественно перетекают в живую ткань растений, сопрягая миры — животный, растительный и человеческий — в единый фантастически сложный и гармоничный орнамент какого-то неведомого и тем не менее странно знакомого универсума. И это после серьезной и обстоятельной «*Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium*» (1558), которая наряду с работами Марсилио Фичино и Пико делла

Мирандола пользовалась заслуженной славой среди европейских герметиков! Ознакомившись с новым трудом, Галилей пожал плечами и отозвался о нем как о «забавной и гротескной книжице». Сказано точно, ибо эта «книжица» передавала саму суть гротескной реальности, — не потому ли через три с лишним века она произвела такое сильное впечатление на Сальвадора Дали?

Гримуар — гротескный язык — гротескные праздники — гротескные книги. . . Круг, похоже, замкнулся: гротеск! . .

В конце XV века в Риме при раскопках подземных терм Тита было обнаружено изображение никогда ранее не виданного орнамента. «Вновь найденный римский орнамент поразил современников необычайной, причудливой и вольной игрой растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в друга, как бы порождая друг друга. Нет тех резких и инертных границ, которые разделяют эти «царства природы» в обычной картине мира <...> Нет здесь и привычной статики в изображении действительности: движение перестает быть движением готовых форм — растительных и животных — в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной *неготовности* бытия. В этой орнаментальной игре ощущается исключительная свобода и легкость художественной фантазии, причем свобода эта ощущается как *веселая*, как почти *смеющаяся вольность*»<sup>32</sup>.

Этот вид орнамента назвали гротеском, «la grottesca», от итальянского слова «grotta» (грот), тем самым, вольно или невольно, намекнув на темный «подземный» аспект забавной находки. И нам бы хотелось здесь подчеркнуть то чрезвычайно важное, на наш взгляд, обстоятельство, что природа гротеска *амбивалентна*. В самом деле, разве не странно, что этот осколок солнечного рая пришелся к месту в сумрачном царстве хтонических богов — этом темном, сокрытом от человеческих глаз, герметическом мире склепов, крипт и катакомб, кошмарном обиталище смерти, тайны и ужаса? . . Мы уже упоминали, что традиция карнавального гротеска, восходя к античным Сатурналиям, отражает воспоминания о «золотом веке» царства Сатурна. Но это только один аспект Сатурна, ибо у него есть и второй — зловеющий аспект падшего божества, который по мере помрачения или, используя термин Р. Генона, «солидификации»<sup>33</sup> мира становится доминирующим, постепенно вытесняя собой память о первом, «золотом», «соляром» . . .

Вот почему тема inferнального ужаса, символически представленная в демонических образах карнавальной преисподней, всегда являлась одной из самых существенных составляющих гротескной реальности: достаточно вспомнить средневековые дьяблерии, которые разгрызались на фоне разверстой «адовой пасти» (la gueulle d'Enfer), и множество других, овеванных традицией, фантазмагорий с их жуткими описаниями адских мук (в «Мистерии Святого Кантена» перечислялось более ста глаголов, описывающих страшные телесные пытки). Тема эта весьма выразительно представлена и в видениях святых, искушаемых демонами, и в героическом эпосе, и в рыцарском романе<sup>34</sup>. . . Игнаций Лойола, в 1534 году основавший орден Иисуса, в своих «Медитациях на темы преисподней» в пятом «экзерсисе» первой седмицы требует от монахов: «Вызвать пред внутренним взором видение ада в длину, ширину и глубину. . . Образ гигантских огненных волн, кои облекают души грешников подобно пылающей плоти. . . (Слух): плач, вопли, богохульства, нечестивые крики. . . (Обоняние): дым, сера, смрад, зловоние разлагающейся плоти. . . (Вкус): соленые слезы, горечь отчаянья. . . (Осязание): угрызения совести, языки пламени, жалящие душу»<sup>35</sup>.

Воистину, где бы брэнная человеческая оболочка ни сталкивалась

с Вечным, она всегда трепещет от страха, ибо должна погибнуть, «смертию смерть поправ», ради «жизни вечной». Так было в начале времен, когда сокровенные духовные центры топографически связывались с «полярной горой» (в разных традициях это могла быть индусская Меру, персидский Алборж, Монсальват из европейского цикла легенд о Священном Граале), так было и с наступлением «черной эпохи» Кали-юга<sup>36</sup>, когда высшие духовные центры переместились в подземный мир, когда храмы сокрылись в пещерах и катакомбах. Эта эпохальная инверсия, низведшая небесное до хтонического, явилась следствием последовательного помрачения первоизданной традиции, отныне земное лоно стало тем сакральным местом, где свершались посвящения и мистерии.

Любой инициатический ритуал включал в себя очистительные обряды, которые назывались «испытанием» или «странствованиями». Подземное «странствование» осуществлялось будущим неопитом в состоянии инициатической смерти; время для него останавливалось, и он «в духе» совершал свое сошествие во ад», в те низшие состояния бытия, которые должны быть либо исчерпаны и преодолены, либо... Скажем только, что реальное традиционное посвящение было, в отличие от костюмированных бутафорских «ритуалов» XVIII—XX вв., отнюдь не «символическим», и «странник», не прошедший испытания бездной, «оттуда» уже не возвращался. Там, в кромешной тьме, человеческое «я» обретало «новый свет» и новое истинное имя, и только после этого, преображенным, начинало восхождение в покинутую телесную оболочку. Этот нечеловечески мучительный катасис называется в Каббале «диссолювацией скорлуп» («скорлупы» символизируют психические остатки прежних состояний, которые неопиту необходимо превзойти). Именно этот страшный процесс описывает в своем «письме провидца» Артур Рембо. В герметической алхимии аналогичная операция именуется «нигредо» или «Творение в черном» («L'Oeuvre au noir»), и символом ее является *ворон*. На этой начальной фазе Великого Деяния первичная материя должна «претерпеть много»; она умирает, разлагается и в ходе брожения (*putrefaction*) приобретает отчетливо выраженный черный цвет. Чем концентрированней чернота оперения, тем больше шансов на успех, тем ослепительнее засияют «белоснежные ризы» следующей фазы — «альбедо»! Ввиду чрезвычайной важности этого первого, «черного» этапа, ворон по праву считается одной из основных канонических печатей королевского искусства. Адепты дали вещи птице множество имен, назовем здесь три: Запад, Затмение, Проказа...

И еще... Барельеф с изображением герметического ворона можно увидеть на левой стороне главного портала собора Нотр-Дам. Существует легенда (один из ее вариантов приводит в своем бессмертном романе Виктор Гюго), что этой зловещей птице знаменитый алхимик Никола́ Фламель доверил тайну Великого магистерия, надо только определить угол зрения каменного птичьего глаза, ибо, подобно магнитной стрелке, которая всегда всегда указывает на Норд, «Творение в черном» всегда смотрит на «непорочное дитя, облаченное в королевский пурпур» и сокрытое в одной из колонн нефа.

«Во всех традициях встречаются намеки на нечто утерянное или спрятанное в отдаленную от нас эпоху. Это, например, индийская сома, авестийская хаома — напитки, дарующие бессмертие; это произношение божественного имени у евреев, «утраченное слово» у масонов, священный сосуд в легенде о Граале, молодильный источник различных мифов и даже потерянный рай Библии, обретающий в данном контексте истинное значение, поскольку речь здесь идет о первоизданном состоянии, о чувстве вечности, о связи с традицией, которую необходимо

восстановить, об истине, скорее скрытой, нежели утраченной»<sup>37</sup>. О реальности, добавим мы и уточним — фантастической реальности, ибо тот странный гротескный универсум, который открывается в произведениях Густава Майринка и Клода Сеньоля, Говарда Лавкрафта и Пейра де Мандиарга, и реален, и фантастичен одновременно. Не этой ли таинственной реальностью, сокрывшейся от глаз человеческих подобно легендарной Туле, инспирировано в значительной мере творчество Шекспира (произведения этого «великого неизвестного» носят столь выраженный эзотерический характер, что высокая степень посвящения их автора не вызывает никаких сомнений), Джонатана Свифта, Сирано де Бержерака, Сервантеса, Мольера (в первую очередь пьесы, связанные с комедией дель арте), Шарля Перро, Стерна, Гете (гроссмайстера одной из масонских лож), Уильяма Блейка?.. Совершенно, все «классические» произведения европейской литературы есть не что иное, как адаптированный к соответствующим временным условиям парафраз тех древних обрядов, мирскими отражениями которых, как путевыми вехами, отмечена человеческая жизнь, а стало быть, и литературная фабула. И после того, как в этих «нетленных» творениях отмирает все, связанное с социальными условиями их эпохи, бытовые приметы, «психология» и прочий примитивный «реализм», остается сюжетная линия, то есть последовательность событий, архитипически восходящих к своим вечным прообразам.

В противоположность классическому реализму, в произведениях «фантастического реализма» психологии отводится лишь второстепенная роль, вот почему эта лишенная «сантиментов» проза приводит в замешательство иных любителей изящной словесности, а внешняя абсурдность фантастического сюжета, служащая лишь тому, чтобы отчужденней проявился его символический смысл и буквальное толкование стало невозможным, окончательно сбивает с толку.

Особо отметим такой важный период становления «фантастического реализма», как «романтический гротеск» (Бахтин). В эпоху романтизма гротеск переживает свое второе рождение, являясь «реакцией на те элементы классицизма и Просвещения, которые порождали ограниченность и одностороннюю серьезность этих течений: на узкий расщудочный рационализм, на государственную и формально-логическую авторитарность, на стремление к готовности, завершенности и однозначности, на дидактизм и утилитаризм просветителей, на наивный или казенный оптимизм»<sup>38</sup>. Именно тогда, на стыке двух эпох, возникает новая разновидность «фантастического реализма» — готический или черный роман.

Нам уже приходилось говорить выше об амбивалентной природе гротеска, темный, зловещий аспект которого с течением времени все больше заслонял собой светлый, радостный. В романтический период он возобладал окончательно.

В произведениях немецких романтиков — именно в Германии романтический гротеск получил наиболее сильное и оригинальное развитие — «фантастическая реальность» раскрывается прежде всего своей темной, «ночной» стороной: «Ночные рассказы» Гофмана, «Гимны к ночи» Новалиса, «Ночная стража» Бонавентуры. Однако только тогда, когда оба полярные начала гротеска проявлены одинаково сильно и выразительно, а искусство художника столь велико, что ему удастся их слить воедино, получается та «гремучая смесь», которая — вспомним Лотреамона — «вызывает предельно яркую поэтическую вспышку». Пожалуй, лучше всех среди романтиков это получалось у Э. Т. А. Гофмана (не потому ли именно его увенчали лаврами отца современной фантастики?): в самом деле, с одной стороны — «Эликсиры Сатаны», с другой — «Фантазии в манере Калло» и «Принцесса Брамбилла».

А теперь нам бы хотелось, не вдаваясь в литературоведческий ана-

лиз такого сложного явления, как немецкий романтизм, развить несколько в ином направлении тему амбивалентной природы «фантастической реальности» и сосредоточить внимание на той чрезвычайно важной составляющей герметического универсума, которая традиционно именуется «промежуточным миром». Область эта, простершаяся между материальной вселенной и высшими духовными сферами, лишеными каких бы то ни было форм и обличий, является чем-то вроде нейтральной, пограничной полосы. Это царство двойственности — «область психических или «тонких» состояний без-образного проявления, где встречаются экстрателесные отростки личности, энергии нечеловеческих существ, влияния стихийных духов или элементарей Парацельса, которые в традициях именуются гномами, сильфами, ундинами, саламандрами, джиннами, демонами. Темные силы, оставленные угасшими культами, соседствуют там с ангельскими существами и блуждающими духами, образуя странный, завораживающий и опасный мир»<sup>39</sup>. Такой же эфемерный, как сновидения, этот мир бесконечных метаморфоз иллюзорен вдвойне: с одной стороны, высшей, абсолютной, он — только божественная греза, неверное отражение Абсолюта, область, где безраздельно царствует капризная Майя; с другой, человеческой, земной, он — мираж, готовый в любое мгновение рассеяться и тут же — сгуститься в новый воздушный замок. Это зыбкое обманчивое царство способно ввести в искушение кого угодно; для тех, кто поддался чарам его призрачной популяции и соблазнился ее «чудесными» возможностями, «фантастическая реальность» свелась исключительно к промежуточному миру, а герметические науки — к низшим формам элементарной магии.

Промежуточный мир всегда занимал большую часть пространства «фантастической реальности», что вполне естественно: высшие миры не поддаются адекватному описанию — это область молчания, «музыки сфер» и «языка птиц», следовательно, единственным посредником, медиатором, является промежуточный мир и его арготический язык — гримуар, в котором далеким эхом звучит запредельная эзотерическая Истина. Кроме того, надо сказать, что в результате тектонических сдвигов, происшедших в романтическую эпоху — речь о них шла выше, — эта пограничная область значительно раздалась вширь, определив своим доминирующим положением ряд тем, без которых с тех пор не обходится ни одно произведение «фантастического реализма».

Прежде всего следует назвать тему *двойничества*, непосредственно связанную с «зеркальным» аспектом Луны, — заметим, что промежуточный мир символизируется сферой Луны, так называемым «первым небом», — которая выливается в целый комплекс проблем: копия и оригинал, искусственное и естественное, творение и творец . . . Особо выделим примыкающую сюда же тему *маски*, в которой несомненно заключена сама сущность гротеска, а такие явления, как пародия, гримаса и кривляния, — лишь ее дериваты. Не будем здесь распространяться о культурном характере масок, приведем лучше очень точное замечание Р. Генона по поводу этого неперемennого атрибута всякого карнавала: «Вдумаемся в тот факт, что карнавальные маски обычно имеют устрашающий характер и чаще всего наводят на мысль о скотских или демонических образах, являясь чем-то вроде фигуративной «материализации» тех низменных или даже inferнальных влечений, которым позволено проявиться во время маскарада. Каждый из его участников, пусть даже совершенно бессознательно, выбирает себе среди этих личин ту, что ему больше всего подходит, то есть наиболее соответствует его собственным наклонностям этого плана, так что можно сказать, что маска, будто бы призванная скрывать подлинное лицо индивида, на самом деле выставляет напоказ его внутреннюю суть, которую он обычно вынужден скрывать»<sup>40</sup>.



Ну, а где маска, там и кукла. И так, тема *марионетки*, гомункулуса, автомата... Тема, неизбежно наводящая на мысль о чуждой посторонней воле, управляющей людьми. Выход из положения один — оборвать нити! С большими или меньшими усилиями это можно проделать со всеми «струнами человеческой души» за исключением одной, последней, главной — она не лопнет, сколько за нее не дергай; придется, совершив кругосветное странствование, вернуться назад, к началу начал, и сорвать с Вечного Перста ту метафизическую жилку, конец которой намертво привязан к сердцу каждого смертного. Или, как выразился Генрих фон Клейст в своем маленьком шедевре (эссе «О театре марионеток»): «...мы вновь должны вкусить от древа познания, дабы вернуться к состоянию первоизданной невинности»<sup>41</sup>. Иными словами, надо стать своим собственным кукловодом, однако подобное раздвоение сознания выдерживает не всякий...

Тема *безумия*, но не мудрого шутовского безумия, а мрачной, параноидальной одержимости, когда человек утрачивает свое «я» и становится желанной добычей самых зловещих сил, населяющих промежуточный мир. Это прежде всего выпавшие в осадок из материального мира останки забытых архаических культов и атавистические пережитки различных варварских верований — утратившие физическую поддержку в земной действительности, эти вампиричные реликты используют любую возможность, чтобы вновь закрепиться в человеческой душе. Каких только «астральных тел» не встретишь среди этих рудиментов прежних цивилизаций: египетские «ка»<sup>42</sup>, латинские маны, ларвы и лемуры, суккубы и инкубы, языческие идолы и божки, целые пантеоны которых пополнили демонические иерархии, — весь этот чудовищный конгломерат чрезвычайно опасен, именно его ядовитая энергия используется в черной магии, причем в самых примитивных ее формах. В настоящее время распространение этих форм приобрело небывалый размах: какие-то малосимпатичные личности, гордо именующие себя «экстрасенсами», потакая «почтеннейшей публике», падкой до всего «чудесного» и «паранормального», с поразительным усердием пытаются протиснуться в те смрадные двери, в которые искушенный в магии человек просто побрезгует стучаться. «Так что держитесь, пожалуйста, подальше от всех этих самозванных гуру, седобородых кудесников и прочей нечисти, имя коей — легион; тот несусветный вздор, который плетут эти высокопарные шарлатаны о черной и белой магии, не лезет ни в какие ворота...»<sup>43</sup>

Однако запретный плод сладок, и долгое время именно этот «черный» компонент был определяющим для всего «фантастического реализма». Кажется, нет таких литературных школ и направлений, которые бы не отдали дань столь модному в XIX веке романтическому демонизму: и классики, и романтики, и символисты — особо отметим Жерара де Нерваля, Вилье де Лиль-Адана, Барбе д'Оревилли и Гюисманса.

Мотив поиска утраченной сокровенной святости, странным образом преломленный творческой фантазией Э. А. По, породил новый литературный жанр — детектив. Мотив традиционного посвященного «странствования», видоизменяясь и обрстая «психологией», материализовался в виде авантюрного романа, а глубочайший символизм инициатического наставления, скрытно звучавший в проникнутой эзотерическим духом средневековой прозе, выродился в «роман воспитания».

В нашу задачу не входит отыскивать следы «фантастической образности» в различных литературных направлениях; тех, кого это интересует, мы отсылаем к очень интересной работе Вольфганга Кайзера (Kaiser W. *Das Groteske in Malerei und Dichtung*. 1957), которую, кстати, Бахтин не только упоминает в своем фундаментальном труде («Творчество Франсуа Рабле»), но и полемизирует с ее отдельными положениями.

Весьма показательным и даже символичным, с нашей точки зрения, является тот факт, что две вышедшие почти одновременно и, на первый взгляд, столь далекие по содержанию книги увидели свет практически под одним названием: первое полное собрание рассказов Э. А. По «Гротески и арабески» (1840) и составленная Теофилом Готье антология «Гротески» (1853), в которую вошли произведения Франсуа Вийона, Сирано де Бержерака, Скаррона и маньеристов — Сент-Амана и Теофиля де Вио.

«Совсем недавно возникло новое литературное направление, которое следовало бы, пожалуй, назвать *фантастико-экспериментальным*. Основоположниками его являются Густав Майринк и Ханс Хайнц Эверс, к которым в скором времени присоединилась целая когорта молодых талантливых писателей. Предметом своих творческих исканий они сделали экстраординарное, таинственное, бессознательное... Своими предшественниками они называют Э. Т. А. Гофмана, Бодлера, Э. А. По...» — писал в 1906 году Виктор Хадвигер, рано умерший предтеча экспрессионизма, в своей книге «Течения современной литературы» («Strömungen der modernen Literatur»). Нельзя сказать, чтобы эта «когорта» к концу XX века превратилась в легион, — что, разумеется, только к лучшему! — однако, если пополнить ее отдельными представителями «фантастического реализма» прошлого века, то список получится довольно внушительный: Говард Ф. Лавкрафт, Амброз Бирс, Льюис Кэрролл, Альфред Жарри, Жан Рей, Мишель де Гельдерод, Стефан Грабиньский, Лорд Дансени, Олджернон Блэквуд, Артур Макен, Джованни Папини, Кэтрин Мур и, наконец, латиноамериканские авторы «магического реализма» — Хорхе Луис Борхес, Бьёй Касарес...

Предлагая читателям этого номера журнала прозу Густава Майринка, мы остановили свой выбор на двух фрагментах из его последнего романа «Ангел Западного окна» (1927), более полное представление о котором читатель может получить из предпосланной публикации авторской заметки «Мой новый роман». Мы же, анализируя такие достаточно уже известные русскому читателю произведения Майринка, как «Вальпургиева ночь» и «Волшебный рог немецкого филистера», попробуем показать, что творчество этого в высшей степени оригинального писателя восходит к традиции «гротескной образности», и последовательная карнавализация мира — один из его основных приемов. В самом деле, что такое «Вальпургиева ночь», как не сплошной карнавал, с присутствием всякому подобному действу временным упрощением иерархических отношений («В эту ночь, с восьми вечера и до двенадцатого удара дворцовых часов, все сословные различия считались недействительными...»), со своим «бобовым королем» (Отакар), обреченным на смерть к исходу «празднества», с осмеянием всего и вся («проповедь» маньчжоу), со своими странными, в высшей степени гротескными действующими лицами: оторванные от мира («света») градчанские обитатели, детектив Стефан Брабец, олицетворяющий собой какую-то безумную нескончаемую травестию, и, наконец, эпицентр этого маскарадного шаша — лицедей Зрцадло, человек-зеркало, воплощенный гротеск. Чего стоит одна только фигура Флугбайля, этого новоявленного «рыцаря печального образа», доблестно вступающего в сражение с великанами в обличье тюков и чемоданов и в конце концов обретающего с помощью своей богемской Дульсины заветный ключ к «оболочке для ног!» А полная «пантагрюэлизма» сцена вакхического пиршества в «Зеленой лягушке»? А эти нелепо длинные, явно буффонные имена и титулы: «Его императорского Величества центральный директор городских интendanтских складов доктор Гиацинт Брауншильд», а все эти словно выпорхнувшие из «рога изобилия»<sup>44</sup> комедии дель арте брамины Раджендралаламитра и Деб Шумшер Джунг, выжившие из ума профессора

Мостшедель и Бюффелькляйн, свихнувшийся искатель кладов Хамилкар Балдриан и зловещий гений зла Дараш-Ког?.. Здесь и символические прозвища (Альбина Вератрина, мсье Фаллоид, фрейлейн Жермэ), и орденские имена (Ариост, Баал Шем, Корвинус), есть даже имена-палиндромы (Кассеканари/Иранак-Кессак)<sup>45</sup>... Карнавал становится местом действия рассказа «Человек на бутылке», и такая красноречивая деталь, как сцена, выполненная в виде гигантской пасти тигра, — кажется, ясней уж некуда! — разве не является она прямой отсылкой к традиции средневековых дьяблерий? Ну и, чтоб поставить точку, последний решающий аргумент: подземная оранжерея доктора Синдереллы, в которой этот гениальный садовник заботливо растит свой кошмарный шедевр — живой гротеск! С непостижимым искусством препарированная плоть вьется по стенам «каскадами сосудов, сплетенных тончайшими паутинками синеватых капилляров... всякое человеческое одушевленное начало в них изничтожено, низведено на чисто вегетативный уровень существования». Человек-растение, человек-зеркало, человек-часы («Экспонат»), женщина-арфа («Val pasabge»)! Что и требовалось доказать, ибо это ли не — повторим еще раз определение гротеска, данное Бахтиным; — «причудливая и вольная игра растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в друга, как бы порождают друг друга?»..

Стоит ли удивляться, что читатель, случайно столкнувшись с этой пестрой, абсурдной карнавальнoй вакханалией, время от времени прерываемой какими-то мрачными малопонятными намеками, впадал в оторопь, не зная, что и думать. Единственное, что его более или менее примиряло с жутковатой фантазмагорией — это общая «занимательность» сюжета, чисто внешняя, «приключенческая» сторона произведения. «Вводя элемент фантастических, необыкновенных, часто полубезумных нервных состояний, Мейринк распластывает человеческую психику и, обнажая ее, проникает в глубины, недоступные наблюдению в нормальном состоянии. Гофмановское смешение планов фантастического и реального, психологическая углубленность Достоевского, увлекательность Нат-Пинкертоновской фабулы — вот три кита, на которых держится его постройка»<sup>46</sup>, — не мудрствуя лукаво, писал Д. Выгодский (переводил так же!) в предисловии к русскому изданию «Голема». Однако, несмотря на столь многообещающую аттестацию, Майринк явно не оправдал возлагавшихся на него надежд и по примеру своих «проклятых» предшественников предпочел сумасшедшую авантюру на «корабле дураков» благопристойному каботажу в прибрежной полосе «большой литературы». Оскорбленные в лучших чувствах любители изящной словесности не остались в долгу и обрекли своего недавнего кумира на полное забвение.

Впервые творческое наследие австрийского писателя-эзотерика было «прочитано» только в 1960-х годах, да и то во Франции: парижское издательство «La Colombe» в серии «Литература и традиция» приняло издание отдельных произведений «фантастического реализма», снабдив их сопроводительными статьями известными европейскими мэтров: Юлиуса Эволя, Сержа Ютена, Раймона Аббелио... Что же касается нас, то представленная в этом номере «Согласия» коллекция «Гримуар» пытается отразить («прочсть») в своем магическом зеркале кривую физиономию гротескной реальности — быть может, Квазимодо и вправду обернется вдруг ангелом небесным?..

Не исключено, что, добросовестно дочитав до этого места, читатель раздраженно скажет: «Вот заладили, гримуар да гримуар, лучше б толком объяснили, что эта ваша «фантастическая реальность» — фантастика, загримированная под реальность, или реальность, загримированная под фантастику?» Но мы не станем навязывать свое мнение и предоставим читателю самому выбрать тот вариант, который его больше

устраивает. А дабы не показаться невежливыми, напомним: для нас важнее другое — грим! Ибо «все известные средневековые художники были объединены в одно большое братство, именуемое цехом, члены которого для связи со своими далекими иноземными собратьями разработали целую систему особых паролей, выражавшихся, как правило, в сложении пальцев, мимике и позах персонажей, в их жестах, всегда несколько странных и неестественных, впрочем, это могло быть и причудливой формы облачко, неприметно плывущее где-нибудь в уголке, на заднем плане, или определенное сочетание красок, фактура мазка... Воистину, полотна многих великих мастеров представляют собой настоящие зашифрованные послания, из коих человек, посвященный в это фантастическое аргю, способен почерпнуть для себя немало важного»<sup>47</sup>.

А дабы и наш благосклонный читатель мог «почерпнуть для себя немало важного» из странных произведений, составляющих эту коллекцию, мы, пожалуй, посвятим его в тайну фантастического «Гримуара»: доверена она зловещей птице, изображенной на третьей странице журнала, надо только определить угол зрения птичьего глаза, ибо, подобно магнитной стрелке, которая всегда указывает на Норд, «Творение в черном» всегда смотрит туда, где

вечно цветет  
среди полярного льда  
золото розы на древке копья!

## Примечания

- <sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.
- <sup>2</sup> Майринк Г. Ангел Западного окна. Книга готовится к изданию в коллекции «Гримуар».
- <sup>3</sup> *Chevalier J.* Dictionnaire des symboles. P., 1982. P. 3.
- <sup>4</sup> *Fulcanelli.* Le mystère des cathédrales. P., 1964. P. 24.
- <sup>5</sup> *Ibid.* P. 25.
- <sup>6</sup> См.: *Fraenger W.* Hieronymus Bosch. Dresden, 1975.
- <sup>7</sup> Майринк Г. Майстер Леонгард (Перев. В. Крюкова) // Иностранная литература. 1992. № 3. С. 19.
- <sup>8</sup> Бенуа Л. Эзотеризм (Перев. Ю. Стефанова) // Комментарии. 1992. № 1. С. 35.
- <sup>9</sup> Первое посл. к Коринф., 3, 18—19.
- <sup>10</sup> Фрезер Д. Д. Золотая ветвь. М., 1980. С. 649.
- <sup>11</sup> Согласно одной из версий, слово «карнавал» происходит от латинского *cirrus navalis* (*cirrus* — корабль, колесница, плуг; *navalis* — морской).
- <sup>12</sup> Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1990. С. 19.
- <sup>13</sup> Там же. С. 16.
- <sup>14</sup> Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль (Перев. Ю. Любимова).
- <sup>15</sup> Генон Р. О смысле «карнавалных» праздников (Перев. Ю. Стефанова) // Вопросы философии. 1991. № 4. С. 46.
- <sup>16</sup> Там же. С. 47.
- <sup>17</sup> История Крестовых походов, с которой связано основание большинства рыцарских орденов, «отнюдь не исчерпывается кровопролитными военными действиями, как это полагают те, кто привык доверять внешней стороне событий, ибо прежде всего это период активного интеллектуального обмена между Востоком и Западом — обмена, который осуществлялся главным образом посредством вышеупомянутых орденских организаций» (*Guénon R.* L'Esotérisme de Dante. P., Gallimard, 1957. P. 20).
- <sup>18</sup> Генон Р. Влияние исламской цивилизации на Европу (Перев. Ю. Стефанова) // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 57.
- <sup>19</sup> Там же. С. 55—56.
- <sup>20</sup> *Guénon R.* L'Esotérisme de Dante. P. 35.
- <sup>21</sup> Генон Р. Царь мира (Перев. Ю. Стефанова) // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 123.
- <sup>22</sup> Генон Р. Влияние исламской цивилизации... С. 56.
- <sup>23</sup> *Guénon R.* L'Esotérisme de Dante. P. 33.
- <sup>24</sup> *Lévi Eliphaz.* Histoire de la Magie. 1860. P. 360.
- <sup>25</sup> *Hocke G. R.* Die Welt als Labyrinth. Hamburg; Rowohlt, 1957. S. 11.
- <sup>26</sup> «Языком антиподов» (*language des Antipodes*) называет Эпистемон тот несуществующий язык — в фарсе «Мэтр Патлен» он именуется гримуаром! — на котором Панург обращается к Пантагрюэлю в эпизоде знакомства (гл. IX).

<sup>27</sup> Цит. по: *Hocke G. R. Labyrinth de l'art fantastique. P., 1967. P. 71.*

<sup>28</sup> «Mon coeur mis à nu».

<sup>29</sup> «IE est un autre». Здесь и далее цит. по: *Rimbaud A. Poésies complètes. P., Gallimard, 1960. P. 218.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, P. 220.

<sup>31</sup> Перевод Е. Головина.

<sup>32</sup> *Бахтин М. М. Там же. С. 40.*

<sup>33</sup> *Guénon R. Le règne de la quantité et les signes des temps. P., Gallimard, 1945. P. 154.*

<sup>34</sup> «Великими литературными манифестациями средневекового эзотеризма» назвал Р. Генон (*L'Ésotérisme de Dante, p. 35*) рыцарские романы. Тут в первую очередь следует упомянуть «Парцифаль», принадлежащий перу тамплиера Вольфрама фон Эшенбаха.

<sup>35</sup> Цит. по: *Hocke G. R. Die Welt als Labyrinth. S. 88.*

<sup>36</sup> Последний из четырех периодов, на которые разделяется Манвантара (эра Ману или Маха-Юга). Начало этой завершающей четверти знаменуется строительством Вавилонской башни и «смешением языков», именно тогда, кстати, человечеством было утрачено понимание «языка птиц».

<sup>37</sup> *Бенца Л. Там же. С. 35.*

<sup>38</sup> *Бахтин М. М. Там же. С. 45.*

<sup>39</sup> *Бенца Л. Там же. С. 37.*

<sup>40</sup> *Генон Р. О смысле «карнавальных» праздников. С. 47.*

<sup>41</sup> *Kleist's Werke, I B. Über das Marionettentheater. 1971. S. 332.*

<sup>42</sup> В египетской мифологии жизненная сила, двойник, alter ego человека, определяющее его судьбу до и после смерти. Статуи «ка» в виде человеческой фигуры, на голове которой помещены поднятые руки, согнутые в локтях, ставили в гробницу.

<sup>43</sup> *Майринк Г. Ангел Западного окна.*

<sup>44</sup> Пожалуй, именно так следовало бы перевести «Wunderhorn» (Волшебный рог), фигурирующий в названии сборника «Des deutschen Spießers Wunderhorn»: значительно расширяется ассоциативное поле восприятия, ибо «рог изобилия» является фольклорным парафразом Священного Грааля, символизируя собой один из важнейших аспектов этой реликвии — неисчерпаемость сокровенной Чаши, однако в таком случае читатель не уловил бы пародийный намек на известное собрание народных песен «Des Knaben Wunderhorn» А. фон Арнима и Кл. Brentano, традиционно звучащее в русском переводе как «Волшебный рог мальчика».

<sup>45</sup> Так, на лексическом уровне, Майринк обыгрывает положенную в основу этого мастерского рассказа («Альбинос») принцип зеркальной симметрии: страшная операция, произведенная профессором Кассеканари, была, в сущности, ничем иным, как традиционной каббалистической инверсией (темурах), трансформировавшей Паскуаля Кассеканари в своего «клейменного светобоязнь» зеркального антипода — «реально-го белого негра» Иранака-Кессака.

<sup>46</sup> *Мейринк Г. Голем. М., 1922. С. 8.*

<sup>47</sup> *Майринк Г. Белый доминиканец. Готовится к изд. в кол. «Гримуар».*

### Густав Майринк АНГЕЛ ЗАПАДНОГО ОКНА

Фрагменты из романа

*Sir John Dee of Gladhill! Имя, которое, по всей видимости, мало что скажет современному читателю! С жизнеописанием Джона Ди я впервые познакомился около 25 лет назад и был потрясен этой невероятной, трагической и страшной судьбой; она не вписывалась ни в какие привычные рамки, от ее головокружительно крутых поворотов захватывало дух... В то время достаточно юный и впечатлительный, ночами, как лунатик, бродил я по Градчанам, и всякий раз в переулке Алхимиков меня охватывало странное чувство, в своих романтических грезах я почти видел это: вот открывается одна из покосившихся дверей низенького, едва ли в человеческий рост домишка — и на облитую лунным мерцанием мостовую выходит он, Джон Ди, и заводит со мной разговор о таинствах алхимии, — не той сугубо практической алхимии, которая занята единственно превращением неблагородных металлов в золото, а того сокровенного искусства королей, которое трансмутирует самого человека, его темную, тленную природу, в вечное, светоносное, уже никогда не теряющее сознание своего «я» существо. Образ Джона Ди то покидал меня, то, чаще всего в снах, возвращался вновь — ясный, отчетливый, неизбежный... Сновидения эти повторялись не часто, но регулярно, подобно 29 февраля високосного года, составленному из четырех четвертей. Эта фатальная регулярность, казалось, таила в себе какой-то скрытый упрек. Я уже тогда смутно догадывался, чего хочет от меня призрак, но только осознав себя писателем, понял окончательно: умиротворить «Джона Ди» мне удастся лишь в том случае, если я решусь — все мы рабы своих мыслей, но никак не творцы их! — превратить его канувшую в Лету судьбу в живую ткань романа. Прошло почти два года, как я «решился»... Однако каждый раз, стоило мне только с самыми благими намерениями сесть за письменный стол, как внутренний голос принимался издеваться надо мной: да ты, брат, никак вознамерился осчастливить мир еще одним историческим романом?! Или не ведомо тебе, что все «историческое» отдает трупным душком? Неужели ты думаешь, что этот отвратительный, сладковатый запах тлена можно превратить в свежее терпкое дыхание живой действительности?! И я оставлял мысль о романе, но «Джон Ди» не отставал, и, как сильно я ни сопротивлялся, побеждал всегда он. И все повторялось сначала... Наконец мне пришла в голову спасительная идея — привить судьбу «мертвого» Джона Ди к судьбе какого-нибудь живого человека: иными словами, написать двойной роман... Присутствуют ли в этой современной половине моего героя автобиографические черты? И да, и нет. Когда художник пишет чей-ни-*

будь портрет, он всегда бессознательно наделяет его своими собственными чертами. Видимо, с литераторами дело обстоит примерно так же.

Итак, кто он, сэр Джон Ди? Ответ на этот вопрос читатель найдет в романе. Здесь же, думаю, будет вполне достаточно отметить, что он был фаворитом королевы Елизаветы Английской. Это ему она обязана мудрым советом — подчинить английской короне Гренландию и использовать ее как плацдарм для захвата Северной Америки. Проект был одобрен. Генералитет только ждал высочайшего приказа, чтобы дать сигнал к отплытию эскадры. Однако в последнюю минуту капризная королева передумала и отменила свое решение. Последуй тогда Елизавета совету Ди, и политическая карта мира выглядела бы сегодня иначе! И вот, когда все его честолюбивые планы потерпели крушение, Джон Ди понял, что неправильно проложил курс, ибо, сам того не ведая, стремился не к земной «Гренландии», а совсем к другой земле, и что именно ее-то и надо завоевывать. Эта «другая земля», о поисках которой и тогда помышляли лишь очень немногие, сегодня признана фикцией, «заблуждением мрачного Средневековья», и тот, кто верит в ее существование, будет предан осмеянию точно так же, как в свое время Колумб, грезивший об Индии. Однако плаванье Джона Ди было несравненно опасней, страшней и изнурительней, ведь его «Новый Свет» находился дальше, много дальше. . .

Даже те скудные сведения из жизни Джона Ди, которые дошли до нас, необычайно интересны, — о нем с большим пиететом вспоминал, например, Лейбниц, — можно себе только представить, сколь удивительна и богата приключениями была эта жизнь, бо́льшая часть которой осталась за бортом истории! Осторожные историки почли за лучшее не тревожить прах этого оригинала. Чего еще от них ждать: все непонятное для нормальных людей выглядит в их глазах как «отклонение от нормы». Низко склоняясь перед их благоразумием, я тем не менее осмелюсь предположить, что Джон Ди был не просто отклонением от нормы, он был безумен, и безумен безнадежно. . .

Итак, факты: Джон Ди — несомненно один из величайших ученых своего времени, самые блистательные дворы Европы оспаривали друг у друга честь принять его у себя. По приглашению императора Рудольфа он посетил и Прагу; там, как свидетельствуют исторические хроники, он в высочайшем присутствии превращал свинец в золото. Но, как я уже подчеркивал, не к трансмутации металлов стремилась душа его, а дальше, много дальше, совсем к. . . другой трансмутации. Что это за «другая трансмутация», я и постарался объяснить в моем романе.

Густав Майринк

## «Серебряный башмачок» Бартлета Грина

Все нижеследующее записано мною, магистром Джоном Ди — тщеславным щеголем и самонадеянным шарлатаном, — по прошествии долгих дней заключения, дабы зеркало памяти моей не потускнело от скорби, а также в назидание тем, в чьих жилах будет течь моя кровь после того, как меня не станет, тем, чьи головы увенчает корона, — предсказание сбудется, сегодня я в этом уверен более чем когда-либо! Но тяжестя короны согнет их гордые выи, и будут они, подобно мне, повергнуты в прах, если в легкомыслии и высокомерии своем не сумеют распознать козни врага лукавого, ежечасно злоумышляющего против рода человеческого. . .

Чем выше трон,  
тем глубже преисподней злота.

С соизволения Всевышнего, начну с Великого Воскресения Христова, которое праздновалось в последних числах апреля 1549.

Вечером того дня, когда тревога и сомнения мои достигли апогея, в замок ворвался капитан Перкинс с вооруженной стражей Кровавого епископа — как с полным на то основанием называют это чудовище в образе человеческом, которое под видом епископа Боннера беснуется в Лондоне, — и наложил на меня арест именем короля — именем Эдуарда, чахоточного мальчишки! Мой горький смех только вывел из себя стражников, и я с большим трудом избежал побоев.

Дверь кабинета уже трещала, однако тетрадь, которой я поверял свои мысли и думы, мне удалось спрятать; туда же, в надежный тайник, устроенный прямо в стене, были заблаговременно сложены все документы, которые могли бы изобличить меня как сообщника ревенхедов. Какое счастье, что я тогда выбросил шары из слоновой кости! Вздох облегчения вырвался из моей груди, когда по неуклюжему вопросу капитана Перкинса я понял, что главной уликой являются эти самые шары. Итак, с «азиатскими курьезами» Маске надо держать ухо востро; а на будущее наука — не следует столь безоглядно доверять магистру царя.

Душная гнетущая ночь... Казалось, вот-вот грянет гроза. А тут еще грубый эскорт, сумасшедшая скачка: раннее утро застало нас уже в Уорвике. Не буду описывать короткие дневные остановки в зарешеченных башнях, скажу только: сумерки уже сгустились, когда накануне первого мая мы въехали в Лондон и капитан Перкинс препроводил меня в полуподвальную камеру. По тем предосторожностям, которые предпринимались, дабы сохранить в секрете мою этапировку, было видно, сколь сильно опасались конвоиры вооруженной попытки моего освобождения — вот только ума не приложу, кто бы это мог осмелиться на такое?

Итак, капитан собственноручно втолкнул меня в подземелье, двери захлопнулись, загремели замки и — мертвая тишина. Опустошенный, без сил лежал я на влажном заплесневелом полу, кругом — крошечная тьма...

Мог ли я раньше вообразить, что уже нескольких минут, проведенных в застенке, достаточно, чтобы непомерная тяжесть безысходной обреченности раздавила человеческое сердце. То, чего я никогда раньше не слышал — шум крови в ушах, — оглушило меня сейчас подобно прибою, прибою одиночества. И вдруг я вздрогнул: твердый, насмешливый голос, донесшийся с противоположной, невидимой во мраке стены, прозвучал как приветствие этой ужасной тьмы:

— С благополучным прибытием, магистр Ди! Добро пожаловать в темное царство подземных богов! Ох, и славно же ты летел через порог, баронет!

Исполненная иронии приветственная речь захлебнулась резким, каким-то нечеловеческим смехом, оттененным глухими грозовыми раскатами, но тут сильнейший удар грома, от которого чуть не полопались мои барабанные перепонки, сотряс стены и поглотил этот жуткий хохот.

И вот уже тьма разорвана в клочья, но то, что я успел увидеть при ослепительной вспышке молнии, пронзило меня сверху донизу подобно ледяной игле: напротив железных дверей камеры, прямо на каменных квадратах стены, висел человек, растянутый по рукам и ногам тяжелыми цепями в форме андреевского креста!..

Уж не померещилось ли мне? Ведь я видел его всего мгновение,



при свете молнии, и тотчас же тьма снова накрыла камеру. Быть может, обман зрения? Страшная картина, выжженная на сетчатке моих глаз, стояла предо мной — казалось, вне меня она никак не могла стать реальностью, скорее это был глубинный внутренний образ, который каким-то чудом всплыл в верхние слои сознания... Разве мог бы живой человек, из плоти и крови, распятый столь чудовищным способом, так спокойно и насмешливо говорить и так иронично смеяться?

Снова вспышка молнии; теперь они с такой частотой следовали друг за другом, что своды камеры были подернуты нервно подрагивающей зыбью бледного, мертвенного света. Клянусь Всевышним, там действительно висел человек; с лицом, почти закрытым огненными прядями волос, с большим безгубым ртом, полуоткрытым, словно готовым к очередному взрыву смеха, с рыжей спутанной бородой — он удивительно походил на петуха. В выражении лица ни малейшего намека на страдание — и это при такой-то пытке, когда закованные в железные кольца руки и ноги растянуты в разные стороны! Я смог лишь неуверенно пролепетать: «Кто ты, человек на стене?» — как новый удар грома прервал меня.

— Тебе следовало бы узнавать меня с закрытыми глазами, баронет! — донесся до меня насмешливый голос. — Говорят, тот, кто ссужает деньгами, узнает должника по запаху!

Страшное предчувствие заставило меня содрогнуться:

— Должно ли это означать, что ты...

— Именно. Я — Бартлет Грин, ворон ревенхедов, патрон неверующих Бридрока, победитель этого святого бахвала Дунстана, а в настоящее время здесь, под вывеской «У холодного железа» или, если тебе больше нравится, «У пылающего костра», гостеприимный хозяин для таких вот поздних заблудших пилигримов, как ты, весь из себя всемогущий покровить Реформации!

И распятый затрясся всем телом в бешеном хохоте, самое удивительное, что при этом он, казалось, не испытывал ни малейшей боли.

— Теперь мне конец, — прошептал я и, заметив узкие, покрытые плесенью нары, обреченно рухнул на них.

Снаружи неистовствовала гроза. Даже если бы я хотел, вести разговор при таком грохоте было невозможно. Да и о чем тут говорить, когда впереди неизбежная смерть, к тому же не легкая и быстрая, так как уже наверняка известно, что это я — тайный сообщник ревенхедов! Слишком хорошо осведомлен я о хитроумных способах Кровавого епископа, коими он подводит к раскаянию свою жертву, так что та «еще при жизни созерцает райские кущи».

Безумный страх душил меня. Я не трус, но одно дело честная рыцарская смерть на поле брани, другое... При одной только мысли о жутком профессиональном ощупывании палача перед пыткой, когда окружающий мир расплывается в неверном кровавом тумане, меня охватывал неопикуемый, умопомрачительный ужас. Страх боли, которая предшествует смерти, — это как раз то, что загоняет каждое живое существо в ловчую сеть земной жизни: если бы этого страха не было, не было бы больше смерти на земле.

Гроза бушевала по-прежнему, но я ее не слышал. Время от времени моего слуха достигал воинственный клич или дикий хохот, грохотавший со стены, которая черной зловещей громадой вздымалась напротив; но и это не могло вывести меня из оцепенения. Весь во власти страха, я перебирал в уме какие-то сумасбродные проекты спасения, о котором нечего было и помышлять.

О молитве я даже не вспомнил.

Когда же раскаты грома замерли вдали — впрочем, не знаю, быть может, с тех пор уже прошли часы, — мои мысли стали спокойнее, разумнее, хитрее... Итак, моя судьба — в руках у Бартлета, если только

он уже не сознался и не выдал меня. Моя ближайшая задача — выяснить, что он намеревается делать: говорить или молчать.

И только я собрался со всей возможной предусмотрительностью прощупать, не удастся ли склонить Бартлета к молчанию, ведь ему-то терять уже нечего, как произошло нечто до того неожиданное и ужасное, что все мои хитроумные планы рассыпались, как карточный домик.

Бартлет Грин, извиваясь, словно в каком-то кошмарном танце, всем своим гигантским телом, стал медленно раскачиваться на цепях, казалось, ему вздумалось размяться. Амплитуда постепенно увеличивалась, ритм колебаний становился все более размеренным — в неверных предрассветных сумерках майского утра распятый разбойник качался на своих цепях с тем же удовольствием, с каким мальчишка взлетает на качелях к верхушкам весенних березок: с той лишь разницей, что все его кости и суставы трещали и скрипели, словно на сотне самых кошмарных дыб.

В довершение всего Бартлет Грин — запел! Сначала его голос был довольно благозвучен, однако очень скоро он стал пронзительным, напоминая звучание шотландских пиброков, и пение превратилось в захлебывающийся от грубого животного восторга рев:

Эх, было дело той весной —  
Хоэ-хо! — после линьки в мае! —  
Кошачьи свадьбы, пир горой...  
Ничто не вечно под луной,  
все кончилось однажды.  
В мае, котик? — Мяу!

Стал ворон паче снега бел —  
Хоэ-хо! — после линьки в мае! —  
Сошедший в бездну, как в купель,  
воскреснет для бессмертья.  
Взлетит жених на вертел!  
В мае, котик? — Мяу!

Повешенный на мачте —  
Хоэ-хо! — после линьки в мае! —  
плыву за горизонт  
в серебряном ковчеге  
сквозь огненный потоп.  
Хо, мать Исаис, хоэ!

Утратив дар речи, слушал я это дикое пение, совершенно уверенный, что главарь ревенхедов сошел от пытки с ума. Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, кровь леденеет у меня в жилах при одном только воспоминании...

Потом вдруг загремели запоры на окованных железом дверях, и вошел надзиратель с двумя стражниками. Замки, которыми цепи крепились к вмурованным в стену кольцам, были отомкнуты, и распятый, как подкошенный, во весь рост рухнул на каменные плиты.

— Ну вот, и еще шесть часов минуло, мастер Бартлет! — с издевкой осклабился надзиратель. — Ничего, скоро у вас будут качели по-лучше. Еще разок покачаетесь на этих, уж коли вам это доставляет такое удовольствие, ну а уж потом, как Илия Пророк, взлетите на огненной колеснице до самого неба. Вот только сдается мне, что повезет она вас прямехонько в колодец святого Патрика, где вы и сгинете на веки вечные!

Удовлетворенно ворча, Бартлет Грин дополз на своих вывернутых

в суставах конечностях до охапки сена и ответил с твердостью необыкновенной:

— Давид, ты, благочестивая падаль в обличье тюремщика, истинно говорю тебе, еще сегодня будешь со мною в раю, если только моя милость соблаговолит тронуться в путь не мешкая! Но: оставь надежды всяк туда входящий, ибо там все будет совсем по-иному, чем ты себе воображал в своей жалкой папистской душонке! Или, может быть, чадо мое возлюбленное, мне сейчас на скорую руку крестить тебя?!

Я видел, как стражники, эти здоровые грубые парни, в ужасе осенили себя крестным знаменем. Надзиратель отшатнулся в суеверном страхе и, сложив пальцы в древний ирландский знак от дурного глаза, крикнул:

— Не смей смотреть на меня своим проклятым бельмом, ты, исчадие ада! Мой покровитель, святой Давид Уэльский, именем которого я наречен, знает меня еще с пеленок. Он отведет от своего крестника и злой наговор, и сглаз!

И все трое, спотыкаясь, бросились к дверям, сопровождаемые бешеным хохотом Бартлета Грина. На полу остались коврига хлеба и кувшин с водой.

На некоторое время воцарилась тишина. В камере стало светлее, и я смог, наконец, разглядеть лицо моего товарища по несчастью. Его правый глаз мерцал какой-то призрачной, молочно-опаловой белизной. Этот неподвижный взгляд, казалось, жил сам по себе, созерцая недоступные бездны порока. Это был взгляд мертвого, который, умирая, встретился глазами с дьяволом. Слепой белый глаз...

*Здесь начинается целый ряд опаленных страниц. Текст изрядно подпорчен, тем не менее логика повествования прослеживается достаточно ясно.*

— Вода? Мальвазия это! — пророкотал Бартлет и, зажав в локтевом суставе тяжелый кувшин, припал к нему с такой жадностью, что я невольно вздохнул о тех нескольких глотках, которые по праву принадлежали мне, тем более, что меня очень томила жажда.— Вот это попойка! Ук... я никогда не знал, что такое боль... ук... и страх! Боль и страх — близнецы! Хочу тебе, магистр Ди, кое-что поведать по секрету, этому тебя ни в одном университете не научат... ук... я буду свободен, когда сброшу с себя мое тело... ук... до тех пор, пока мне не исполнится тридцать три, я заговорен от того, что вы называете смертью... ук... но сегодня мой час пробил. Первого мая, когда ведьмы отмечают свой кошачий праздник, отпущенный мне срок истекает. И что бы матери еще с месяц не подержать меня при себе, смердел бы я никак не меньше, зато было бы время свести счеты с Кровавым епископом, этим невеждой, за его профанические потуги! Ты ему... *(На документе следы огня)*.

...после чего Бартлет Грин ощупал мое плечо чуть ниже ключицы — камзол мне порвали стражники при аресте, и грудь моя была открыта — и сказал:

— Вот она, магическая косточка! Ее еще называют вороний отросток. В ней скрыта сокровенная соль жизни, поэтому в земле она не истекает. Евреи потому и болтают о воскресении в день Страшного суда... однако это следует понимать иначе... мы, посвященные в таинства новолуния... давным-давно воскресли. А откуда я это знаю, магистр? Мне не кажется, что ты преуспел в искусстве, хотя из тебя так и прет латынь и прописные истины! Послушай, магистр: эта кос-

точка излучает свет, который профаны видеть не могут...

... (Следы огня).

...Легко понять, что от таких речей разбойника меня охватил ледяной ужас; с трудом совладав со своим голосом, я спросил:

— Следовательно, я являюсь носителем знака, которого мне никогда в жизни не суждено увидеть?

На что Бартлет очень серьезно ответил:

— Да, магистр, ты отмечен. Отмечен знаком Невидимых Бессмертных, они никого не принимают в свои ряды, ибо звенья этой цепи не выпадают. Да человек со стороны никогда и не найдет пути... Только на закате крови... так что будь спокоен, брат Ди, хоть ты и от другого камня и наши круги вращаются в противоположных направлениях, я тебя ни за что не выдам этой черни, которая прозябает у нас под ногами. Мы оба изначально стоим над этими людшками, которые смотрят и не видят, которые от вечности до вечности — ни холодны, ни горячи!

... (Следы огня).

...признаюсь, при этих словах Бартлета я не мог сдержать вздоха облегчения, хотя в глубине души мне уже было стыдно за свой страх перед этим неотесанным парнем, который, глазом не моргнув, взвалил на себя эдакую муку и готов был на еще большую ради моего спасения.

— ...я—сын священника,— продолжал Бартлет Грин.— Моя мать благородного сословия. Малютка Нежные Бедря... Понятное дело, это лишь кличка, а настоящее ее имя — Мария. Откуда она, до сих пор мне неизвестно. Должно быть, была соблазнительной бабенкой, пока не сгинула благодаря моему отцу.

... (Следы огня).

Тут Бартлет расхохотался своим странным гортанным смехом и после небольшой паузы продолжал:

— Мой отец был самым фанатичным, самым безжалостным и самым трусливым святошей из всех, которых мне доводилось когда-либо видеть. Он говорил, что держит меня из милосердия, дабы я мог расплатиться за грехи моего отца, якобы бросившего нас с матерью. Он и не подозревал, что мне все известно, и растил из меня церковного служку, мальчика с кропилом...

...Потом он мне велел творить покаяние, и из ночи в ночь я в одной рубашке на жутком холоде часами замаливал грехи моего «отца», преклонив колени на каменных ступенях алтаря. А если от слабости и постоянного недосыпания я падал, он брался за плеть и сек до крови... Закипая, поднималась во мне безумная ненависть против Того, Кто там, над алтарем, висел предо мною распятым; и против литаний — не знаю, как это происходило, но слова молитв сами по себе оборачивались в моем мозгу, и я произносил их наоборот — справа налево. Какое обжигающее неизвестное блаженство я испытывал, когда эти молитвы-оборотни сходили с моих губ! Отец долгое время ничего не замечал, так как я бормотал тихо, про себя, но однажды ночью он все же расслышал, какие славословия возносил к небесам его «примный» сын. Яростный вопль, полный ужаса и ненависти, раздался под сводами храма, прокляв имя моей матери и осенив себя крестным знаменем, святой отец схватился за топор. Но я оказался проворнее и расколол ему череп до самого подбородка, при этом его правый глаз выпал на каменные плиты и устался на меня снизу вверх. Вот тогда-то я понял, к кому были обращены мои перевернутые молитвы: они проникали в самое нутро матери Земли, а не восходили к небесам, как слезливое нытье благочестивых евреев...

Забыл тебе сказать, возлюбленный брат Джон Ди, что незадолго до того, как-то ночью, от внезапной вспышки пронзительного све-

та — не знаю, может, то был отцовский хлыст — ослеп мой правый глаз. И так, когда я разможил ему череп, исполнился закон: око за око, зуб за зуб. Вот так-то, приятель, мой «белый глаз», который приводит в ужас эту трусливую чернь, честно заработан молитвой!..

.....(Следы огня).....

...мне как раз исполнилось четырнадцать лет, когда я оставил моего дорогого родителя лежать с раздвоенной головой в луже крови перед алтарем и сбежал в Шотландию, где поступил в ученики к мяснику, полагая, что мне, столь мастерски раскроившему родительскую тонзуру, не составит труда вышибать мозги телятам. Но ничего из этого не вышло, так как стоило мне замахнуться топором, и перед моим глазом, подобно укору совести, вставала ночная картина в храме, и рука моя опускалась: не мог же я убийством животного осквернить такое великолепное воспоминание! Я отправился дальше и долгое время скитался по горным шотландским деревушкам, зарабатывая себе на жизнь тем, что играл на краденой волынке заунывные пиброксы, от которых у местных мороз шел по коже — а они и не подозревали почему. Но я-то хорошо знал, в чем дело: мелодия ложилась на слова тех перевернутых литаний, которые я в свое время бормотал перед алтарем и которые по-прежнему звучали в моем сердце справа налево... Но и ночами, когда бродил по болотам, я не расставался с волынкой; особенно в полнолуние меня тянуло к пению, я почти ощущал, как звуки моих извращенных молитв стекали по позвоночнику и через израненные в кровь ступни впитывались в земное лоно. А однажды в полночь — опять было первое мая, друидический праздник, и полная луна уже пошла на ущерб — какая-то невидимая рука, вынырнув из черной земли, схватила меня за ногу с такой силой, что я и шагу не мог ступить... Я как оцепенел, и тотчас смолкла моя волынка. Потянуло каким-то нездешним холодом, казалось, он шел из круглой дыры, прямо у меня под ногами; этот ледяной сквозняк пронзил меня с головы до пят, а так как я чувствовал его и затылком, то медленно, всем моим окоченевшим телом, обернулся... Там стоял Некто, похожий на пастуха, в руке он держал длинный посох с развилкой наверху в виде большого ипсилона. За ним стадо черных овец. Но откуда он взялся, ведь ни его, ни овец я по пути не видел? Должно быть, я прошел мимо него с закрытыми глазами, в полусне, ибо он никоим образом не походил на призрак, как и его овцы, от шкур которых шел характерный запах мокрой шерсти...

.....(Следы огня).....

...он указал на мой белый глаз и сказал: «ибо ты призван»...

.....(Следы огня).....

*Видимо, здесь речь шла о какой-то страшной магической тайне, так как чья-то третья рука прямо через всю обугленную страницу написала красными чернилами:*

*«Ты, который не властен над своим сердцем, оставь, не читай дальше! Ты, который не доверяешь своей душе, выби-рай: здесь — отречение и спокойствие, там — любопытство и гибель!»*

*Далее — сплошь обугленные страницы. Судя по тем обрывочным записям, которые каким-то чудом уцелели, пастух раскрыл Бартлету Грину некоторые тайные аспекты древних мистерий, связанных с культом Черной Богини и с магическим влиянием Луны; также он познакомил его с одним кошмарным кельтским ритуалом, который коренное население Шотландии помнит до сих пор под традиционным названием «тайгерм». Кроме того выясняется, что Бартлет Грин до своего заточения в Тауэр был абсолютно целомудрен; звучит по меньшей мере странно, так как разбойники с большой дороги, скажем*

*прямо, не очень строго блюли аскезу. В чем причина столь необычного воздержания: сознательный отказ или врожденное отвращение к женскому полу — из этих отрывков установить не удалось. Урон, причиненный остальным страницам журнала, был менее значителен, и дальнейшие записи поддавались прочтению достаточно легко.*

...Сказанное пастухом о подарке, который со временем сделает мне Исаис Черная, я понял лишь наполовину — да я и сам был тогда «половинка» — просто никак не мог взять в толк, как возможно, чтобы из ничего возникло нечто осязаемое и вполне вещественное! Когда же я его спросил, как узнать, что пришло мое время, он ответил: «Ты услышишь крик петуха». Этого я тоже никак не мог уразуметь, ведь петухи в деревне поют каждое утро. Да и подарок... Ну что тут особенного: не знать более ни боли, ни страха? Подумаешь! Ведь я и без того считал себя не робкого десятка. Но когда настало время, я услышал тот самый крик петуха; конечно же, он прозвучал во мне... Тогда я еще не знал, что все сначала происходит в крови человека, а уже потом просачивается наружу и свертывается в действительность. Отныне я созрел для подарка Исаис — «серебряного башмачка». Но период созревания проходил болезненно, странные знаки и ощущения преследовали меня: касания влажных невидимых пальцев, привкус горечи на языке, жжение в области темени, как будто мне выжигали тонзуру каленым железом, что-то свербело и покалывало в ступнях ног и ладонях, время от времени мой слух пронзали дикие кошачьи вопли. Таинственные символы, которых я не понимал — похожие я видел в древних иудейских фолиантах, — подобно сыпи, проступали у меня на коже и снова исчезали, когда на них падали солнечные лучи. Иногда меня охватывало страстное томление по чему-то женственному, таившемуся во мне; это казалось тем более удивительным, что я, сколько себя помню, всегда испытывал глубокий ужас перед бабами и тем свинством, в которое они втравливают мужчин.

И вот когда я, наконец, услышал крик петуха — он восходил по моему позвоночному столбу к головному мозгу, и я слышал его каждым позвонком, — когда исполнилось предсказание пастуха и на меня как при крещении с абсолютно ясного безоблачного неба сошел холодный дождь, тогда в ночь на первое мая, в священную ночь друидов, я отправился на болота и шел, не разбирая дороги, пока не остановился перед круглым отверстием в земле.

*(Следы огня).*

...со мной была тележка с пятьюдесятью черными кошками — так велел пастух. Я развел костер и произнес ритуальные проклятия, обращенные к полной Луне; неопишуемый ужас, охвативший меня, что-то сделал с моей кровью: пульс колотился как бешеный, на губах выступила пена. Я выхватил из клетки первую кошку, насадил ее на вертел и приступил к «тайгерму». Медленно вращая вертел, я готовил inferнальное жаркое, а жуткий кошачий крик раздирал мои барабанные перепонки в течение получаса, но мне казалось, что прошли многие месяцы, время превратилось для меня в невыносимую пытку. А ведь этот ужас надо было повторить еще сорок девять раз! Я впал в какую-то протрацию, помнил только — этот душераздирающий вопль не должен прекращаться ни на секунду. Предошущая свою судьбу, кошки, сидевшие в клетке, тоже завывали, и их крики слились в такой кошмарный хор, что я почувствовал, как демоны безумия, спящие в укромном уголке мозга каждого человека, пробудились и теперь рвали мою душу в клочья. Но во мне они уже не оставались — один за другим, по мере того, как менялись на вертеле кошки, выходили у меня изо рта и, на мгновение повиснув дымкой в прохладном ночном воздухе, воспаряли к Луне, образуя вокруг нее фосфоресцирующий ореол.

Как говорил пастух, смысл «тайгерма» состоит в том, чтобы изгнать этих демонов, ведь они-то и есть скрытые корни страха и боли — и их пятьдесят! Но этот экзорцизм мучительнее всякой пытки, редко кто выдерживает чудовищное аутодафе пятидесяти черных кошек, священных животных Богини. Ритуал прямо противоположен идее литургии; ведь Назарянин хотел взять на себя страдания каждой креатуры, а о животных забыл. Так вот, когда «тайгерм» выпарит страх и боль из моей крови вовне — в мир Луны, — туда, откуда они происходят, тогда на дне моего сердца останется лишь истинное бессмертное «я» в чистом виде и смерть со своей свитой, в которую входят великое забвение всей прежней жизни и утрата всякого знания, будет побеждена навеки. «Должно быть, потом, — добавил пастух, — твое тело тоже будет предано огню, ибо закон Земли необходимо исполнить, но что тебе до того!»

Две ночи и один день длился «тайгерм», я перестал, разучился ощущать ход времени; вокруг, насколько хватал глаз, — выжженная пустошь, даже вереск не выдержал такого кошмара — почернел и поник. Но уже в первую ночь стали прорезаться во мне сокровенные органы чувств; я начал различать в инфернальном хоре голос каждой кошки. Струны моей души подобно эху откликались на «свой» голос, пока одна за другой не лопнули. Тогда мой слух раскрылся для бездны, для музыки сфер; с тех пор я знаю, что значит «слышать»... Можешь не зажимать ушей, брат Ди, так ты все равно не услышишь музыку сфер, а с кошками покончено. Им сейчас хорошо, должно быть, играют на небесах в «кошки-мышки» с душами праведников.

Огонь потух, высоко в небе стояла полная Луна. Колени мои подгибались, я шатался, как «тростник, ветром колеблемый». Неужели землетрясение, подумал я, так как Луна стала вдруг раскачиваться, подобно маятнику, пока мрак не поглотил ее. Тут только я понял, что ослеп и мой левый глаз — далекие леса и горы куда-то пропали, меня окружала крошечная безмолвная тьма. Не знаю, как это получилось, но мой «белый глаз» внезапно прозрел, и я увидел странный мир: в воздухе кружились синие, неведомой породы птицы с бороватыми человеческими лицами, звезды на длинных паучьих лапках семенили по небу, куда-то шествовали каменные деревья, рыбы разговаривали между собой на языке глухонемых, жестикулируя неизвестно откуда взявшимися руками... Там было еще много чего диковинного, впервые в жизни сердце мое томительно сжалось: меня не оставляло чувство чего-то давно знакомого, уже виденного, как будто я там стоял с самого сотворения мира и просто забыл. Для меня больше не существовало «до» и «после», время словно соскользнуло куда-то в сторону...

...*(Следы огня)*... черный дым... на самом горизонте... какой-то плоский, словно нарисованный... Чем выше он поднимался, тем становился шире, пока не превратился в огромный черный треугольник, обращенный вершиной к земле. Потом он треснул, огненно-красная рана зияла сверху донизу, а в ней с бешеной скоростью вращалось какое-то чудовищное веретено...

...*(Следы огня)*...  
...наконец, я увидел Исаис, Черную Матерь; тысячерукая, она сучила на своей гигантской прялке человеческую плоть... кровь струилась из раны на землю, алые брызги летели в разные стороны... попадали и на меня, теперь я стоял, крапленный зловещей экземой красной чумы, видимо, это и было тайное крещение кровью...

...*(Следы огня)*...  
...на оклик Великой Матери та, что спала во мне подобно зерну, проснулась, и я, слившись с нею, дочерью Исаис, в единое двуполое существо, пророс в жизнь вечную. Похоть я не ведал и раньше, но отныне моя душа стала для нее неуязвимой. Да и каким образом это

зло могло бы проникнуть в того, кто уже обрел свою женскую половину и носит ее в себе! Потом, когда мой человеческий глаз снова прозрел, я увидел руку, которая из глубины колодца протягивала какой-то предмет, мерцающий подобно тусклому серебру; но как я ни старался, мои земные руки никак не могли его ухватить, тогда дочь Исаис, высунув из меня свою цепкую кошачью лапку, взяла его и передала мне... «Серебряный башмачок», который отводит страх от того, кто его носит...

...и прибился к бродячим жонглерам, выдавая себя за канатоходца и дрессировщика. Ягуары, леопарды и пантеры в диком ужасе, шипя и фыркая, разбежались по углам, стоило мне только глянуть на них «белым глазом»...

... (Следы сгня) ...

...и хотя никогда не учился, но неподвластный, благодаря «серебряному башмачку», страху падения и головокружению, танцевал на канате без всякого труда, кроме того, моя сокровенная «невеста» брала на себя тяжесть моего тела. Вижу, брат Ди, что ты сейчас спрашиваешь себя: «Почему же этот Бартлет Грин, несмотря на свои редкостные способности, не придумал ничего лучше, как стать жонглером и разбойником?» Вот что я тебе на это отвечу: свободу я обрету только после крещения огнем, когда «тайгерм» проделают со мной. Тогда я стану главарем невидимых ревенхедов и с того света сыграю папистам такой пиброкс, что у них в ушах будет звенеть еще лет сто; и пусть себе палят на здоровье из своих хлопушек, в нас они все равно не попадут... Да ты, жалкий магисторишка, никак сомневаешься, что у меня есть «серебряный башмачок?» Смотри же сюда, Фома неверующий! — и Бартлет уперся носком своего правого сапога в пятку левого, собираясь его стащить, — и вдруг замер, оскалил острые зубы и широко, как хищный зверь, раздув ноздри, с силой втянул воздух. Потом насмешливо бросил: — Чуешь, брат Ди? Запах пантеры!

Я затаил дыхание, и мне показалось, что мои ноздри тоже уловили пряный опасный запах. И в то же мгновение снаружи, перед дверью камеры, раздались шаги и загремели тяжелые железные засовы...

Какой-то одетый во все черное человек в полном одиночестве вошел в нашу камеру, слабо освещенную первыми утренними лучами. Был он ниже среднего роста и, несмотря на свои округлые формы, чрезвычайно подвижен. В ноздри ударил острый запах, исходящий от его черной сутаны, полы которой развевались в разные стороны. Воистину, пахло зверем! Этот круглолицый, розовощекий пастырь — ни дать ни взять безобидный пивной бочонок, если бы не особая неподвижность затаенно-надменных глаз, — этот невзрачный слуга Божий без каких-либо отличительных знаков и без сопровождения — если оно и присутствовало, то до поры до времени оставалось невидимым, — был, это я понял сразу, его преосвященство Боннер, Кровавый лондонский епископ собственной персоной!

Бартлет Грин сидел, нахохлившись, напротив меня, ни один мускул не дрогнул на его лице, и только глазные яблоки медленно и спокойно двигались, ловя каждое движение опасного посетителя. И вдруг весь мой страх куда-то испарился, теперь и я, следуя примеру истерзанного главара ревенхедов, хладнокровно выжидал, не обращая ни малейшего внимания на мягко расхаживавшего взад и вперед епископа.

Внезапно резко повернувшись, тот подошел к Бартлету и, легонько толкнув его ногой, грубо прорычал:

— Встать!

Бартлет и бровью не повел. Его косою, исподлобья, взгляд, направленный снизу вверх на мучителя его тела, смеялся, а голос, иду-



ший из глубины широкой грудной клетки, насмешливо передразнил начальственный рык:

— Вот, он, трубный глас! Только слишком рано, мой пузатый архангел, еще не пробил час Воскресения мертвых. Ибо, как видишь, мы еще живы!

— Вижу, вижу, исчадие ада, и зрелище сие наполняет душу мою отвращением! — ответил епископ кротким, елейным голосом, который резко расходился как со смыслом его слов, так и с грозным рычанием пантеры, прозвучавшим вначале. Его преосвященство вкрадчиво заурчал: — Послушай, Бартлет, неисчерпаемо милосердие Господне, как и неисповедимы пути Его, быть может, и тебе предопределено высшим промыслом обращение и — покаяние. Облегчи душу твою чистосердечной исповедью, и отсрочено будет низвержение твое в пылающие смоляные озера ада, а возможно, и вовсе отменено. Времени, чтобы покаяться, у тебя в обрез.

В ответ раздался приглушенный, характерно гортанный смех Бартлета Грина. Я видел, как епископ содрогнулся от сдерживаемой ярости, однако своими эмоциями его преосвященство владел великолепно. Он только сделал один маленький шаг к этому изуродованному пыткой комку человеческой плоти, которая на скользких от плесени нарах содрогалась в приступе почти неслышного смеха, и продолжал:

— Кроме того, я вижу, Бартлет, что у вас хорошая конституция. Суровое дознание почти не отразилось на вас, на вашем месте смердящие душонки очень и очень многих уже давным-давно распрощались бы со своей брэнной оболочкой. Положитесь на Всевышнего, и толковый цирюльник, в крайнем случае врач, в два счета подштопает вас. Покайтесь — милости моей, равно как и строгости, доверять можно! — и в тот же час вы покинете эту дыру вместе... — и епископ окончательно перешел на доверительно-вкрадчивое мурлыканье, — вместе с вашим другом и товарищем по несчастью Джоном Ди, баронетом Глэдхиллом.

Первый раз епископ вспомнил о моем существовании. И теперь, когда он так внезапно назвал меня по имени, я вздрогнул, как будто очнувшись от глубокого сна. Все это время я словно издали наблюдал за происходящим, как смотрят на потешную комедию, которая не имеет к тебе никакого отношения, теперь же с привилегией праздного зрителя было покончено, и слова епископа легко, но неумолимо вовлекли меня в число актеров на эти кошмарные подмостки. Стоит только сейчас Бартлету признать, что он знаком со мной, и я погиб!

Однако, едва мое сердце справилось с ужасом, мгновенный укол которого поверг меня в трепет, и очередным сокращением погнало кровь по онемевшим жилам, Бартлет с неопишуемым самообладанием обернулся в мою сторону и заржал:

— Баронет?! Здесь, со мной, на соломе?! Какая честь, брат епископ! А я-то думал, что мне тут какого-то портняжку за компанию подсадили, которому вы собрались преподавать в вашей знаменитой школе, как душа от страха уходит в штаны вместе с поносом.

Оскорбления Бартлета, прозвучавшие для меня громом среди ясного неба, настолько точно разили мою такую ранимую тогда гордость, что я тотчас вскочил и встал в позу, яростно пожирая глазами разбойника; выглядело все это чрезвычайно естественно, что, конечно же, не ускользнуло от всевидящего ока епископа Боннера. Но в ту же секунду мои обостренные чувства уже уловили истинное намерение бравого главаря ревенхедов, и в мою душу снизошло великое нерушимое спокойствие, так что теперь я наилучшим образом подыгрывал комедии: то Бартлету, то епископу, сообразно роли каждого.

Вот и на сей раз прыжок пантеры не достиг цели, и его преосвященству не оставалось ничего лучшего, как скрыть свою досаду в

брюзгливом ворчании, которое и в самом деле поразительно напоминало недовольную зевоту гигантской кошки.

— Итак, ты не желаешь признавать его ни в лицо, ни по имени, мой добрый мастер Бартлет? — подступился епископ с другой стороны. Однако Бартлет Грин лишь глухо прорычал:

— Хотите, чтобы я признал за своего этого труса, которого вы мне подбросили в гнездо прямо из пеленок, еще необсохшим, мастер кукушка! Ничего не имею против, чтобы пропустить вперед через ваши закопченные от горячей смолы райские врата этого скулящего щенка, вот только я не вы, папаша Боннер, и не надо в обмен на такую пустяшную услугу вешать мне на шею всяких дерьмовых баронетов под видом закадычных друзей!

— Заткни свою поганую пасть, проклятый висельник! — рывкнул внезапно епископ, терпению которого пришел конец. И вот уже за дверями камеры многозначительно позвякивает оружие.— Смола и дрова — это недостойно такого, как ты, порождения Вельзевула! Тебе бы надо соорудить костер из ковриг серы, дабы ты еще здесь, на земле, вкусил от тех радостей, кои уготованы тебе в доме отца твоего! — вопил красный, как рак, епископ, скрежеща от ярости зубами с такой силой, что слова буквально застревали в его ощеренной пасти. Но Бартлет лишь рассмеялся своим резким, гортанным смехом и, уперев в нары не знающие покоя изуродованные руки, от одного вида которых мне стало не по себе, принялся раскачивать свой корпус взад и вперед.

— Брат Боннер, ты ошибаешься! — посмеиваясь, поддразнивал он.— В моем случае с серой, на целительные свойства коей ты, мой дорогой эскулап, возлагаешь столь большие надежды, делать нечего. Серные ванны хороши для французов; при этом я вовсе не хочу сказать, что сей источник здоровья может повредить такому любителю прекрасного пола, как ты, хо-хо, но заруби себе на носу, мой цыпленок, там, куда тебя вознесут, когда придет твой час, запах серы ценится не меньше, чем мускус или персидский бальзам!

— Признавайся, свинорылый демон,— ревел епископ Боннер голосом льва,— этот баронет Глэдхилл — твой сообщник по убийству и грабежу, или...

— ...или? — откликнулся Бартлет Грин насмешливым эхом.

— Тиски для пальцев сюда! — прошипел епископ, и вооруженная стража ворвалась в камеру. Тогда Бартлет с жутким смехом поднял правую руку, показал ее всем, затем сунул оттопыренный большой палец глубоко в рот и одним сокрушительным сжатием своих мощных челюстей откусил его у самого основания; потом, вновь разразившись издевательским хохотом, выплюнул его епископу в лицо, так что кровавая пена забрызгала щеки и сутану остолбеневшего священнослужителя.

— На! — проревел Бартлет Грин, захлебываясь своим inferнальным смехом,— забирай, сушь его себе в... — и тут он изверг на епископа такой поток площадной брани и оскорблений, что воспроизвести их здесь, даже если бы память моя была в состоянии удержать хоть малую толику этих проклятий, просто не представляется возможным. Суть их в основном сводилась к тому, что Бартлет во всех подробностях описал его преосвященству, как по-братски будет заботиться о нем «с того света», вот только вознесется вместе с пламенем костра к «Зеленой земле». (Что за землю имел он в виду?) И отблагодарит его не смолой, не серой — о нет, за зло он воздаст добром и пошлет ему, сыну своему возлюбленному, дьяволиц самых благоуханных и неотразимых, ради прелестей которых сам император не побрезговал бы французской болезнью. И будет ему уже здесь, на земле, каждый час то дьявольски сладок, то дьявольски горек, ибо там...

— ...там, мой птенчик,— примерно так закончил свое мрачное прочество Бартлет,— там ты запоешь по-другому — воем взвоешь и в своей адской трясине будешь смердеть в угоду нам, принцам черного камня, коронованным абсолютным бесстрашием!

Мое перо бессильно передать игру коварных мыслей, шквал будущих страстей или хотя бы тени панического ужаса, которые во время этого сизигийного прилива проклятий, сменяя друг друга, пробегали по широкой физиономии епископа Боннера. Этот крепкий мужчина, казалось, врос в землю; за ним жалась по темным углам кучка стражников и подручных палача: все они были охвачены суеверным ужасом — «белый глаз» мог навести порчу, сделать несчастным на всю жизнь.

Наконец сэр Боннер пришел в себя, медленно отерся шелковым рукавом и произнес почти спокойно, даже как-то устало, однако в голосе его слышалась нешуточная угроза:

— Старо, как мир. Я вижу, методы злого ворога и прародителя лжи не меняются! Ничего нового ты мне не открыл, проклятый колдун. Но теперь по крайней мере мне ясно, что тянуть дальше нет смысла: светило небесное не должно марать свои лучи о такое исчадие ада.

— Пшел вон,— коротко и предельно брезгливо бросил Бартлет,— прочь с глаз моих ты, пожиратель падали! Воздух, которым ты дышишь, смердит!

Епископ властно взмахнул рукой, и стражники двинулись на Бартлета. Тот, однако, сжался в комок, откинулся на спину, а свою обнаженную ногу выставил им навстречу... Стража резко отпрянула назад.

— Смотрите, смотрите,— цедил он сквозь зубы,— вот он, «серебряный башмачок», который подарила мне Великая Мать Исаис. Пока он у меня на ноге, ни страх, ни боль не властны надо мной! Я не подвержен этим недугам карликов!

С ужасом я увидел, что на его ноге отсутствуют пальцы; голый обрубок действительно напоминал тупой металлический башмак: серебристая лепра, сверкающая проказа разъела ступню. Как у прокаженной из Библии, о коей сказано: «...покрылась проказою, как снегом...»

— Проказа! — завопили стражники и, побросав копья и наручники, без ума от страха, устремились к узким дверям камеры. Епископ Боннер стоял белый от ужаса, колеблясь между гордостью и страхом, так как серебристая лепра почитается учеными специалистами за болезнь, чрезвычайно заразную. И вот медленно, шаг за шагом, стал отступать тот, кто пришел насладиться своей властью над нами, несчастными заключенными, перед Бартлетом, ползущим на него с вытянутой вперед заразной ногой и непрерывно изрыгающим хулу на высшее духовенство. Конец этому положил епископ — особой храбрости тут не потребовалось; поспешно шмыгнув к дверям, он прохрипел:

— Сегодня же зараза должна быть выжжена семикратным огнем. Ты тоже, проклятый приспешник,— это уже предназначалось мне,— попробуешь пламени, которое избавит нас от этого чудовища; мы предоставим тебе возможность хорошенько попытать свою погрязшую в грехе душу, быть может, хотя бы костер отогреет ее и поможет вернуться на правый путь. Не вешай носа, у тебя еще все впереди, с нашей стороны было бы величайшей милостью, если б мы предали тебя огню как простого еретика!

Таково было последнее благословение, которым напутствовал меня Кровавый епископ. Признаюсь, эти слова в считанные мгновения провели меня через все бездны и адские лабиринты страха, на которые только способно человеческое воображение; ибо, если о его пресвященстве говорят, что он владеет искусством убивать свою жертву

трижды: первый раз — своей усмешкой, второй — словом, третий — палачом, то это в полной мере соответствовало истине, так как меня он подверг мучительнейшей казни и лишь необъяснимому чуду обязан я моим спасением от третьей смерти в руках заплочных дел мастера...

Едва мы с Бартлетом Грином остались одни, как наступившую тишину вновь разорвал неистовый смех этого неустрашимого человека; насмеявшись вволю, он почти благосклонно обратился ко мне:

— Беги отсюда, брат Ди. Я же вижу, что все твое существо зудит от страха, словно тысячи блох и клещей кусают тебя. Но не бойся, все кончится благополучно. Не веришь? Признайся, все-таки я со своей стороны сделал все, чтобы выгородить тебя!.. Ну, будет, будет, еще бы тебе этого не признать! Это так же ясно, как и то, что ты выйдешь из этой западни целым и невредимым, разве что мой огненный ковчег, проплывая мимо, слегка подпалит твою бороду. Но уж это горе ты как-нибудь переживешь.

Недоверчиво качнул я усталой головой, в которой после всех перенесенных потрясений и страхов болезненно пульсировало тупое отчаяние. Внезапно — как это бывает, когда чрезмерные переживания исчерпывают, наконец, душевные силы, — меня охватило полное безразличие, и все тревоги разом рассеялись; меня даже развеселил тот неподдельный ужас, с каким епископ со своими подручными смотрел на серебряный башмак проказы, и я с каким-то упрямым вызовом придвинулся почти вплотную к клейменному лепрой.

Это не ускользнуло от Бартлета, и он усмехнулся с явным удовлетворением: я сразу понял той особой, обостренной интуицией людей, коим довелось по-братски разделить выпавшие на их долю страдания, что этого человека, принадлежащего к какой-то иной, полярно противоположной природе, быть может, впервые коснулось нечто, отдаленно напоминающее земное человеческое участие.

Что-то осторожно нащупав за пазухой своего кожаного колета, из-под которого выглядывала его волосатая грудь, он коротко обронил:

— Еще ближе, брат Ди. Не беспокойся, дар моей повелительницы такого свойства, что каждый должен заслужить его сам. При всем моем желании я не могу передать его тебе по наследству.

И вновь жуткий глухой смех обдал меня ледяным холодом. А Бартлет уже продолжал:

— Итак, я сделал все зависящее от меня, чтобы отбить охоту у этих церковных крыс вынюхивать связывающие нас интересы; но это отнюдь не из любви к тебе, мой дорогой брат, — просто так повелевает мне мой долг; и тут уж ничего не поделаешь. Ибо ты, баронет Глэдхилл, — истинный наследник короны Зеленой земли, и повелительница трех миров ожидает тебя.

Эти слова, слетевшие с губ разбойника, пронзили меня, как удар молнии; с большим трудом я сохранил самообладание. Однако быстро соотнеся возможное с вероятным, я мгновенно понял, в чем тут дело: скорее всего Бартлет, прирожденный бродяга и колдун, был связан с ведьмой Эксбриджского болота, а возможно, и с Маске.

Бартлет словно угадал мои мысли:

— Да, конечно, мне хорошо известна сестра Зейра из Эксбриджа, да и магистр московитского царя тоже. Будь осторожен! Он только посредник, а направлять его должен ты, брат, — силой знаний твоих и воли! Те шары, красный и белый, которые ты выбросил в окно...

Я недоверчиво хмыкнул:

— У тебя хорошие осведомители, Бартлет! Значит, Маске шпионит и на ренхедов?

— Что бы я тебе ни ответил, умней ты от этого не станешь. Но кое-что все-таки скажу... — и Бартлет Грин по минутам перечислил все мои действия в ту ночь, когда меня схватили стражники епископа,

и даже назвал место и во всех подробностях описал устройство тайника, в который я с величайшими предосторожностями прятал бумаги настолько секретные, что и по сию пору не могу доверить их содержание этому дневнику. Он с хохотом дразнил меня, вдаваясь в самые мельчайшие детали, да так точно, словно перевоплотился в меня или же присутствовал в моем кабинете как призрак, ибо ни один человек в мире не мог этого ни знать, ни выведать.

Этот искалеченный разбойник и еретик с таким пренебрежительным смехом, с такой аристократической небрежностью продемонстрировал свои поистине феноменальные способности, что я, баронет древнего знаменитого рода, к моему изумлению и скрытому ужасу, застыл перед ним, по-идиотски раскрыв рот, а потом, тупо уставясь на него, залепетал:

— Ты, не ведающий боли, победивший самые ужасные страдания плоти, пользующийся, по твоим словам, покровительством своей госпожи Исаис Черной, — ты, видящий все, даже самое сокровенное, ответь мне: почему же ты лежишь здесь в оковах, с искалеченными руками и ногами, уготованный в жертву пламени, а не рушишь с помощью чудесной силы эти стены, дабы целым и невредимым выйти на свободу?!

Бартлет снял на это висевший у него на груди маленький кожаный мешочек, раскачал его, подобно маятнику, у меня перед глазами и, посмеиваясь, сказал:

— Разве не говорил я тебе, брат Ди, что по нашим законам срок мой истек? Семнадцать лет назад мною были принесены в жертву пятьдесят черных кошек, теперь точно так же, на огне, я должен принести в жертву самого себя, ибо этой ночью исполнился тридцать третий год моей жизни. Сегодня я еще Бартлет Грин, сын шлюхи и святоши, которого можно пытаться, рвать на куски, жечь, но утром с этим будет покончено, и сын человеческий воссядет как жених в доме Великой Матери. Тогда настанет мой час, и вы все, брат Ди, сразу почувствуете начало моего правления в вечной жизни!.. Но чтобы ты помнил обо мне и всегда мог найти меня, завещаю тебе мое единственное земное сокровище и...

*И вновь пробел, кусок текста уничтожен явно намеренно, похоже на то, что на сей раз это сделал сам Джон Ди. Однако какого свойства был подарок Бартлета Грина, явствует с первых же оставшихся нетронутыми страниц журнала.*

... (Следы огня) ... что около четырех часов пополудни все приготовления, до которых могла додуматься разве что распаленная ненасытной мстительностью изуверская фантазия Кровавого епископа, были закончены.

Бартлета Грина увели, и я уже более получаса томился в полном одиночестве. Чтобы как-то отвлечься от тревожных мыслей, я извлек невзрачный подарок и принялся напряженно вглядываться в кусок черного каменного угля величиной с крупный грецкий орех, не появлялись ли в его сверкающих гранях — кристалл был великолепно отшлифован в форме правильного додекаэдра, — как в зеркале, видения событий, происходящих в данную минуту в самых отдаленных местах, или же образы будущей моей судьбы. Но, как и следовало ожидать, ничего похожего не произошло, ведь Бартлет предупреждал, что с душой, замутненной тревогой и житейскими заботами, пользоваться кристаллом нельзя.

Лязг засовов заставил меня быстро убрать таинственный камень в кожаный мешочек и спрятать в подкладку моего камзола.

Вошел эскорт тяжеловооруженных ландскнехтов, и я в приступе страха решил, что, не иначе, меня хотят казнить на скорую руку, без

суда и следствия. Однако задумано было хитрее: дабы моя строптивая душа отмякла и стала более уступчивой, меня намеревались только подвести к костру, но так близко, чтобы я во всех подробностях мог наблюдать, как будет гореть Бартлет Грин. Должно быть, сам Сатана присоветовал епископу воспользоваться оказией, так как либо Бартлет в предсмертных муках, либо я, уstraшенный кошмарным зрелищем, могли проговориться, и тогда, как полагал его преосвященство, выжать признание о нашем компаньонаже или даже склонить к предательству труда бы не представляло. Он, однако, просчитался. Не буду здесь многословно описывать картину, каковая и без того запечатлелась в памяти моей надежней огненного тавра. Потому отмечу лишь, что епископу Боннеру не удалось насладиться лицезрением пышного аутодафе так, как он по всей видимости, воображал в своих жутких сладострастных фантазиях.

В пятом часу Бартлет Грин взошел на костер; он с такой готовностью взобрался на кучу хвороста, как будто его там в самом деле ждало брачное ложе... И мне сразу вспомнились его собственные слова, что еще сегодня надеется воссесть женихом в доме Великой Матери — под этими кощунственными речами он вне всяких сомнений имел в виду возвращение к Исаис Черной.

Вскарабкавшись наверх, он, громко смеясь, крикнул епископу:

— Будьте начеку, господин святоша, как только я запою песнь возвращения, берегите свою лысину, ибо я намерен окропить ее кипящей смолой и огненной серой, дабы мозг ваш пылал, не переставая, до вашего собственного паломничества в ад!

Костер и вправду был сложен на редкость коварно и расчетливо; никогда прежде и, дай Бог, никогда в грядущем не будет такого в нашей земной юдоли. На уложенных штабелями вязанках сырых, коптящих сосновых сучьев был возведен столб, к которому стражники железными цепями приковали Бартлета. Это пыточное дерево до самого верху было обмотано пропитанной серой бечевкой, а над головой несчастного грешника нависал внушительной толщины нимб из смолы и серы.

Таким образом, когда палач стал с разных сторон совать свой факел в дрова, прежде всего ярко вспыхнула серная бечевка, и проворный огонек, как по фитилю, побежал вверх, к нимбу над головой осужденного, и вот уже первые редкие капли огненного дождя упали на Бартлета Грина.

Однако, казалось, фантастический человек там, на костре, ждал этого inferнального серного дождя как манны небесной или как освежающей весенней грозы: поток едких, глумливых издевательств обрушился на епископа, так что бархатное кресло его преосвященства куда больше напоминало позорный столб, чем тот, к которому была привязана его жертва. И если бы сэр Боннер мог под благовидным предлогом покинуть место, где при всем честном народе ему в лицо беспощадно бросали обвинения в самых тайных грехах и пороках, он бы с величайшим удовольствием так и сделал и даже отказал себе в наслаждении полюбоваться этой казнью! Однако, словно прикованный к спинке кресла, он пребывал в странном оцепенении, похоже, ему просто не оставалось ничего иного, как, дрожа от ярости и стыда, с пеной у рта отдавать приказ за приказом помощникам палача, чтобы они ускорили свою страшную работу, которую раньше он думал растянуть до предела. И все же, несмотря на весь ужас происходящего, я не мог не изумиться тому, что даже этот огненный ливень из серы и смолы, хлынувший на смену редкому моросящему дождику, не заставил Бартлета замолчать, казалось, он и в самом деле был неуязвим. Наконец сухие щепки и хворост, нашпигованные паклей, сделали свое дело — костер вспыхнул, и Бартлет исчез в дыму и пламени. И тогда он запел, но не так, как в

подземелье, распятый на цепях, — сейчас, под треск горящих поленьев, его мрачный гимн звучал грозно и ликующе:

Повешенный на мачте —  
 Хоз-хо! — после линьки в мае! —  
 плыву за горизонт  
 в серебряном ковчеге  
 сквозь огненный потоп.  
 Хо, мать Исаис, хоз!

Мертвая тишина воцарилась на площади, у всех от ужаса перехватило горло; палач со своими подручными, судьи, священники, сановники, застыв в гротескных позах, напоминали комичных и нелепых марионеток. Впереди, подобный бескровному призраку, восседал его пресвященство; судорожно вцепившись в подлокотники своего кресла, невидящими глазами взирал он на пламя. И вот когда затих последний звук и Бартлет Грин замолк навсегда, я увидел, как епископ внезапно вскочил и, качнувшись вперед, едва устоял на ногах; в эту минуту он поразительно походил на осужденного, которому только что огласили приговор. Был ли то порыв ветра, или, в самом деле, не обошлось без нечистой, так или иначе, над костром вдруг взметнулся огненный сполох, — подобный красно-желтому языку, он вихрем перечеркнул вечернее небо в направлении епископского трона и, почти облизав тонзуру преподобного Боннера, ужалил сгустившиеся сумерки. Ну, а о том, окропило ли эту благочестивую главу пылающей адской серой, как предсказывал Бартлет, остается только гадать. Судя по искаженному судорогой лицу Кровавого епископа — да, хотя вопля слышно не было, должно быть, он просто потонул в крике разом ожившей толпы и лязге оружия.

Думаю, пророчество Бартлета все же исполнилось, ибо когда я, немного придя в себя, провел рукой по лбу, инстинктивно смахивая напряжение последних часов, к моим ногам упал мой собственный опаленный локон. Ночь, сменившую этот кошмарный день, я провел в моем одиноком застенке, но и она прошла при весьма странных обстоятельствах, лишь часть из них можно доверить дневнику, хотя мне очень не хочется делать даже это, да и смысла нет, так как все равно никогда не забуду того, что случилось со мной в подземелье Кровавого епископа.

Вечер и первая половина ночи прошли в томительном ожидании нового дознания или — кто знает? — возможно, и пытки. Признаюсь, я не очень-то доверял предсказанию Бартлета, зато поминутно хватался за его уголек, пытаясь через полированные грани невзрачного минерала заглянуть в будущее. Но вскоре в подземелье стало слишком темно, а тюремщики в эту, как и в прошлую ночь, не считали нужным — а может, следовали строгому предписанию — давать в камеру свет.

Вздыхая о своей судьбе, я почти завидовал жребию главаря ревенхедов, который теперь по крайней мере избавлен от цепей и дальнейших тягот этой жизни; в таких невеселых думах я просидел довольно долго, должно быть, уже за полночь свинцовая дремота смежила мне веки.

И вдруг тяжелые кованые двери распахнулись и Бартлет Грин за просто, как к себе домой, вошел, лучась улыбкой победителя; зрелище здравствующего и даже как будто помолодевшего разбойника повергло меня в крайнее изумление, причем я словно и не спал, ни на мгновение не забывая, что всего несколько часов тому назад он был сожжен. Я тут же строго потребовал во имя Троицы Единосущной ответить, кто он теперь — призрак бесплотный или Бартлет Грин собственной персоной, коль скоро он какими-то неведомыми путями вернулся с того света.

Бартлет, как обычно, рассмеялся своим глухим смехом, идущим из глубины груди: нет, он, конечно, не призрак, а живой, здоровый и самый что ни на есть настоящий Бартлет Грин, и пришел не с «того» света, а с этого, ибо мир един и никакого «загробного» нет, зато имеется неисчислимое множество различных фасадов, сечений и измерений, — вот и он теперь обитает в несколько ином измерении, так сказать, с черного хода.

Однако в моем изложении это звучит каким-то жалким лепетом, не передающим и малой доли той великой ясности, простоты и очевидности, которыми, как мне казалось, я обладал в тогдашнем уникальном состоянии духовной иллюминации, так как проникновение в истинную природу того, о чем мне говорил Бартлет, было подобно священному восторгу мистиков: солнечное сияние затопило мой мозг, и тайны времени, пространства и бытия стали вдруг прозрачными и покорно открылись моему духу. Тогда же Бартлет поведал мне массу удивительного о моем «я» и о будущем, все это моя память сохранила вплоть до мельчайших подробностей.

Воистину, после того, как я стал свидетелем столь многих его пророчеств, кои сбывались самым чудесным и противоестественным образом, с моей стороны было бы просто глупо не доверять предсказанному мне в ту пору и сомневаться, воображая себя во власти предательского морока. Одно лишь меня удивляло: с какой стати Бартлет столь преданно заботился обо мне, взяв под свое покровительство? Христианская забота о ближнем? Смешно и наивно, но пока я еще ни разу не уличил его в самомалейшем прегрешении против справедливости и не заметил, чтобы он хоть раз проявил себя коварным искусителем, иначе у меня достало бы мужества крикнуть твердое и действенное «*apage, Satanas*», и он бы незамедлительно провалился в тартарары.

Во веки веков мой путь не станет его путем; и если бы я тогда заподозрил, что он злоумышляет против меня, то сейчас же призвал бы его к ответу!

Уступая моим настойчивым расспросам, Бартлет открыл мне, что уже утром я буду на свободе. Утверждение, принимая во внимание все обстоятельства дела, совершенно невероятное, но когда я насел на разбойника, доказывая, что чистое безумие предрекать такое, он буквально зашелся от смеха:

— Да ты никак умом повредился, брат Ди. Видишь солнце — и отрицаешь око! Ладно, ты в искусстве еще неопит, для тебя кусок шлака значит больше, чем живое слово. А потому, когда проснешься, порасспроси мой подарок, да смотри не растеряй при этом свой хваленый здравый смысл.

Его чрезвычайно важные советы и поучения касались в основном завоевания Гренландии, а также той поистине непредсказуемой значимости, каковую будет иметь это предприятие для моей дальнейшей судьбы. Следует добавить, что во время своих посещений — а он отныне частенько навещал меня — Бартлет Грин вновь и вновь с предельной настойчивостью и определенностью указывал на этот путь как единственный к той высочайшей и страстно взыскуемой цели, коя воплощена для меня в короне Гренландии; и его призыв я уже начинал оценивать по достоинству!..

Потом я проснулся... Ущербная луна стояла высоко и ярко, так что проекция узкого окна бледно-голубым квадратом лежала у моих ног. Я вступил в косую лунную полосу, осторожно извлек кристалл и подставил его черные зеркальные грани лучам ночного светила. На них заиграли синеватые, иногда переходящие в черный фиолет рефлекссы... В течение долгого времени дальше этого не шло. Однако странное, физически ощутимое спокойствие поднималось из глубин моей души, и вот



черный кристалл перестал дрожать в моих пальцах — они словно окаменели.

Лунный свет на угольных гранях начал переливаться всеми цветами радуги; молочно-опаловые туманности то появлялись, то вновь пропадали. Наконец на зеркальной поверхности кристалла проступил светлый, очень четкий контур; вначале он был совсем крошечный и казался залитой светом луны комнатой с играющими гномами, за которыми следишь в замочную скважину. Однако фигурки вскоре стали расти, и картинка, хоть и лишенная перспективы реального пространства, обрела такое удивительное сходство с действительностью, что мне показалось, будто я сам перенесся в нее. И тут я увидел...

. . . . . (Следы огня). . . . .

\* \* \*

Два года назад снизошло на меня озарение, и открылся мне смысл истинной алхимии. Уже к Рождеству 1579 года устроил я в Мортлейке лабораторию, снабдив ее всем необходимым, и даже выписал из Шробери дельного лаборанта, который объявился у меня в том же году как раз на Рождество и с тех пор показал себя верным и добросовестным помощником, к тому же еще сверх всякого ожидания весьма сведущим в тайном искусстве и обладающим богатым опытом. Этот лаборант, мастер Гарднер, пришелся мне по сердцу и, заслужив доверие, стал моей правой рукой, ибо верой и правдой соблюдал мои интересы, всегда готовый помочь добрым советом, что и следовало со всем вниманием признать и с подобающей благодарностью отметить. К сожалению, в последнее время все явственней обнаруживалось, что те высокие знания и особенно то доверие, которые я дарил ему, сделали его высокомерным и строптивым, посему мне все чаще приходилось сталкиваться с непокорством, непрошеными предостережениями и увещеваниями. Такой оборот меня не устраивал. Я надеялся, что мой лаборант в скором времени опомнится и вновь признает во мне своего сеньора, может, даже научится ценить мою благосклонность. Однако наши расхождения отнюдь не исчерпывались различием взглядов на методы и практику искусства алхимии, он хотел воспрепятствовать моему общению с кроткими и мудрыми духами потустороннего мира, коих мне недавно удалось заклясть самым убедительным образом. Обуянный желанием перечить мне, он настаивал на том, что inferнальные демоны и стихийные духи попросту мистифицируют меня, хотя о какой мистификации может идти речь, если всякий раз, перед тем как приступить к заклинаниям, я возносил благочестивые и страстные молитвы к Господу и Спасителю всего живого Иисусу Христу, дабы помог Он мне в работе многотрудной и позволил благополучно довести ее до конца. Голоса и духи, кои являлись мне, были столь богобоязненны и столь неукоснительно повиновались всегда приказам, провозглашаемым мною во имя Святой и Животворящей Троицы, что я просто не мог, да и не хотел давать веры предостережениям Гарднера. К тому же их простые толковые рекомендации касательно рецептов философского камня и соли жизни шли вразрез с теми принципами, которыми руководствовался мой лаборант. Думаю, здесь просто была задета гордыня: Гарднер ведь полагал, что преуспел в герметических науках. Все это я по моему человеческому разумению понять могу, но не в моих силах сносить далее его упрямые возражения, какими бы благими намерениями они не объяснялись. Я был уверен в принципиальном заблуждении моего лаборанта, утверждавшего, что от бесчисленных коварных козней обитателей иного мира заговорен лишь тот, кто в сокровенной глубине своей души прошел весь таинственный процесс духовного воскресения, основные этапы коего: мистическое крещение водой, кровью и огнем, появление на коже различных букв и знаков,

постоянный привкус соли на языке, в ушах — непрекращающийся крик петуха и многое другое, как, например, плач младенца, который должен доношаться из чрева неофита. Как все это следует понимать, он говорить не захотел, утверждая, что клятва обязывает его к молчанию.

А так как я все еще колебался, не морочит ли меня в самом деле сатанинская прелесть, то вчера, в отсутствие Гарднера, принялся заклинать духов во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа явиться мне и сказать, какими сведениями располагают они о некоем Бартлете Грине и не водят ли с ним дружбу, находя его достойным своего компанства. В воздухе раздался странный свистящий смех, который меня вначале озадачил, однако потом духи с шумом великим стали проявлять недовольство моей подозрительностью, жуткие, как по металлу скрежещущие голоса, исходя от стен, пола и потолка, повелевали мне избегать отныне какого-либо общения с этим нечестивым посланцем Исаис Черной; позднее, в присутствии моих старых друзей Гарри Прайса и Эдмонда Талбота, они в знак всеведения своего сообщили мне тайну, которая была известна лишь мне одному и которую я скрывал даже от моей жены Яны. В заключение они запретили мне питать какое-либо подозрение касаясь обитателей иного мира и сказали, что мои мерзостные шашни с Бартлетом Грином могут быть искуплены лишь полным и бесповоротным отказом от всего, связанного с этим исчадием ада, и прежде всего от того угольного кристалла, или магического зеркала, который он мне подарил в Тауэре и который я должен был в знак раскаяния собственноручно предать огню во имя Господне.

Это был мой настоящий триумф над Гарднером, он лишь угрюмо молчал, когда я рассказывал ему, что повелели мне духи. Так и не проронил ни слова, но мне это было безразлично, ибо в душе я уже отказался от него. А сегодня с утра, исполняя принесенную клятву порвать со всем, что могло напоминать Бартлета Грина или быть связанным с ним, я извлек из тайника угольный кристалл и на глазах Гарднера сжег его на сильном огне. К моему немалому удивлению лаборант и бровью не повел — задумчиво, с серьезной миной наблюдал, как отшлифованный уголек ярко вспыхнул зеленым пламенем и бездымно сгорел, не оставив после себя ни малейшего следа шлака или пепла.

Уже на вторую ночь явилась мне издевательски ухмыляющаяся физиономия Бартлета Грина; думаю, своей ухмылкой он пытался скрыть ту ярость, которая бушевала в нем, ведь я сжег его угольное зеркало. Потом он стал медленно исчезать в клубах зеленого дыма, который настолько исказил его черты, что мне на мгновение привиделся совсем другой, незнакомый человек; волосы так плотно прилегали к щекам, что казалось, будто у него и вовсе не было ушей. Но все это, должно быть, мое воображение... Потом мне опять приснилось Глэдхиллское дерево, которое изрекло:

— Прилежно содействуй благотворному процессу, суть коего — страдание материи — и есть исходное условие для приготовления эликсира вечной жизни.

Слова эти смущили меня, и после пробуждения я надолго и столь основательно впал в черную меланхолию, что готов был даже испросить совета Гарднера; конечно, обращаться к человеку, от которого внутренне отказался, не подобает, но я как-то об этом не подумал, уж слишком тяжелым и зловещим было ощущение сгустившихся надо мной туч. Я прошел в лабораторию, однако обнаружил там лишь письмо, в котором мой лаборант сухо, но вежливо прощался со мною «на долгое, долгое время, если не навсегда»...

Не в меньшей степени я был удивлен, когда около десяти утра, вслед за известившим меня слугой, в комнату вошел незнакомец, у которого, как я понял с первого же взгляда, были отрезаны уши. Свежие шрамы вокруг слуховых отверстий свидетельствовали, что приговор был

приведен в исполнение сравнительно недавно. Возможно, какой-то деликт, нарушение государственных законов. Однако я решил отнестись к незнакомцу без предубеждений, ибо не секрет, что в Англии на такое наказание, увы, слишком часто осуждают ни в чем не повинных людей. К тому же в чертах его лица не было никакого подобия с тем человеком, который приснился мне ночью. Я склонен был скорее предположить, что в данном случае сон сыграл со мной скверную шутку. Незнакомец был выше меня ростом, а ширококостная и грубая комплекция указывала на не слишком благородное происхождение. Что до возраста, то тут было сложнее, так как длинные волосы и густая, спутанная клиновидная борода скрывали его почти лишенное подбородка лицо с покатым лбом и дерзким, похожим на клюв носом. Казалось, он еще находился в летах достаточно юных, во всяком случае я мог ему дать разве что тридцать с небольшим. Позднее он сообщил мне, что ему пошел лишь двадцать восьмой год. Следовательно, он был моложе моей жены Яны Фромон. Несмотря на свои молодые годы, этот человек исколесил вдоль и поперек Англию, Францию и голландские провинции, бывал он и в плаваниях. Об этом говорила и вся его внешность: было в ней что-то авантюрное, тревожное, изменчивое, а изборожденное морщинами лицо лучше всяких слов свидетельствовало о том, что соха у его судьбы заточена на славу.

Он подошел ближе и, понизив голос почти до шепота, сказал, что хотел бы доверить мне нечто важное, но дело не терпит чужих ушей, посему не грех бы закрыть дверь. Потом, еще раз оглядевшись, он осторожно извлек из потайного кармана своих широких одежд какой-то древний фолиант в переплете из свиной кожи, раскрыл и ткнул пальцем в титульный лист. И прежде чем я успел разобрать причудливый шрифт, который старательная рука нанесла на пожелтевший ныне пергамент в незапамятные времена, он вдруг спросил меня дрогнувшим голосом, при этом его колючие мышинные глазки странно сверкнули, не мог бы я ему растолковать, что такое «проекция»...

Посему я тут же понял, что передо мной дилетант, имеющий об алхимии представление самое смутное. Я ответил, что, конечно же, знаком с этим чисто химическим термином, и по всем правилам науки объяснил ему, как осуществляются проекции. Незнакомец слушал очень внимательно и, казалось, был удовлетворен. Когда же он передал мне фолиант, для меня сразу стало очевидным, что в моих руках труд почти бесценный: рецепт создания философского камня для истинной алхимизации тела и для выделения эликсира бессмертия — бессмертия по ту и по сю сторону жизни. Я сидел как громом пораженный, не в силах произнести ни слова, но так же не в силах и совладать с моими чувствами, которые, должно быть, разыграли на моем лице настоящую пантомиму, ибо от меня не ускользнуло, как зорко следил за мной неизвестный, стараясь не упустить даже самого незначительного оттенка охватившего меня волнения. Но я и не думал таиться от него, захлопнул книгу и сказал:

— Книжонка и в самом деле славная! Что вы за нее хотите?

— Камень и эликсир, те, что в ней указаны, — ответил он, отчаянно пытаюсь скрыть буквально брызжущий из глаз страх — не дай Бог что-нибудь при этом прогадать.

— Было бы желательно для начала, чтобы хоть один из нас расшифровал криптографию книги, — возразил я.

— Дайте мне слово благородного человека, поклянитесь Телом и Кровью Христовой — и книга в вашем распоряжении.

Я ответил, что охотно бы так и сделал, но прочтение манускрипта еще не означает удачный исход работы, так как существует множество книг, трактующих о приготовлении алой и белой алхимической пудры,

и тем не менее все попытки воспроизвести содержащиеся в них рецепты остаются тщетными.

После этих слов расхोдившиеся в душе моего гостя страсти почти до неузнаваемости исказили его лицо, теперь оно могло бы внушать ужас: недоверие и триумф, угрюмое сомнение и чванливая надменность сменялись на нем с быстротой разразившейся бури. Он вдруг расстегнул рубаху, и я увидел, что на его обнаженной груди висит какой-то кожаный кошель. Он развязал его и вытряхнул на ладонь... два великолепно отполированных шара слоновой кости.. Те самые, что принес мне когда-то Маске! Ошибки быть не могло, так как на них сохранились знаки, которыми я собственноручно пометил их, прежде чем выбросить из окна... Это случилось незадолго до того, как ищейки епископа Боннера ворвались в мой замок, чтобы заточить меня в лондонский Тауэр. На сей раз мне удалось совладать с чувствами, и я, демонстрируя полное равнодушие, осведомился, какого дьявола он с таким таинственным видом тычет мне под нос эти шарики и что все это, собственно, означает. На что он, не говоря ни слова, развинтил белый шар и предъявил мне содержащуюся в нем тонкую сероватую пудру. Я вздрогнул, ибо вид и цвет вещества не оставляли никаких сомнений: передо мной была столь часто и подробно описанная *materia transmutationis* адептов алхимии. В бедной голове моей пронесся шквал: неужели я в ту страшную ночь, когда договаривался с Маске о фильтре для Елизаветы, был настолько поглощен счастливым исходом своего нечистого предприятия, что не удосужился поинтересоваться секретом этих, с такой легкостью развинчивающихся, шаров! Как случилось, что, часами задумчиво глядя на полированную поверхность, я, вместо того чтобы открыть шары, высунув от усердия язык, царапал на твердой скорлупе слоновой кости какие-то идиотские знаки, а потом, объятый темным ужасом, швырнул их в окно? Быть может, мне уже тогда, более чем тридцать лет тому назад, попала в руки великая тайна бытия, а я, как ребенок, выбросил благородные камни словно гальку, как слепец, отринул бесценный дар небес, а потому и влачил жалкую жизнь, полную тягот и самых горьких разочарований из-за неверно истолкованного «Гренланда»!..

Пока я, погрузившись в невеселые думы, молчал, не сводя глаз с открытого полушария, мой гость, видимо, приняв мой отсутствующий вид за скептическое недоверие, осторожно развинтил красный шар — я невольно зажмурился: в полой половинке таинственно мерцала королевская пудра... «Алый Лев»! Я не сомневался ни на миг. Слишком часто встречалось мне описание этих мельчайших сланцеватых чешуек пурпурного цвета в трактатах великих посвященных, чтобы я мог ошибиться в природе сего вещества. Теперь уже напирающая со всех сторон сумятица мыслей грозила в самом деле захлестнуть бедную мою голову. Поэтому я лишь молча кивнул, когда незнакомец спросил хриплым голосом:

— Ну, а что вы думаете об этом теперь, магистр Ди?

Я собрал всю мою волю и задал встречный вопрос:

— Откуда у вас эти шары?

Незнакомец медлил с ответом. Наконец не очень решительно проворкотал:

— Сначала я хотел бы знать ваше мнение о книге и о шарах.

— Считаю, что их подлинность следует проверить. Если содержание книги, да и шаров тоже, действительно соответствует тому, чем они на первый взгляд кажутся, то это истинное сокровище.

Мой гость пробурчал нечто, выражающее, по всей видимости, удовлетворение, и сказал:

— Меня радует, что вы искренни со мной. Похоже, вам доверять можно. Вы непохожи на тех чернокнижников, которые только и смотрят, как бы обвести вокруг пальца доверившегося им богатого простака.

Поэтому я и пришел именно к вам, пришел как к рыцарю и благородному человеку. Если вы мне поможете словом и делом, то мы разделим выигрыш пополам.

После того как мы наметили общий контур соглашения о нашей совместной работе и обоюдном доверии, я повторил мой вопрос о том, каким образом он завладел этими уникальными вещами.

На что он выдал следующую весьма примечательную историю.

И книга, и шары взяты из склепа святого Дунстана, это он знает точно. Когда ревенхеды более чем тридцать лет тому назад под предводительством некоего нечестивого Бартлета Грина вскрыли раку, то обнаружили тело епископа нетленным, как будто его только накануне похоронили; манускрипт он держал в сложенных на груди руках, а шары были особым образом укреплены во рту и на лбу святого. Еретики-мародеры пришли в страшную ярость, не обнаружив в крипте никаких обещанных им Бартлетом сокровищ, и, разочарованные, швырнули тело епископа в пламя горячей церкви. Однако книга и шары были выкуплены у злодеев за весьма малую сумму каким-то пришлым русским.

«Как же, как же, Маске, старый знакомый!» — подумал я и продолжал расспросы:

— А вы? Как они попали к вам?

— До меня ими владел один старик, бывший тайный агент давным-давно умершего в безумии Кровавого епископа Боннера; он держал в Лондоне бордель, который я частенько посещал, уж больно сладко там спалось, — мой гость цинично ухмыльнулся. — Однажды я увидел у него эти реликвии и сразу решил, что они должны стать моими, ведь, как мне доподлинно известно, святой Дунстан был великим адептом, посвященным в таинства алхимии. Завладеть ими мне удалось как раз вовремя, ибо в ту же ночь тайный агент... в общем, он скоропостижно скончался, — быстро поправился незнакомец. — От одной жившей в борделе шлюхи я узнал, что старый сводник еще на службе у Кровавого Боннера занимался поисками этих вещей, и он их таки нашел, но находку свою утаил и оставил реликвии у себя. Шары каким-то необъяснимым образом на некоторое время у него исчезли, а потом не менее загадочно вернулись на место.

«Поистине чудесны дела Твои, Господи!» — подумал я, совершенно отчетливо вспомнив, как бросал шары из окна.

— И вы откупили их у тайного агента, когда он уже лежал на смертном одре? — допытывался я.

— Нет, — незнакомец отвел глаза в сторону, явно избегая моего испытующего взгляда, однако быстро собрался и как-то естественно громко сказал: — Он их мне подарил.

Я понимал, что этот человек лжет, и уже начал раскаиваться в заключенном соглашении. Неужели убийство? Жизнь старого сводника или книга с шарами? Мои сомнения и колебания стали еще сильнее, когда мне внезапно открылось, что то ночное видение человека с отрезанными ушами могло быть и предостережением. Но уже в следующий миг я успокоил себя тем, что все мои подозрения не имеют под собой никакой реальной почвы, а незнакомец эти реликвии в самом худшем случае просто украл, да и украл-то у того, чья совесть была далеко не безупречна. К тому же искушение остаться совладельцем этих сокровищ было слишком велико, и я не смог себя заставить без лишних слов указать незнакомцу на дверь, как и следовало по всей видимости мне, ученому и дворянину, поступить. Я же уговаривал себя тем, что само провидение послало мне в дом человека, дабы приобрелся я к благодати камня бессмертия. Кроме того, и мои пути в юности не всегда бывали так уж прямы и безгрешны, посему нет у меня права вставать в позу судьи перед этим отчаянным малым.

В общем, не мудрствуя лукаво, порешил я судьбу не искушать и про-сил незнакомца, который представился под именем Эдварда Келли, быть желанным гостем в доме моем, а в знак того, что не только за-ключение об истинности и ценности реликвий, но и сами испытания, коим подвергну их, будут честными и непредвзятыми, протянул ему руку. Как я узнал от него, начинал он каким-то полулегальным нота-риусом в лондонских трущобах, потом странствующим аптекарем и шарлатаном обошел чуть не всю Европу, уши же были у него публич-но отрезаны за подделку документов.

Теперь же промыслу Божьему было угодно послать его в мой дом!

Пути Господни неисповедимы, и я принял его таким, каков он есть, несмотря на возражения моей любимой жены Яны, которая с первых же минут почувствовала какое-то инстинктивное отвращение к этому корноухому бродяге...

Через несколько дней я в его присутствии произвел в лаборатории первую пробу обеих пудр, результаты превзошли самые смелые ожи-дания: при совсем мизерной проекции мы получили из двадцати унций свинца почти десять унций серебра, а из того же количества олова — немногим менее десяти унций чистого золота. Мышиные глазки Кел-ли сверкали как в лихорадке, и ужаснулся я, завидев, во что превра-щает человека алчность. Он, конечно, предпочел бы тут же, на месте, превратить все содержимое шаров в золото и серебро, поэтому мне пришлось напомнить ему, что пудру следует расходовать предельно бережливо, особенно «Алого Льва», которого и так было немного.

Для себя же я решил твердо и свято — и объявил это ему пря-мо — никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ни гра-на драгоценной пудры ради земного обогащения, но направить все по-мыслы мои лишь на то, чтобы извлечь из книги святого Дунстана тай-ну приготовления философского камня; и единственно в том случае, если мне когда-либо суждено будет узнать, как осуществляется проек-ция алой тинктуры для трансмутации в нетленное, реально воскрес-шее тело, я употреблю ее на это святое действо. На что у Келли лишь презрительно дрогнули уголки рта...

А червь сомнения по-прежнему точил мою душу, отделаться от него я не мог, ведь в конце концов сокровища эти приобретены нечестным путем; кроме того, меня мучила мысль, что над реликвиями, похищен-ными из могилы адепта, наверняка тяготее тайное проклятье, к то-му же у меня самого рыльце в пушку, ведь это я являюсь хоть и не-вольной, а все же причиной тех давнишних бесчинств ревенхедов. Вот что подвигло меня принести по крайней мере обет — употребить по-павшие ко мне ценности лишь на цели высокие и благородные. Как только я проникну в тайну алхимического процесса, наши пути с Кел-ли разойдутся сами собой; пусть тогда он, сколько его душе угодно, припудривает «Алым Львом» неблагородные металлы и гребет золо-то лопатой, чтобы, став богатым, как царь Мидас, пропить его в трущобных борделях, с продажными девками: мне от этого не будет ни жарко, ни холодно, равно как и ему от того, что я в поисках фило-софского камня преследую совсем иные цели и лишь малую часть пуд-ры использую для дистилляции бессмертия, дабы дожить до «хими-ческой свадьбы» с моей королевой, когда Бафомет воплотится в меня и корона вечной жизни увенчает мое двойное чело. Этот «Лев» выве-дет меня на дорогу к моей высочайшей невесте!..

Интересно, с тех пор, как этот бродяга Келли вошел в мой дом и делит теперь со мной и дневную, и вечернюю трапезу — при этом он чавкает и рыгает, как свинья, — мне с каждым днем все больше и боль-ше не хватает верного лаборанта Гарднера, покинувшего меня. Много бы я дал, чтобы узнать его мнение об этом приживале, который так или

иначе, несмотря на явную абсурдность такого допущения, напоминает мне бессознательного медиума Бартлета Грина! Не потому ли, подобно сказочному неразменному пфеннигу, вернулся ко мне этот дар из оскверненной могилы святого? Не был ли его первым дарителем зловещий Маске, тайный союзник Бартлета Грина, неуловимый посланец судьбы?

Но постепенно эти опасения без следа уходили, как и дни, которые тянулись ленивой серой чередой. И вот все уже кажется мне вполне обыденным, и я с удивлением спрашиваю себя, что, собственно, меня так настораживало: ни Маске, ни Келли, конечно же, не являются агентами Бартлета, они просто слепые орудия всемилостивого провидения, которое ведет меня чрез все препоны и ловушки темных сил к моему грядущему спасению.

В противном случае разве оказались бы дары святого в руках отверженного! И неужели же священные реликвии могут принести в дом несчастье? И почему из потустороннего на меня должно обрушиться проклятье благочестивого епископа — на меня, смиренного и прилежного послушника божественного откровения? Нет, все прегрешения моей дерзкой юности искуплены, и все же мои безрассудные выходки я еще долго буду оплачивать собственной шкурой. Теперь я уже не тот недостойный восприемник даров потустороннего, который, получив от «магистра царя» высочайшую реликвию, позабавился шариками, пометил их и, как ребенок прискучившую игрушку, выбросил в окно, чтобы через тридцать лет признать в них сокровище и вновь стать его благоговейным на сей раз хранителем!

Верный Гарднер был, конечно, прав, когда предостерегал меня от соблазнов профанической алхимии, удел коей — превращение земных металлов. Она изначально связана с вмешательством невидимых темных сил — по его словам, с черной магией левой руки, — и я с ним совершенно согласен, но мне-то что! Сам я к этому отношения не имею и стремлюсь не к золоту, но к жизни вечной!

И все же не вижу смысла отрицать — без духов не обошлось; с первого же дня, как Келли поселился в моем доме, они дали знать о своем невидимом присутствии: многократные глухие стуки, как будто кто-то с размаху вонзал острую ножку циркуля в мягкое дерево, какие-то легкие трески и поскрипывания в стенах и мебели, шаги незримых посланцев, которые приближались и снова стихали вдаль, и вздохи, и поспешный шепот, мгновенно замолкающий при малейшей попытке прислушаться, — все это начиналось где-то во втором часу пополуночи и часто сопровождалось тягучими унылыми звуками, словно ветер гулял в туго натянутых струнах. Уже несколько раз, просыпаясь среди ночи, заклинал я призраки именем Бога и Святой Троицы ответствовать, что потревожило их могильный сон, или, быть может, они явились с какой-то миссией, — но ответа так до сих пор и не получил. Келли полагает, что это как-то связано с манускриптом и шарами святого Дунстана: духи стремятся сохранить хотя бы остатки приоткрытой тайны, которую уж он-то у них обязательно вырвет всю до конца. И признался, что эти звуки и голоса преследуют его с той самой ночи, как реликвии попали к нему.

И снова мне не дает покоя мысль, что старый сутенер, бывший тайный агент, у которого Келли «приобрел» реликвии, заплатился за них жизнью. А в памяти всплывают слова верного Гарднера о бесплодных и опасных усилиях получить камень бессмертия химически, не пройдя до конца весь таинственный путь духовного воскресения, тот самый, на который намекает Библия. Прежде мне надо постигнуть сей путь, дабы, преобразенный, не скитался я до скончания дней в заколдованном круге иллюзий и не попадал из одной ловушки в дру-

гую, как если бы моими провожатыми были неверные блуждающие огни.

Терзаемый тревогой и неопределенностью, велел я позвать Келли и спросил его, правда ли то, что он мне недавно рассказывал: будто бы явился ему Зеленый Ангел — уж не дьявол ли то был? — обещающий открыть нам тайну герметического магистерия. И Келли поклялся спасением своей души, что все это святая правда. Ангел извещал его, что пришло время, когда я должен быть посвящен в тайну тайн.

Далее мой корноухий фамулус поведал мне, как следует подготовиться, дабы Зеленый Ангел стал доступен нашим органам чувств. В определенный час ночи, когда луна пойдет на ущерб, в комнате с окном, выходящим на запад, должно присутствовать пять человек: нас двое, моя жена Яна — она, как велел Ангел, будет сидеть рядом с Келли, — еще двоих нужно найти, может быть, вызвать кого-нибудь из приятелей.

Я тотчас послал гонца за моими старыми испытанными друзьями Талботом и Прайсом с просьбой незамедлительно пожаловать ко мне: заклинание Ангела могло состояться только в назначенный Келли срок, а именно: в праздник введения во храм Пресвятой Девы Марии, 2 ноября, в два часа пополудни.

### Заклинание Ангела Западного окна

О ночь введения во храм Пресвятой Девы, как глубоко запечатлелась ты в душе моей! Сейчас они уже позади — лежат, затонувшие, на дне забвения, как будто никогда их и не было — этих долгих, бесконечных часов ожидания и лихорадочной надежды. Чудо, неописуемое чудо выпало на мою долю! Всомогущество трижды благословенного Ангела повергло меня в такой восторг и изумление, что я был просто не в силах совладать с моими чувствами. В глубине души я молил Келли о прощении за то, что так плохо думал о нем, поистине: «Смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь»\*. Теперь я знаю: он — орудие провидения, и благоговеющий озноб пробегает по моему телу.

Предшествовавшие этой ночи дни тянулись мучительно медленно. Вновь и вновь гонял я слуг в Лондон к ремесленникам, делавшим стол по чертежам Келли. Стол следовало изготовить из ценных пород сандалового и лаврового дерева в форме пентаграммы, на лучах которой мы пятеро: Яна, Талбот, Прайс, он сам и я — должны были сидеть при заклинании Ангела. В середине — большое пятиугольное отверстие. А по краям — каббалистические знаки, сигиллы и имена, инкрустированные шлифованным малахитом и бурым дымчатым топазом. Невыносимый стыд охватывает меня, когда вспоминаю, как я, жалкий маловвер, ужасался при мысли, в какую сумму обойдется сооружение этого стола! Сейчас, если бы понадобилось, я бы не задумываясь вырвал мои глаза и как драгоценными камнями украсил ими стол!

А слуги возвращались из Лондона с одним и тем же: завтра, послезавтра!.. Стол все еще не готов, чуть не ежедневно работа, словно заколдованная, стопорилась: то одного из подмастерьев без всякой видимой причины подкашивал приступ тяжелой болезни, то другого — в общей сложности трое, как от чумы, скоростипжно скончались от неизвестной хвори.

Нетерпеливо мерил я шагами покой замка, считая минуты, оставшиеся до смутного ноябрьского утра введения во храм Пресвятой Девы.

\* Матф., 7, 3; Лук., 6, 41.



Прайс и Талбот спали, как сурки; потом они рассказали, что сновидений не было, лишь ощущение свинцовой невыносимой тяжести. Яну тоже удалось разбудить лишь с трудом — она вся тряслась в ознобе, словно во сне ее одолела лихорадка. Один только я не нахолил покоя — огонь, пылающая лава пульсировала в моих жилах.

А Келли еще задолго впал в какую-то сумеречную прострацию, как раненый зверь, избегал он людей; на закате я видел его в парке, он блуждал, не разбирая дороги, и, заслышав приближающиеся шаги, тревожно вздрагивал, словно застигнутый врасплох преступник. Дни напролет просиживал он в глубокой задумчивости на каменных скамьях и с отсутствующим видом бормотал себе под нос или, глядя в пустоту, что-то громко кричал на незнакомом языке, словно там кто-то стоял. Иногда приходя в себя — продолжалось это считанные минуты, — он поспешно спрашивал, готов ли стол, и, когда я в отчаянье отвечал, что нет, обрушивал на меня поток бранных слов, который внезапно прерывался, вновь сменяясь разговором с самим собой...

Наконец, сразу после полуденной трапезы — обессиленный долгим мучительным ожиданием я не смог проглотить ни куска, — из-за дальних холмов появились повозки лондонских ремесленников. Через несколько часов собранный стол — целиком он бы в двери не вошел — стоял в специально отведенном круглом помещении наверху в замковой башне. По приказу Келли три окна, выходящие на север, восток и юг, были замурованы, и лишь стрельчатое западное окно, на высоте шестидесяти футов от земли, осталось открытым. По стенам я велел развесить потемневшие от времени портреты моих предков, к ним должен был прибавиться портрет легендарного Хозла Дата — воображаемое подобие, рожденное фантазией какого-то великого неизвестного мастера. Однако он был тут же унесен, так как Келли при виде его впал в бешенство.

В стенных нишах стояли высокие серебряные канделябры, в которых, в ожидании торжественной церемонии, высились толстые восковые свечи. Слово актер, повторяющий роль, я часто выходил в парк и подолгу бродил там, заучивая наизусть загадочные и непонятные магические формулы. Пергамент с ними Келли вручил мне утром и сказал, что их начертала возникшая из воздуха рука, на которой не хватало большого пальца. «Опять Бартлет», — мелькнула у меня в сознании, и передо мной встала та страшная сцена в Тауэре, когда он откусил большой палец правой руки и выплюнул его в лицо епископу Боннеру. И, как тогда, ужас уже готов был вонзить в меня свои ледяные когти, но я ему не поддался: разве не сжег я угольный кристалл, прервав тем самым всякую связь с Бартлетом...

Наконец, после долгих усилий, слова заклинаний стали едва ли не плотью и кровью моею и теперь сами собой сходили с губ, стоило мне только подумать об этом...

Молча сидим мы впятером, в большой зале, но вот мой болезненно обострившийся слух ловит перезвон с колокольни — три четверти второго... Мы встаем и карабкаемся по крутой лестнице на самый верх башни. Пятиконечный стол, идеально гладкая поверхность которого занимает почти все помещение, — пентаграмма, вписанная в магический круг, — вспыхивает, как зеркало, когда Келли, покачиваясь, словно пьяный, переходит от свечи к свече и зажигает их от горящей лучины. Мы рассаживаемся по порядку в кресла с высокими спинками. Два нижних луча стола-пентаграммы, направленные на запад, на открытое окно, сквозь которое ледяной струей льется чистый, пропитанный лунным мерцающим, ночной воздух, занимают Яна и Келли. Сам я восседал напротив, на восточной вершине звезды, и взор мой, обращенный к окну, утопал в далях лесистых, исчерканных резкими тенями холмов, у подножья которых, подобно струйкам пролитого молока, растекались

белые заиндевелые дороги. Справа и слева от меня цепенели в напряженном молчании Прайс и Талбот. Даже свечи были охвачены тревогой: язычки пламени беспокойно метались, настигнутые сквозняком. Луна находилась вне поля моего зрения, но по тому, как щедро были забрызганы серебристым мерцанием белые камни оконной амбразуры, я мог судить о том царственном сиянии, которое низвергалось с небес. Непроницаемо черным колодцем зияло в середине стола правильное пятиугольное отверстие...

Как окоченевшие трупы сидели мы, хотя сердце у каждого билось, словно птица в клетке.

Келли внезапно впал в глубокий, похожий на обморок, сон. Сначала он тяжело и хрипло дышал, потом его лицо стало подергиваться в каком-то странном зловещем тике, хотя, возможно, это мне только казалось в трепещущем пламени восковых свечей. Не зная, когда начинать ритуал, а ждать знака от Келли уж явно смысла не имело, я сделал несколько попыток произнести формулы, но всякий раз, едва открывал рот, невидимые пальцы ложились на мои губы... Неужели Ангел — это лишь воображение Келли, спрашивал я себя, и сомнение уже коснулось меня, как вдруг губы мои сами по себе заговорили; грозный и глубокий голос был мне совершенно незнаком, точно кто-то другой, неизвестный, читал запечатленные в моей душе ритуальные формулы...

Все оцепенело, скованное потусторонней стужей, даже пламя свечей замерло, замороженное дыханием смерти, света оно уже не распространяло... «Стоит легонько задеть канделябры, и ледяные огоньки, как иссохшие почки, градом посыплутся с фитилей», — промелькнуло у меня в голове. Изображения предков на стенах превратились в черные зияющие дыры — словно проходы сквозь толстую кладку в какие-то сумрачные опасные галереи, и я почувствовал себя сразу покинутым и беззащитным, как будто эти исчезнувшие портреты меня раньше хранили и защищали...

В мертвой тишине грустным колокольчиком прозвенел детский голосок:

— Меня зовут Мадина. Я бедная маленькая девочка. У моей мамы я предпоследняя, и дома меня ждет грудной братец.

Снаружи, вплотную к окну, парила в воздухе — на высоте шестидесяти футов! — фигурка хорошенькой девочки семи-девяти лет; ее шелковое платье со шлейфом отсвечивало то красным, то зеленым, как будто было сшито из тончайшего шлифованного александрита, который днем кажется зеленым, а ночью — темно-красным, цвета венозной крови. Но чем дольше я смотрел на эту миловидную куколку, тем больший кошмар меня охватывал: подобно гладкому накрахмаленному лоскутку шелка, она трепетала, повиснув пред окном, это был только плоский контур, лишенный пространственной перспективы, черты лица намалеваны наспех — сойдет, мол, и так, — фантом, существующий лишь в двух измерениях. И эта жалкая фальшивка — обещанное явление Ангела? Не могу передать всей глубины и горечи моего разочарования... Тут Талбот перегнулся ко мне и глухо прошептал:

— Это мой ребенок, мне кажется, я его узнал. Вскоре после рождения он умер. А что, младенцы продолжают расти после смерти?

Голос Талбота звучал безучастно и отрешенно, но, еще даже не успев удивиться необычному хладнокровию моего приятеля, я понял: под наркозом ужаса он просто не чувствует боли. «Разве не этот образ таился где-то в заветных тайниках его души и сейчас, извлеченный наружу и спроецированный в пространство, явился нам зримым отражением?» — такая мысль пронзила меня, но только я собрался ее развить дальше, как из темного колодца в столе внезапно брызнуло блед-

но-зеленое сияние и в мгновение ока затмило фантом; подобно гейзеру, бьющему из почвы, этот мерцающий фонтан взмыл под потолок и окаменел в форме человека, в котором, впрочем, ничего человеческого не было. Эта прозрачная, как берилл, изумрудная масса кристаллизовалась в монолит такой ужасающей твердости, с которой, очевидно, не мог соперничать ни один из земных элементов. Тело, голова, шея — сплошная скала!.. И руки!.. Руки?.. Было в них что-то, вот только я никак не мог определить, что именно. Долго, как завороженный, не сводил я с них глаз, пока, наконец, не понял: большой палец правой руки, как-то нелепо вывернутый наружу, был явно с левой. Не могу сказать, что деталь сия ужаснула меня — с чего, собственно? Но в этой мелочи, кажущейся на первый взгляд такой незначительной, было нечто настолько далеко выходящее за пределы, положенные свыше нам, смертным, настолько чуждое природе человека, что даже само гигантское существо, вознесшееся надо мной, его необъяснимое, граничащее с чудом явление бледнели перед нею...

Невозможно описать неподвижную окаменелость этого лика с широко поставленными, лишенными ресниц глазами. От его взгляда исходило нечто до того жуткое, парализующее, мертвящее и при всем при том приводящее в такое несказанное восхищение, что космический холод неземного восторга и ужаса пробирал меня до мозга костей. Яну я видеть не мог, ее заслоняла фигура Ангела, но Талбот и Прайс, казалось, обратились в трупы — настолько безжизненно бледны были их лица.

В слегка приподнятых углах его алых, как рубин, уст таилась усмешка, исполненная поистине безграничным презрением ко всему земному... Но если фантом ребенка рождал чувство ужаса своей эфемерной бесплотной двухмерностью, то здесь все было как раз наоборот: кошмар заключался в подчеркнутой материальности, в какой-то сверхплотной телесности циклопической фигуры... И при этом ни единой тени, которая бы давала ощущение объема и перспективы! Несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому, все виденное мною ранее на земле казалось рядом с пришельцем из высшего мира плоским и бестелесным.

Не знаю, я ли спросил «Кто ты?», или то был Прайс?

Не разжимая губ, Ангел холодно отрезал, и голос его почему-то подобно эху донесся из глубин моей собственной груди:

— Я — Иль, посланец Западных врат.

Талбот хотел что-то спросить, но лишь бессвязный лепет срывался с его губ. Попробовал было Прайс — результат тот же! Собрав воедино всю свою волю, я попытался поднять глаза и посмотреть Ангелу в лицо, но вынужден был покорно потупить мой взор, ибо мгновенно понял: буду упорствовать — погибну на месте. Поникнув головой, спросил я, запинаясь:

— Иль, Всемогущий, тебе ведомо, к чему стремится душа моя! Открой мне тайну Камня! И чего бы мне это ни стоило: сердца, крови ли моей — все отдаю за превращение тварной человеческой природы в бессмертную королевскую субстанцию, ибо жажду воскресения по сю и по ту сторону... Помоги мне постичь книгу святого Дунстана и ее сокровенную суть! Сделай меня тем, кем мне... должно быть!

Казалось, прошла вечность. Тяжелая дремота навалилась на меня, но я сопротивлялся всем пылом страсти моей. И тогда прогремели слова, коим вторили стены:

— Твое счастье, что ищешь ты на Западе, в Зеленой земле. Чем и заслужил благоволение мое. А потому намерен я вручить тебе Камень!

— Когда? — вскричал я, охваченный дикой, безудержной радостью.

— Послезавтра! — дробя слоги, послышалось в ответ.

«Послезавтра! — ликовала моя душа. — Послезавтра!»

— Но ведомо ли тебе, кто ты есть? — спросил Ангел.

— Я? Я... Джон Ди!

— Вот как? Ты... Джон Ди?! — повторил Ангел. Голос его словно резал по металлу. Что-то дрогнуло во мне... Не осмеливаюсь думать, но словно... нет, не хочу, чтобы губы мои произнесли это, пока еще они в моей власти, и чтобы записывало перо, пока оно подчиняется мне.

— Ты — сэр Джон Ди, обладатель копыя Хоэла Дата, тебя я знаю хорошо! — насмешливо взвизнул пронзительный злобный голосок со стороны окна; я понял: это отозвалось снаружи призрачное дитя.

— У кого копые, тот и победитель! — гремело из уст Зеленого Ангела. — Тот, у кого копые, зван и призван. Ему подвластны стражи всех четырех врат. Итак, вот тебе мой наказ, Джон Ди: следуй во всем брату своему, Келли; он — орудие мое здесь, на земле. Проводником приставлен он к тебе, дабы провел тебя чрез бездны гордыни. Его должен ты слушаться, что бы он тебе ни сказал и чего бы от тебя ни потребовал. Все, что самый малый из пришедших к тебе от имени моего ни потребует, дай ему! Я — это он, и давая ему, ты даешь мне! И тогда пребуду я с тобой, в тебе и рядом с тобой до скончания века.

— Клянусь тебе в этом, благословенный Ангел! — воскликнул я, потрясенный до глубины души, дрожа всеми членами. — Клянусь, и провалиться мне сквозь землю, если нарушу я клятву сию!

— Провалиться... сквозь... землю! — откликнулись стены.

Мертвая тишина повисла в помещении. Мне казалось, что клятва моя многократным эхом отозвалась в глубинах космоса. Пламя свечей на миг ожило, полыхнуло и снова умерло, застыв горизонтально, словно согбенное порывом ветра.

От потусторонней стужи у меня свело пальцы. Окоченелыми губами я спросил:

— Иль, Благословенный, когда я увижу тебя вновь? О, если бы я мог лицезреть тебя чаще! Но ты так далек!

— Увидеть меня ты можешь в своем угле. Но вот поговорить нам через него не удастся!

— Я... я сжег уголь, — пролепетал я и вспомнил, полный раскаянья, как на глазах Гарднера, проклятого лаборанта, предал огню зеркальный кристалл в позорном страхе перед Бартлетом Грином.

— Хочешь ли ты получить его обратно, Джон Ди... наследник... Хоэла... Дата?

— Верни его мне, могущественный Иль!.. — взмолился я.

— Тогда сомкни молитвенно руки! Молиться — это значит просить, если... умеешь просить!

«Я умею, умею», — возликовало во мне. Я сложил пальцы... Меж моих ладоней стал расти какой-то предмет, медленно разжимая их... Опустив глаза, я увидел в сложенных корабликом руках... угольный кристалл!..

— Прежнюю его жизнь ты сжег! Отныне в нем живет твоя жизнь, Джон Ди... Он... родился заново, воскрес из мертвых! Вечное не горит!..

В крайнем изумлении я не сводил с кристалла глаз. Поистине чудесны пути невидимого мира. Итак, всепожирающее пламя не властно распоряжаться жизнью и смертью даже неодушевленных предметов!..

«Благодарю тебя... Иль... благодарю!» — хотел воскликнуть я, но от волнения не смог произнести ни слова. Рыдания перехватили мне горло. Потом из меня хлынуло:

— А Камень? Ты мне его тоже...

— После... завтра... — прошелестело вдали. Вместо Ангела в помещении висела лишь легкая дымка. Дитя перед окном стало прозрачным, как мутная, грязная стекляшка. Безжизненно вялым шелковым лоскутком полоскалось оно в воздухе. Потом зеленоватым мер-

цающим туманом опустилось на землю и превратилось в заиндевелый лужок. . .

Это была моя первая встреча с Ангелом Западного окна.

Теперь-то судьба повернется ко мне лицом, не будет же она меня по-прежнему пытаться и преследовать неудачами?! Меня, причастного такой благодати! Трижды благословенна будь ночь введения во храм Пресвятой Девы!

Долго еще сидели мы вместе и, потрясенные, обменивались впечатлениями. Как величайшее сокровище сжимал я в руке угольный кристалл Бартлета. . . нет, нет, угольный кристалл Ангела, напоминая себе, что сподобился лицезреть чудо. Сердце мое разрывалось от счастья, когда я повторял про себя обещание Ангела: послезавтра, послезавтра! . .

*Перевод с немецкого В. Крюкова*



# Георгий Иванов

## РАССКАЗЫ

*Продолжаем публикацию произведений Георгия Иванова (1894—1958) к 100-летию со дня его рождения (см. «Согласие», 1993, № 6; 1994, № 2). Для коллекции «Гримуар» мы выбрали три рассказа — все они вошли во второй том Собрания сочинений Георгия Иванова в трех томах, подготовленного к изданию Акционерным обществом «Согласие».*

*Ранний рассказ Г. Иванова «Трость Бирона» впервые был опубликован в петербургском журнале «Огонек» в 1916 году (№ 34) и с тех пор больше нигде и никогда не переиздавался. Огоньковская публикация крайне небрежна, изобилует опечатками и несогласованностями; к примеру, датой находки трости названа ночь с 27 на 28 сентября, а датой смерти Брайтса — когда он гибнет «по уговору» — 27 октября. Предпоследняя фраза рассказа восстановлена по догадке, так как в публикации, очевидно в связи с пропуском строки, была лишена смысла.*

*Рассказ «Четвертое измерение» впервые был опубликован в парижском журнале «Иллюстрированная Россия» (1929, № 214); позже, в 1934 году, Г. Иванов опубликовал его — уже как очерк — под названием «Необъяснимое» и с подзаголовком «Пережитые таинственные случаи» в рижской газете «Сегодня». Там же впервые опубликован и рассказ «Невеста из тумана» (1933, № 229 и 231).*

### ТРОСТЬ БИРОНА

Может быть, я и раньше встречал его на улицах Петрограда, но его старомодный облик впервые бросился мне в глаза на набережной около Зимнего дворца туманным и серым весенним вечером.

Гуляющих было мало. Солнце, заходя, еще тускло румянило волны, бледно озаряло Петропавловский шпиль и лица редких прохожих, шедших мне навстречу. Он сидел на гранитной скамье, глядя на воду, задумчиво чертя по граниту своей тяжелой тростью.

Он был одет в светло-шоколадное пальто клошем, какие носили лет десять назад, и выгоревшую мягкую шляпу такого же цвета, надвинутую на лоб. Лицо его было бы очень обыкновенным для петербуржца, бледное с мелкими чертами, если бы не странная складка у концов рта, дававшая ему неопределенное, но странное выражение. Большие светло-голубые глаза равнодушно глядели на воду прямо перед собой.

«Должно быть, какой-нибудь чудака», — подумал я, проходя мимо. Когда я возвращался назад минут через десять, гранитная скамейка была пуста.

Я люблю старину! Хотя мои средства очень ограничены, я ухитряюсь все-таки собирать старинные вещи. Конечно, редкости, которые я покупаю на аукционах или у невежественных уличных торговцев, заставили бы заправского коллекционера презрительно улыбнуться, но мне они доставляют большое счастье.

Что с того, если чайник с поломанной ручкой, который я целую неделю высматривал, бродя по шумной галерее Александровского рынка, и, наконец, купил, — заурядная вещь. Но десять рублей, заплаченные за него, занимают место в моем скромном бюджете. Из-за этого осколка милой старины мне придется испытать в чем-нибудь другом малень-

кое лишение, и, неся домой какую-нибудь безделицу, гравюру или акварель, наконец купленную мною, мне кажется — я бываю счастливее многих богачей, лениво осматривающих сокровища дорогого антиквара, с сознанием, что все — к их услугам.

И вот однажды я рылся в папке с эстампами в пыльной полутемной лавчонке. Вдруг кто-то вошел в лавку и заговорил с хозяйкой. Она протянула ему руку, и в то же мгновение трость коричнево-золотистого дерева с резной кожаной ручкой упала на мой эстамп. Я поднял ее и, обернувшись, протянул говорившему. Передо мной стоял господин в шоколадном пальто, встреченный на набережной недели две тому назад. Он извинился очень вежливо и поблагодарил меня. Из лавки мы вышли вместе и между нами завязался разговор — о старине, о торговцах, о ценах. Так началось мое знакомство с этим странным человеком.

Прощаясь, мы обменялись адресами и телефонами; дня через три он позвонил ко мне и спросил разрешения прийти. Мы провели очень интересный вечер; мой новый знакомый оказался удивительным собеседником; познания его в разных отраслях искусства были неистощимы.

Он отлично говорил по-русски, хотя и носил английское имя — Симон Брайтс. О себе, о своем прошлом он ничего не рассказывал. Я понял только, что он нигде не служит, по-видимому, богат и занимается исключительно коллекционированием изысканных редких вещей. Мое мнение подтвердилось, когда я посетил его жилище.

Симон Брайтс жил на углу Тучковой набережной и одного из многочисленных узких переулков, где, по словам поэта, «окна сторожит глухая старина» (он занимал странное помещение в подвальном этаже из двух больших сводчатых комнат, с окнами на Неву) — дворец Бирона и снасти парусных барок. Прислуги у него не было, все нужное делала жена швейцара с парадной лестницы (у Симона Брайтса был отдельный вход). Обе комнаты подвала были обставлены с изумительной роскошью.

Ковры, шелка, венецианские драгоценные вышивки, гобелены, редчайший фарфор всего мира, дивные картины, чудесные гравюры — все это переполняло сводчатые комнаты очень просторного, по-видимому, подвала. Полки были завалены книгами на всех языках. Итальянские, арабские, древнегреческие, персидские манускрипты возбудили мое удивление. «Разве вы знаете все эти языки?» — спросил я. «О нет, очень немногие из них, — отвечал он, улыбаясь, — но мне нравится, что все эти книги принадлежат мне».

Мы стали видеться — не слишком часто, но каждое свидание укрепляло наше знакомство, незаметно переходившее в дружбу. Мне нравились тихие разговоры с этим чудаком-эстетом в тишине его фантастического жилища, по вечерам, когда дымно-красное солнце тускнело в окне за лесом мачт и косой его луч скользил по пестрым коврам, китайским вазам, хрусталу и, бледнея, гаснул в углу на вышитой подушке пышного кресла. И я часто досадовал, когда стрелка приближалась к полуночи и надо было уходить, так как Симон предупредил меня при первом же приглашении, что его привычка — в полночь уже лежать в постели, и, если я забывал о ней, он неизменно очень вежливо и тонко намекал мне об этом.

Так прошло около года.

Однажды Симон пришел ко мне в необычное время, днем, не предупредив меня по телефону. Он оказался сильно расстроенным, руки дрожали. Он попросил дать ему вина. Когда я исполнил это и спросил, что с ним, мой друг печально улыбнулся.

— Уверяю вас, ничего. Нет, нет, не думайте, что я боюсь, мне попросту хотелось видеть вас, и я пришел сюда. . .

Я не расспрашивал больше, хотя любопытство мое было сильно возбуждено. Я никогда не видал его таким взволнованным. Он стал что-то говорить об офортах Домье, которые он надеялся приобрести, но вдруг прервал сам себя.

— Друг мой,— сказал он торжественно и нежно,— друг мой, ведь я могу назвать вас так?

— Дорогой Симон, зачем вы спрашиваете? Я всегда готов доказать это.

Но он, казалось, не слушал меня.

— Друг мой,— продолжал он,— сегодня 27 сентября. Для вас это обыкновенный осенний день и ночь на 28-е тоже простая ночь. Ну, вот я просил вас не приезжать ко мне эти две недели — до завтрашнего числа, пока у меня ремонт. Теперь он кончен, или, верней, его никогда не было. Вы честный, простой человек, кажется, хорошо ко мне относитесь, вы верите в Бога. Скажите, ведь вы носите на себе крест?

Я удивился этому неожиданному вопросу и отвечал, что, разумеется, ношу.

— Крестильный? Ну вот, видите, как хорошо. Так вот что, вы можете мне помочь, очень помочь, дорогой друг, если согласитесь провести сегодняшней вечер дома и, когда я позвоню вам по телефону, сейчас же приехать ко мне. Хорошо?

— Хорошо, Симон. Я буду сидеть дома и приеду к вам, но, может быть, вы объясните мне, к чему это и что значит?

Он схватил мои руки и крепко сжал.

— Вы все узнаете, дорогой друг, все, все — я позабочусь об этом. Но не сегодня, не теперь. . . — Он встал, залпом выпил стакан вина и пошел в переднюю. На пороге он вдруг обнял меня и поцеловал. Потом быстро выбежал, хлопнув дверью.

Я был изумлен и встревожен этим посещением. До вечера было много времени, но я как-то не мог ничем заняться. Брал книгу и бросал, садился работать — не клеилось. Пообедав без аппетита, я стал ждать. Пробыло десять, одиннадцать, половина двенадцатого, — я решил, что Симон не позвонит, и стал подумывать о сне. Пробыло полночь, и вдруг резко в этот неурочный час задребезжал телефон.

— Алло, это вы? — говорил Брайтс.— Я боялся, что вы уже заснули. Право, мне совестно, что я так вас беспокою. Значит, вы будете у меня минут через пятнадцать?

Вдруг голос моего друга странно изменился. Он стал хриплым и очень тихим.

— Крест, не забудьте крест! . . — И тотчас раздался металлический легкий звон, словно лопнула пружина. Я отчаянно забарабанил по кнопкам. Сонная барышня ответила мне, что у Симона Брайтса снята трубка.

Встревоженный и недоумевающий, я выбежал из дому. С пятой линии, где я живу, до Брайтса было езды не больше 10 минут. Но, как на зло, не было ни одного извозчика. Шел мелкий холодный дождь. Осенний ветер дул прямо в лицо, сырой и пронзительный. Шлепая по грязи, я добрался, наконец, до набережной, тускло освещенной мигающим газом. Вот и переулок. Сонный дворник открыл мне ворота. Обитая клеенкой дверь подвала была открыта настежь. Удивленный, я вошел в квартиру Симона. Большая комната была озарена только зыбким светом уличного фонаря — я с изумлением увидел, что от роскошной обстановки не было и следа. Голые стены веяли сыростью и запустением. Не понимая, что это значит, я подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, спальню Брайтса, и, заглянув в нее, едва не вскрикнул.



Посредине комнаты стоял стол, за которым сидели двое мужчин в странном платье екатерининских или елизаветинских времен. Один из них перелистывал большую тяжелую книгу. Три свечи едва мерцали синевато-зеленым блеском. Огромный камин в углу слегка дымился тоже зеленым, каким-то болотным огнем, озаряя неверно и мутно своды. В углу копошился кто-то третий — я не мог его разглядеть. Порою слышался лязг железа и какое-то шипенье.

Я стоял оцепенелый, хотел двинуться и не мог, крикнуть — язык мне не повиновался. «Где же Симон?» — подумал я. Подумал и тотчас же заметил еще одного, стоявшего у окна. Это был Брайтс.

Он был одет в свое обычное платье, приложив руку ко лбу, он пристально глядел в окно; зыбкий луч уличного фонаря играл на его бледном лице.

Я не знаю, сколько длилось это молчание, прерываемое лишь тихим лязгом из угла да зловещим шелестом книги. Вдруг в воздухе задрожал нежный и чистый слабый звук, словно одной натянутой до крайности струны.

Симон, я видел, вздрогнул, как-то затрепетал, глаза его шире раскрылись, вспыхнули и погасли. Он отвернулся от окна и громко произнес:

— Близок великий герцог...

И мне почудилось, что в окне набережная и дворец Бирона на секунду вспыхнули тем же болотным отблеском, что камин и свечи, тотчас все в комнате зашумело, точно ветер взметнул и закружил желтые листья. Зеленое пламя в камине заколыхалось сильнее. Из дальнего угла вышел человек со зверским лицом, схватил Симона и поволок в угол. Сидевшие за столом встали, протягивая руки, что-то говоря, но голоса их были невнятные и слабы, я не мог разобрать их слов. Голова моя закружилась, и я едва не упал. Когда эта минутная слабость прошла, я увидел, что посредине комнаты, странно подвязанный за руки и за ноги, полуобнаженный, висит Симон. Человек со зверским и грубым лицом, в переднике, повернул какое-то колесо, и все члены моего друга неестественно вытянулись, я услышал, как хрустнули суставы. Его глаза встретились с моими, губы его слабо дрогнули.

— Крест! Крест!.. — скорее догадался, чем услышал, я. Дрожащей рукой я достал крестильный крестик, и тотчас же палач снова повернул страшное колесо.

— Поздно, поздно!.. — крикнул уже громко, со страшной силой Симон. — Прощай, прощай. — Кровь брызнула из его тела, словно из тысячи ран, все в комнате зашумело, зашелестело, закружилось.

Сырой холод дохнул мне в лицо.

Я очнулся у себя дома. Электричество горело. Я сидел в кресле около телефона. Значит, я спал? Но мое пальто, брошенное тут же, было все обрызгано липкой, еще не засохшей грязью. В правой руке я держал крестильный крестик. Потом в моей памяти все путается. Утром прислуга нашла меня в сильном жару, бредящим, сидя в кресле. Три недели я лежал в сильной горячке.

Доктор, меня лечивший, сказал, что, должно быть, я вышел уже больной. Мой швейцар подтвердил, что я вернулся со своей прогулки в ночь на 28-е в очень растерзанном виде. Он думал, что барин пьян.

Я позвонил Симону Брайтсу. Трубка была снята. Я послал горничную с письмом к нему на квартиру. Она вернулась обратно с ним. «Этот господин уехал уже больше месяца назад», — сказала она. Я ничего не понимал. Наконец я выздоровел и мог выйти. Разумеется, первая моя прогулка была на Тучкову набережную. На стене дома висело

объявление о сдаче подвала, того самого, что занимал Брайтс. Я вызвал швейцариху. Она меня узнала и, спросив меня, не господин ли я — она назвала мою фамилию, — подала письмо, мне адресованное. Адрес был написан рукой Симона.

— Это, — пояснила она, — господин Брайтс, уезжая, оставили — наказывали непременно вам передать.

Вот что было написано на большом листе тонкой английской бумаги рукою Брайтса:

«Была темная и глухая ночь, когда бездомный юноша, называвшийся Симоном Брайтсом, приехал в Россию искать счастья и, в поисках его потративший последнюю копейку, шел по Дворцовой набережной. Ему не хотелось возвращаться в свою гостиницу, где его ждала холодная постель и неоплаченный счет хозяина. Он устал и сел отдохнуть на гранитную скамейку. Вдруг его рука почувствовала что-то твердое. Это была трость, тяжелая, с резным набалдашником.

Он с любопытством разглядывал свою находку, когда чья-то рука опустилась ему на плечо.

— Вы, должно быть, владелец этой вещи? — спросил юноша у пожилого господина, стоявшего перед ним. Но тот отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он странно и глухо. — Но я хотел бы поговорить с вами, Веселый Симон.

Юноша очень удивился — незнакомец назвал его так, как звали его на родине родные и друзья.

— Откуда вы меня знаете? — спросил он.

— Я все знаю, — грустно сказал незнакомец, — знаю вашу жизнь и ваше имя, хотя вижу вас в первый раз. Но время идет, надо спешить. Вы бедны, вам нечего есть, ваши надежды найти в России хорошее место не оправдались. А вы хотели бы жить совсем по-иному — вы любите искусство, редкости, драгоценные камни. Судьба привела вас сюда, судьба дала вам в руки эту трость. Решайте, согласны ли вы?

И вот что потом было.

Юноша стал жить странной жизнью. Все желания его исполнялись, стоило только пожелать. Повинуясь какому-то смутному влечению, он нанял себе вместо квартиры подвал в старинном доме на Тучковой набережной. Скоро этот подвал стал сокровищницей искусства, Симон Брайтс — обладателем удивительных редкостей, о каких только когда-нибудь он мечтал. Он захотел читать в подлиннике поэтов, до тех пор известных ему только по именам, и тотчас все наречия древности и наших дней стали ему знакомы в совершенстве. Если бы он пожелал, то, разумеется, мог бы жить в роскошных дворцах, путешествовать, прославиться. Но смутное и неодолимое чувство мешало ему покинуть этот город, эту старую, безлюдную набережную, свой подвал.

Днем он был обыкновенным человеком, тем же Симоном Брайтсом, что и до находки трости. Он забывал все, что происходило ночью. Но когда стрелка приближалась к полуночи, он чувствовал тревожное желание остаться одному в своем подвале. С первым ударом двенадцати странное волнение им овладевало. Он начинал ходить быстрыми шагами по комнате, потом бросался в кресло. Вдруг стекла с треском лопались, холодный ветер сдувал и уносил шелка и ковры, разбивал вазы и люстры. Электричество гасло. Симон Брайтс переставал быть самим собой. Черная и грешная душа овладевала его телом.

На покрытом зеленым сукном столе вспыхивали три восковые свечи... и палач терзал жертву, скрипела дыба, лилась кровь, и Бирон, кровожадный курляндский герцог, снова дышал и жил, чтобы терзать и мучить.

Вот какой ценой купил Симон Брайтс спокойную и роскошную жизнь. Своими руками он проливал невинную кровь, своими губами

произносил страшные приговоры несчастным. Каждую ночь дух грешного герцога вселялся в его тело. Но с первым проблеском утра все пропадало, комната принимала свой прежний вид. Симон Брайтс, как сомнамбула, медленно раздевался, ложился в постель и забывал все.

Таинственный незнакомец, говоривший с ним в тот памятный день на берегу Невы, предупредил Симона, что он умрет в первую же годовщину находки трости, если потеряет ее. И после десяти лет своей двойной жизни Симон потерял трость великого герцога.

Он пожалел о ней, как жалеют хорошую и любимую вещь — не больше. Но чем ближе становился роковой день, тем сильнее овладевало Симоном беспокойство. Ему стал ненавистен этот подвал, эти стены, набережная, проклятый желтый дворец там, на острове. Но он еще не знал страшной истины. Он только предчувствовал ее.

В ночь на 27-е к нему вернулась память. Он вспомнил все слова незнакомца, все пытки, кровь, ужас и грех своей жизни. Он понял, что этой ночью ему суждено умереть. Горе, горе...»

Внизу было приписано помельче, но той же рукой: «На Смоленском кладбище, друг мой, помолитесь над могилой Симона Брайтса».

Я не знал, что подумать, перечитывая это письмо. Порой казалось, что горячка ко мне возвращается. В тот же день я поехал на Смоленское англиканское кладбище. Как-то инстинктивно, никого не спрашивая, я пошел среди памятников прямо, потом налево и остановился перед небольшим холмиком. Простой чугунный крест возвышался над ним. На темной гранитной плите было высечено по-английски: «Симон Брайтс 27-го октября 1906 г.» С невыразимым волнением глядел я на эту успевшую уже зарасти мохом могилу человека, еще месяц назад бывшего моим другом. Но почти тотчас я почувствовал странное успокоение. Казалось, вид этой скромной плиты был разрешением всех странных и таинственных загадок, неожиданно смутивших мою тихую жизнь. Я нашел пастора и попросил отслужить мессу. Что там было, под этой замшевой плитой? Кто был Симон Брайтс, живой человек или только призрак того, кто похоронен здесь?.. Но слова молитвы звучали так успокоительно, и я чувствовал, что <...> сердце бьется ровно, черное облако тревоги отходит все дальше.

Не то же ли чувствовал бедный Симон Брайтс, забываясь на рассвете после ночи, проведенной среди крови и пыток Биронова застенка?..

## ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Над спиритами смеются — и действительно, спириты всегда смешноваты. Таинственное у них тесно перепутано с комическим. Чего стоит хотя бы король бульварных романистов, автор «бессмертного» Шерлока Холмса в роли их великого мастера, объявивший, кстати, недавно спиритизм на каком-то конгрессе — *excusez du peu* \* — религией.

Да, спириты смешноваты. Конан Дойль, торжественно приподнимающий завесу иного мира, доверяя не внушает, знаменитейших медиумов то и дело ловят с поличным на самом неприкрашенном жульничестве... и все-таки...

И все-таки, если подумать, вспомнить, оглянуться кругом, нельзя не сознаться, что есть в жизни что-то, кроме того, что видит каждый и что

\* Ни больше ни меньше (фр.).

видно каждому, что-то непонятное, странное и грозное, что-то, чему, по словам поэта, «есть причина и нет объяснения».

Вот, наудачу, несколько примеров. Привожу их без комментариев. Отмечу только, что все эти разные случаи из жизни разных людей объединены одним: все это именно случаи. Никто из тех, с кем они происходили, спиритизмом не интересовался, суеверно настроен не был — ни медиумы, ни вертящиеся столы в них ни при чем...

\* \* \*

В тоскливые зимние вечера 1919 года посетители Дома литераторов не торопились расходиться после обеда. Как ни мрачно было в затоптанных, тускло освещенных залах особняка на Бассейной — все-таки там было и теплее, и светлее, и уютнее, чем дома у каждого из этих «бывших людей», собиравшихся сюда со всех концов обледелого или расплзающегося в оттепели Петербурга съесть миску горячей бурды с плавающей в ней селедочной головой, ложку жидкой, ничем не приправленной манной каши и потом посидеть вот так где-нибудь в углу, в относительно тепле, относительно свете, среди таких же обездоленных, выброшенных за борт людей, бывших еще недавно писателями, художниками, адвокатами, директорами департаментов...

Сидели преимущественно в библиотеке: там, хотя и скупо, потрескивала все-таки сырыми дровами чугунная «буржуйка», длинная, черная труба которой перерезывала потолок, расписанный грациями и гирляндами роз. Иногда у огня шел общий разговор. И вот что рассказал там однажды знаменитый юрист, сухонький, старый-старый старичок с совсем молодыми, ясными глазами.

...Все-таки и я почувствовал старость, да. Характерно, что то, что было вчера, неделю назад — помню случайно, как сквозь пелену, многое совсем забываю. А вот чему тридцать, сорок, пятьдесят лет — вижу точно перед глазами. Вот и имение это старика маркиза-либерала, и Прованс — знаете эти холмы, тополя, мягкость красок — вот бы теперь там пожить, — передо мною как на ладони.

Я всегда, когда бывал во Франции, заезжал к маркизу. Несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны. В тот мой приезд я попал неожиданно на семейное торжество, празднуемое по-деревенски, не день, а неделю и больше, — именины хозяйки дома. Комната, где меня обычно устраивали, была занята, и мне отвели, с бесконечными извинениями, разумеется — ну, старинное французское гостеприимство, — другую, маленькую, в третьем этаже. И вот однажды...

Я прожил уже там дня три-четыре, скоро уже, к сожалению моему, надо было и уезжать, когда это случилось. А случилось это вот как.

После ужина — ах, господи, сейчас бы нам так поужинать — я сидел у раскрытого окна с папиросой, любясь прекрасной лунной ночью. Было уже часов одиннадцать — ложились в замке рано, по-провинциальному. Должно быть, я один и не спал из всех его многочисленных обитателей. Да и я уже собирался потушить свет и лечь, как вдруг слышу — в комнате рядом открывается дверь, кто-то входит и бросается на кровать, да так, что все пружины трещат. Надо вам сказать, дом был большой, и хоть гостей съехалось множество, все-таки в этаже, где меня поместили, я был единственным жильцом. Это было нечто вроде мезонина, предназначенного для прислуги, но вся прислуга жила в отдельном здании, и обычно мезонин пустовал. Мне это было известно, и услышав шаги и скрип пружин, я немного удивился, что у меня есть сосед, да еще такой шумный — до сих пор его никогда не было слышно. Сейчас же мне пришлось удивиться сильнее — сосед этот оказался женщиной. Потом чье-то тело всей тяжестью упало на кровать, и я услышал за стеной женский плач — негромкий, но внятный, перемешан-

ный с какими-то отрывистыми, бессвязными восклицаниями. Я, взволнованный, стал прислушиваться, не зная, что делать. Плач скоро стал тише, перешел в тихое всхлипывание. Еще раз скрипнула кровать, зашуршало что-то — и все смолкло. Недоумевая, лег в постель и не сразу, что в молодости со мной случалось крайне редко, заснул: все прислушивался. Нет, ничего, — должно быть, соседка, успокоившись, заснула. Раздумывая над тем, кто бы она могла быть, заснул и я...

Когда утром я вышел в сад, мой маркиз, уже выбритый и причесанный, в своем безукоризненном обычном белом фланелевом костюме, подстригал садовыми ножницами кусты роз, страстным любителем которых он был. На его вопорс — как спали? — я рассказал ему о вчерашнем.

— Простите, кажется, я сделал оплошность, — тотчас же поспешил прибавить я, увидав, как вдруг потемнено его всегда улыбающееся лицо. — Простите... может быть...

Он, казалось, меня не слышал.

— В самом деле... Как я не подумал?.. — бормотал он. — Ведь как раз... Это я должен просить у вас прощенья, — обратился он ко мне. — Сегодня же вам отведут другую комнату. И не рассказывайте никому об этом, особенно жене — это ее так взволнует.

— Конечно, я никому не скажу... Но зачем же мне другая комната... Эта дама ничуть меня не потревожила...

— Эта дама, — повторил маркиз со странной интонацией. — Эта дама... Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь, и вы все поймете.

Он вернулся с ключом в руках.

— Поднимитесь туда, — сказал он.

Мы поднялись в мезонин, в мою комнату. Минуту маркиз стоял молча, похлопывая ключом по ладони, точно собираясь с мыслями. Потом с прежней странной интонацией заговорил:

— Ваша комната угловая. Эта стена выходит в коридор. Следовательно, вы могли слышать то, что слышали, только отсюда.

— Конечно, — подтвердил я, ничего не понимая. — Отсюда, конечно. Она вошла, бросилась на кровать, потом...

— Хорошо, — перебил меня маркиз. — Пойдемте, в таком случае, взглянем на эту комнату.

Ключ повернулся в замке тяжело, точно дверь давно не открывали. В лицо мне пахнуло спертым, душным воздухом давно не проветривавшегося помещения. Маркиз толкнул ставни. Солнечный свет упал на выгоревшие обои, многолетнюю паутину, протянутую из угла в угол, пыль, толстым слоем лежавшую на полу. Ни кровати, ни вообще какой-нибудь мебели в комнате не было. Она была совершенно пуста, явно необитаема...

— Дама, — сказал маркиз с расстановкой, — плач которой вы слышали, умерла здесь ровно пятьдесят три года тому назад. Вчера была как раз годовщина. Это была одна из горничных моего деда — она отравилась из-за несчастной любви...

\* \* \*

...С тех пор я сплю при лампе — не могу потушить, страшно.

Конечно, это еще 1915 год и я не знаю, что мой приятель не просто смелый человек, а человек исключительного мужества. Через три года, в 1918 году, все узнают, на какое мужество, самопожертвование, героismo был способен этот, до сих пор никому не ведомый, красивый, черноглазый юноша. Но и теперь мне хорошо известно, что он человек нетрусливого десятка. При мне однажды, рано утром, на Сенной, куда мы приехали компанией после бессонной ночи есть классическую яичницу из обрезков, он разнял двух дерущихся пьяниц, не побоявшись ни

страшных кулаков одного, ни финского ножа другого. И еще вещи в том же роде я знаю о моем молодом друге, и слышать от него, что он боится спать в темноте,— мне странно.

А он повторяет:

— Сплю при лампе, боюсь потушить...

И рассказывает:

...первый класс я взял потому, что к первому классу остался все-таки какой-то приетет. Прапорщики не врываються, требуя, чтобы им уступили место,— чище, спокойнее. Я взял первый класс, нашел двухместное купе, дал проводнику три рубля, чтобы он стерег мой покой, и сейчас же заснул, потому что устал страшно. А когда я проснулся...

Когда я проснулся, первое, что с раздражением я увидел, несмотря на заверения, что меня никто не потревожит,— проводник все-таки пустил ко мне другого пассажира. Пассажир этот сидел в конце дивана тихо, не шевелясь. На голове его была шляпа с очень широкими полями. Тень от полей падала на лицо — лица не было видно. В синем свете ночника ясно вырисовывались только его руки, лежащие на коленях. Руки были худые, костлявые.

С раздражением думая об обманувшем меня проводнике, я смотрел на моего неожиданного компаньона, прищурившись так, чтобы он не видел, что я проснулся. В конце концов, чем он мне мешает — пусть себе сидит. Можно бы, конечно, предложить ему улечься наверху, но лень вставать, да и он сам, кажется, спит — не пошевелинется, руки как мертвые. Какие неприятные, однако, руки. Да пусть себе сидит. И я собирался уже заснуть, как вдруг мне бросилась в глаза одна вещь.

То, что я вдруг понял, было невероятно, дико. Между тем это было так. Ложась спать, я закрыл дверь изнутри на цепочку... Никто, кроме меня, не мог ее снять. Никто, пока я ее не снял, не мог войти в купе... И в ту самую минуту, когда я это понял,— страшные, худые, костлявые руки медленно приподнялись с колен, медленно в синем сумраке потянулись ко мне. Медленно, понемногу, все ближе, ближе к моему лицу, к моему горлу...

Паровоз неожиданно засвистел, и этот резкий свист вывел меня из оцепенения. Я отчаянно закричал, отталкивая от себя эти страшные руки... и проснулся. Это был только страшный сон. В купе никого не было. Цепочка мирно поблескивала на своем месте. Это был только сон, но брр... — какой отвратительный. Я зажег свет, выпил глоток коньяку, закурил папиросу и вышел в коридор — хотелось не быть одному, увидеть чье-нибудь лицо, поговорить с кем-нибудь...

В другом конце вагона суеилось несколько испуганных пассажиров, обер-кондуктор, проводники. Дверь была раскрыта в такое же, как мое, двухместное купе. Господин, лежавший на диване, казался спящим. Но он не спал, он был мертв. Лицо его было искажено, глаза навыкате, на шее ясно чернели следы длинных, костлявых пальцев. А на полу валялась шляпа с очень широкими полями, совершенно такая, как та... Она не принадлежала задушенному господину — его котелок покачивался тут же в сетке...

\* \* \*

Осенью 1923 года, перед самым моим отъездом из Берлина во Францию, поэт О. позвал меня на новоселье. Ему надоело жить в пансионах, и он нанял меблированную квартиру на Курфюрстендам. Квартира была во втором этаже одного из тех великолепных домов в берлинском «Вестене», какие, кажется, в одной Германии и умеют строить. Широкая мраморная лестница, красивые, высокие, прекрасно расположенные комнаты, прихожая величиной в средний парижский

«салон», ванная с бассейном — словом, прелесть. И то сказать, платил О. за все это великолепие недешево по тогдашним берлинским ценам — какую-то астрономическую цифру в марках, укладывавшуюся, впрочем, в переводе на валюту, в 5—6 долларов.

Единственное неудобство, неизбежное по берлинским правилам, по которым иностранец не имеет права снимать самостоятельную квартиру, — памятная многим эмигрантам фурия, квартирная хозяйка, — в квартире О. отпадало. Он расхваливал хозяйку свою на все лады: милая, радушная, услужливая...

Хозяйка эта, помню, понравилась и мне: маленькая, подвижная, пестро разряженная старушонка — она так и сияла всеми своими бесчисленными морщинками, встречая гостей, подавая на стол, отвечая на шуточные вопросы, которые на своем отчаянном немецком языке задавал ей О. «Jawohl, Herr Doktor... Gewiss, Herr Doktor»\*. Гости пили рислинг и знаменитый Kantorovitz Likor, рассматривали картины и обстановку, ходили из комнаты в комнату и выражали желание последовать примеру и тоже снять такую квартиру. О. их передразнивал: «Квартира что, а вот хозяйку, как моя, поищите-ка — не правда ли, фрау Вальдорф?» И та с непонимающим, но радостным видом расплылась: «Jawohl, Herr Doktor...»

Я уехал в Париж. О. жил в Германии, потом был в Риме, в Женеве. Только три года спустя мы встретились снова. При встрече я мимоходом обмолвился об его берлинской квартире, в которой мы виделись в последний раз.

О. поморщился.

— Ну, уж эта квартира.

— А что? Ведь вы были так довольны. Пять долларов... И такая милая хозяйка...

— Вот именно! Черт бы взял обеих — и квартиру, и хозяйку. Вы помните мою спальню? — начал он. — Да-да, с цветным окном и с нишей. Прекрасная комната. Черт бы ее взял. Да. Дело было так. Я был в кинематографе, потом прогулялся немного. Собирался было в кафе, но подумал, как у меня дома уютно, тепло, спокойно, — и пошел домой. И к чему кафе, когда моя фрау Вальдорф — надо, не надо — обязательно приготовит что-нибудь закусить на случай, если я проголодаюсь, — бутерброды, салат, какие-нибудь булочки. Все на чистой скатерти, аккуратно, в чайник засыпан свежий чай, хлеб, как я люблю, поджарен. Я и пошел домой. Выпил чаю, написал несколько писем и улегся с тем же приятным сознанием — как все хорошо, приятно, спокойно у меня дома.

Я всегда читаю перед сном. Помню, я взял тогда мемуары Казановы — чтение, как вы знаете, не располагающее к мистике.

Читаю, и вдруг рядом со мной сдавленный, полный тоски и мольбы голос:

— Ich will nicht sterben\*\*.

Вся галантная чепуха восемнадцатого века разом выскочила из моей головы. Что это? Почудилось? Донеслось с улицы? Не галлюцинация, я не подвержен, — а с улицы разве только пушечный выстрел мог быть слышен в моей спальне: так уединенно — вы помните — она была устроена. Что же тогда?

Я оделся. Взял (неизвестно зачем) револьвер, обошел всю квартиру. Все в порядке, все на своем месте. На Курфюрстендам горят фонари, шуцман на перекрестке объясняет что-то запоздалому прохожему... Успокоившись немного, я вернулся в спальню, лег и снова

\* «Конечно, господин доктор... Несомненно, господин доктор» (нем.).

\*\* Я не хочу умирать (нем.).

взялся за Казанову. Но едва я дочитал последнюю страницу, у самого моего уха опять — еще глуше, еще жалобней:

— ...Ich will nicht sterben...

Я убежал из спальни как был, в одном белье. Зубы мои стучали, меня трясло. Мне казалось, что я схожу с ума. Я зажег все люстры и лампы в квартире, а сам сел в прихожей, отворив дверь на лестницу, готовый бежать без оглядки из дому, если только послышится этот ужасный, леденящий душу голос.

Когда утром фрау Вальдорф разбудила меня, заснувшего не помню как на диване, лицо ее было полно участия и беспокойства: «Herr Doktor болен? Что с Herr Doktor?» Но как — если бы вы только видели — изменилось это добродушное лицо, едва я рассказал ей о том, что было ночью.

Вдруг моя «добрая», «славная», как часто я о ней говорил, фрау Вальдорф превратилась в разъяренную мегеру. Она визжала, топала ногами, брызгала слюной. «Sie lügen» — вы лжете, — кричала она, задыхаясь не то от ярости, не то от ужаса — от того и другого вместе, — вы лжете, лжете, этого не может быть, — слышал я ее иступленные вопли, спускаясь по лестнице. — «Sie lügen! Sie lügen!..»

Я переехал в отель в тот же день. Фрау Вальдорф я больше не видел — пока я укладывался, она не выходила из своей конуры возле кухни. Да, ее я больше не видел и очень рад этому. Но о ней узнал кое-что, довольно любопытное. Знакомый немецкий журналист, когда я рассказал ему эту историю, выслушал ее молча и на другой день прислал старый номер «Берлинер тагеблатт». Там был снимок с дома на Курфюрстендам, где я жил. Окна моей квартиры были отмечены крестиком, а в медальоне рядом всеми своими морщинками расплывалось лицо фрау Вальдорф. Внизу была изложена ее биография, биография довольно пестрая: содержательница дома свиданий, торговля кокаином и т. д., и т. д. Обстоятельства загадочной смерти на ее квартире неизвестно как попавшего туда богатого провинциального торговца так и остались невыясненными. Фрау Вальдорф, арестованная сначала по обвинению в убийстве, за отсутствием улик была освобождена.

## НЕВЕСТА ИЗ ТУМАНА

*(Парижский случай)*

Он застрелился накануне дня своего рождения: ему исполнилось бы тридцать четыре года. Отличный возраст для художника, которому улыбнулась слава. Кишечник еще неокончательно атрофировался после долгой и жестокой голодовки на прославленном Монпарнасе, и легкие, прокопченные и подгнившие на грязных сырых чердаках, можно еще отмыть и укрепить где-нибудь в Савойе или Пиренеях голубым льдом сияющего горного воздуха.

Признание пришло к Александрову вовремя. Двух месяцев не понадобилось, чтобы из бледного, долговязого, робкого малого в провансальском берете и жалком непромокаемом пальто, озирающего на углу бульвара Распай голодными и жадными глазами каждый вечер одну и ту же картину скользящей мимо такой близкой и такой недоступной жизни (иностранцы, автомобили, огни баров, лотки с устрицами, занавешенные шелком окна, сквозь которые брызжет негритянская музыка и где сосредоточено все — женщины, деньги, еда, английские папиросы, калорифер, фантастический вкус никогда еще не пробованного шампанского), превратиться в довольно самоуверенного молодого



го «мэтра» в дорогом ловком костюме и галстукe с бульвара Мадлен. Он вернулся из Швейцарии, куда уезжал отдыхать и лечиться на первые, свалившиеся так неожиданно деньги,— совсем другим человеком. Не только легкие и желудок окрепли у подножья Монблана — окрепла и выросла, казалось, и его душа. Несколько этюдов, привезенных в Париж и неохотно показываемых, убедили самых взыскательных знатоков, что заезжий американский меценат, «открывший» безызвестного русского художника, не только не ошибся в нем, но, напротив, пожалуй, недостаточно его оценил. Американец купил и увез в Бостон в свой дворец, полный Матиссами и Утрильо, десяток полотен очень талантливого начинающего — теперь в комнате большого отеля на красном ковре, столах и широких кожаных креслах были разложены работы, в которых явственно проступали черты огромного, почти зрелого дарования. Трое главных торговцев картинами с рю де-ла-Бозе, трое диктаторов спроса и предложения в мире красок, при свете электричества (был декабрь, желтый туман плотно стоял у окон, и Париж напоминал Лондон) разглядывали эти рисунки, щупали их, подносили их к носу, и каждый соображал, какой ежемесячный фикс предложить художнику, чтобы право эксплуатировать этот удивительный талант осталось за ним, а не за конкурентами. Александров стоял в стороне, прихлебывая портвейн, грыз зажаренную тонкими лепестками картошку и спокойно ждал (за время обеспеченной жизни он научился спокойствию), когда они приступят к торгу. Он знал, что самый азартный из трех — Дюран — предложит, вероятно, больше других, но что Леконт — лучшая марка и более надежные руки, и, пожалуй, вернее подписать контракт с Леконтом. Надо быть осторожным и благоразумным — и этому тоже тепло, отдых и текущий счет в базельском банке успели его научить. Выгодный контракт был подписан. На июнь по условию с импресарио была назначена выставка картин Александрова — тех картин, которые он должен был написать за зиму. Он снял студию и стал работать. Так, по крайней мере, думали все, так говорил он сам, изредка показываясь в «Куполе» или «Ротонде» на зависть менее удачливым приятелям. Впрочем, показывался он там только первое время. Вскоре его длинная фигура в толстом верблюьем пальто совсем исчезла с Монпарнаса.

Александров к себе никого не приглашал, чужие приглашения отклонял, и в богеме скоро решили, что он загордился, завел более элегантных знакомства, жалеет те десяти- и двадцатифранковки, которые неизменно теперь у него спрашивал при встрече каждый голодный и бездомный член бесчисленного монпарнасского братства. Добродушно обозвав Александрова «Salaud»\*, богема забыла о нем тем условным забвением, каким забывают художника или писателя: до новой книги или очередной выставки. Но поязвить и покритиковать на выставке Александрова обиженным завсегдатаям художественных кафе не пришлось. В конце марта велосипедисты-полицейские, объезжая на рассвете Булонский лес, нашли его лежащим ничком на берегу озера, у самой воды. Тут же валялся браунинг. Пуля прошла сердце навывлет.

\* \* \*

Александров покончил с собой в 1926 году. Странный же документ, проливающий на это самоубийство неясно-жуткий свет, был обнаружен три года спустя совершенно случайно. Александров — беженец с Кубани — был человеком одиноким. Наследником всех его художественных работ стал, естественно, тот самый мосье Леконт, с которым у художника был пятилетний контракт, прерванный непреду-

\* «Негодяй» (фр.).

смотренным форсмажором — выстрелом в сердце. Вместе с картинами и рисунками к Леконту, за неимением у Александрова родственников, перешли и его вещи. Вернее, аккуратный француз попросту забрал их в автомобиль, на котором увозил картины, рассудив, что вещи покойного художника справедливей раздарить его неимущим друзьям, чем оставить швейцарихе в виде баснословного посмертного «на чай». Он так и поступил. Когда в его бюро являлся какой-нибудь художественный попрошайка, Леконт дарил ему то костюм, то новенькую фетровую шляпу, то смену щегольского белья из довольно большого гардероба, заведенного Александровым в то время, когда «главного он еще не понимал», как сказано в его дневнике. Этот дневник был подарен Леконтом некоему П., явившемуся к нему за своей долей наследства последним и не заставшему уже ни широких гольфных штанов, ни отличных шелковых рубашек — только пакет с книгами.

— Вот тут архив вашего камрада — больше у меня ничего нет, продайте букинисту, — сунул ему Леконт в руки объемистую пачку и выводил посетителя.

В нескольких листках синей шероховатой бумаги, которая зовется Энгр и служит для рисования белилами и сангиной, были завернуты: самоучитель английского языка, два-три романа, кипа художественных журналов, руководство хорошего тона, составленное знаменитым Полем Ребу, и холщовая тетрадь для эскизов, исписанная то пером, то карандашом.

\* \* \*

«Новость: я веду дневник. Никогда прежде не чувствовал потребности в этом. Да и что было записывать? Неудачи, бедность, горе... Только неудачи, бедность и горе были моей жизнью. «Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастна по-своему». Может быть. Не мне спорить с Толстым. Но мне кажется, что с отдельными человеческими жизнями дело обстоит как раз наоборот. Несчастье всегда одинаково: неудачи, бедность, горе. А каждая счастливая жизнь счастлива на свой особенный лад. Этим дневником я открываю свою счастливую жизнь.

Моя новая счастливая жизнь. Ей уже около двух недель, но только сегодня утром, выглянув из окна спального вагона на снег и Альпы, я понял, что она началась. Снег. Я смотрел на него новыми глазами, глазами счастливого человека. Он уже не пугал меня холодом, отсутствием угля, жалким летним пальто. Снег значил — лыжи, радостное возбуждение, огромный отель в горах, дорогой спортивный костюм. Счастье — прежде всего — свобода. Свобода — прежде всего — деньги. Денег у меня сейчас много. Даже слишком много — ведь я совсем не умею их тратить. И свободы тоже слишком много — еще неизвестно, что буду делать с ней. Но жаловаться на это не приходится. Напротив. Было бы, например, очень некстати тащить сейчас за собой в новую счастливую жизнь какую-нибудь набившую оскомину любовницу, тащить только потому, что она жила со мной на одном чердаке и штопала мои драные носки. Хвалю себя, что всегда был Волком-одиночкой, как прозвали меня на Монпарнасе. Если бы такая, оставшаяся от старого женщина у меня была, я бы, конечно, ее бросил вместе с носками и чердаком. Но это подлость, а с подлости новую жизнь нехорошо начинать».

Дальше шло описание фешенебельного горного курорта, несколько слов о мимолетной связи с американкой Патрицией — «как смешно — Патриция, а сама похожа на хорошенького котенка, даже мурлычет», легкой связи с легким расставаньем, «дарлинг, дарлинг, дарлинг — навеки», потом поцелуи, смех и цветы на перроне. Возвраще-

ние в Париж. «Контракт подписан. Кто мог думать — у меня коммерческие способности, Леконт только вздыхал». Потом переезд в новую студию — большую, светлую, с ванной, столовой и спальней — «целая квартира».

«Окно студии выходит в стилизованный парижский садик, и напротив, совсем близко, окна чужого особняка. Только два окна — особняк выходит в сад боковой пристройкой, и они прямо на уровне моего, смотрят в него, как два глаза. Не совсем приятно — так близко чья-то чужая жизнь. Впрочем, на окнах тюлевые занавески, да вообще можно туда не смотреть».

...Утром уже рисовал, но немного — больше устраивался. Переставлял кресло, просто так, для удовольствия. Безделье. Но это творческое безделье. Чувствую, что буду писать много и хорошо, хорошо, как никогда. Весь Париж должен ахнуть в июне на моей выставке. И ахнет. Брал ванну днем — приятно, но глупо, можно простудиться. Потом поехал завтракать в шикарный ресторан. Ел бифштекс и компот — доктор велел щадить желудок. Но над бифштексом реяли все омары и фазаны, которые я теперь могу заказать.

И от этого все показалось особенно вкусным. Взял бутылку шампанского. Выпил только один бокал — вредно, но произвел неотразимое впечатление на лакеев. Кланялись, как принцу Уэльскому. Приятно. Возвращался пешком. Какой туман! Совсем Лондон, как его описывают. Все таинственно расплывается, все очертания двоются. Я немного заблудился, завернул не на мою улицу, а на параллельную... Да это лицевой фасад особняка, два окна которого смотрят прямо в мою студию. Красивое старинное здание, над воротами какой-то затейливый герб. Взглянул и хотел пройти, но тут из тумана вынырнул автомобиль и остановился у подъезда. Шофер, соскочив, открыл дверцу, и из автомобиля вышли новобрачные. Я остановился — нельзя же перебежать, как кошка, дорогу молодоженам. Кружево, шелк, ворох белых лилий... Невеста повернула голову, и я увидел ее лицо. Оно поразило меня. Оно было необыкновенно счастливо, неслыханно счастливо. Большие светлые, прозрачные глаза смотрели куда-то вверх всего, маленький, очень красный рот улыбался. Но это не был взгляд, не была улыбка — это было само счастье. Счастье слишком явное, слишком большое, слишком глубокое для этих прозрачных глаз, красных губ, тонких бледных рук. Какое-то исключительное, нечеловеческое, даже бесцеловечное счастье. В нем было что-то жесткое, почти грубое, почти оскорбительное. И я на минуту в самом деле почувствовал себя оскорбленным. Как будто она, эта невеста, забрала себе одной все земное счастье. Как будто она обокрала весь мир, и меня в том числе.

Швейцар распахнул двери особняка, и она, эта слишком воздушная, слишком земная, слишком счастливая новобрачная, вошла в подъезд. За ней промелькнул «он» — высокий, худощавый, банально-элегантный, в жакете и с цилиндром в руке. Дверь закрылась. Мне стало холодно. Я почувствовал во рту вкус ржавчины и светильного газа — вкус тумана. Противно. Завернул за угол и оказался перед своим домом.

Дома что-то читал и перебирал старые наброски. Скучно. Глупое чувство обездоленности, которое я испытал на улице, не хочет проходить. Глупо и смешно. Какое мне дело, что какая-то чувственная девчонка до неприличия влюблена? При чем тут я? Она прелестна? Но прелестных женщин в Париже сколько угодно. Патриция была ничуть не хуже. А это сиянье чувственности даже отталкивает меня. Боюсь и не хочу. Прежде всего я должен быть свободен. Прежде всего искусство. Но на меня действует туман.

Впервые за эти два месяца я недоволен собой. И студия моя не кажется мне такой замечательной, как вчера. Стены следовало выкра-

сильно на полтона темней, в более глубокий серый цвет. И кресла слишком мягки и буржуазно-роскошны. Впрочем, вздор — все очень хорошо».

\* \* \*

«Сегодня солнечный, розоватый день. Работал, но неудачно. Соседние окна раздражают и отвлекают внимание. Четыре часа дня, но занавески еще затянуты. Раньше их раздвигали с утра — я несколько раз видел лакея в полосатой куртке, который это делал. Может быть, там теперь спальня новобранцев. Тогда понятно — такая чувственная.

Обедал с Леконтом. Пройдоха. Лытит — шер мэтр, вы завоюете мир. Без него знаю. Пристает, чтобы показать ему новые картины, едва отделался. По крайней мере скажите, cher Alexandroff\*, много ли вы написали — ведь выставка не за горами. — Двенадцать полотен. — Расплылся в улыбку. — Ça c'est bien \*\*. Откровенно говоря, полотен даже больше двенадцати, но только чистых. На мольберте у меня стоит все тот же начатый холст, и я никак не соберусь его кончить. Надо подняться. Занавески так и остались спущенными весь день. Когда я вернулся вечером, за ними светился огонь, должно быть, от ночника — слабый, мутный, розовый, какой-то липкий. Что он освещает сейчас, этот мутный розовый свет? Но какое мне дело? Гораздо полезней обдумать, как провести волнистую линию, которая мне не дается на моей картине. Если живописна плоскость...» Далее следуют технические рассуждения.

\* \* \*

«Сегодня в половине первого один из пышных тюлевых воанов задвигался, и я увидел невесту. Я хорошо разглядел ее. На ней было что-то легкое, белое, вроде ночной рубашки. Она глядела в сад и в мое окно тем же расширенным, невидящим счастливым взглядом. И она улыбалась так же счастливо. Нет — еще более счастливо, уже не улыбкой — гримасой счастья. Счастья, ненасытности и усталости.

Она стояла, прижавшись лбом к стеклу, будто отдыхая, будто собираясь с силами. За ней в глубине комнаты смутно белела широкая низкая кровать. Так она стояла минуту, может быть, две. Потом вдруг обернулась, протягивая кому-то руки. Занавески снова упали.

Все то же. Занавески опущены. Неужели она так никогда и не встает, не выходит гулять, не одевается? Чувствую, что во мне проснулась душа добродетельной старой девы. Я возмущен. Я готов кричать: c'est honteux!\*\*\* Я способен обратиться к полиции, чтобы прекратили это безобразие, порок и порчу нравов. Но шутки в сторону — меня это действительно раздражает. Чем? Что какая-то девчонка и какой-то рослый болван пять дней не встают с кровати. Так что ж? На здоровье, хоть месяц, если им нравится. А вот поди же. Меня это злит, бесит, лишает покоя. Я повседневно думаю только об этом.

Она опять раздвигала занавеску. Опять в рубашке, волосы растрепанные и глаза шалые. И опять это невозможное, звериное выражение счастья. День солнечный, яркий, но она сквозь тюль видна, как в тумане. Как в первый раз, когда она шла в фате и кружевах, с белыми лилиями, с этим пленительным и отталкивающим взглядом. Слово туман того дня не рассеялось и сгустилось там, в той комнате, вокруг нее — и она в нем живет. Она подняла руку. Рубашка соскользнула

\* Дорогой Александров (фр.).

\*\* Это хорошо (фр.).

\*\*\* Какой позор! (фр.).

с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно над левой грудью. Я смотрел на нее в бинокль, она должна была меня прекрасно видеть, — но не шевельнулась. Не поправила рубашки, не отвернулась даже — бесстыжая девчонка. Нет. Она не видела меня, ничего не видела — это ясно. Она отравлена любовью, и ничто другое не существует для нее. Я почувствовал ненависть к ней, ярость. Мне хотелось разбить окно и бросить в нее биноклем, поднять... скандал. Сделать что угодно, только бы эти светлые, прозрачные, невидящие глаза взглянули на меня сознательно, чтобы они увидели меня. («Увидели» было подчеркнуто.)

Что со мной? На что я злюсь? Какое мне дело? Разве я не прежний, счастливый, свободный Волк-одиночка? Разве мне надо что-нибудь, кроме славы, денег и свободы? Надо работать, вот что».

\* \* \*

«Вчера она уехала. Это странно, почти страшно. Не то, что она уехала, а то, что ее отъезд так взволновал меня.

Утром, впервые за все эти дни, занавески широко откинулись. Видел лакея, суетящегося в комнате. Вдруг к окну подошла она в шубке и маленькой белой шапочке. За ней муж. Она обняла его за шею и поцеловала долгим, невозможно долгим поцелуем. Точно не нацеловалась за эти дни. Они отошли от окна, и больше я ее не видел.

Занавески остались поднятыми и даже на ночь не опускались. И на следующий день тоже. Тогда я понял, что она уехала. Зачем? Не все ли ей равно, где целоваться — в Париже, в Ницце или Каире?

Сначала я обрадовался. Унесла нелегкая, не будет мешать мне работать. Сколько дней я баклушничал из-за нее, будто это я женился, будто это мой медовый месяц. С наслаждением я принял ванну, побрился, причесался, с наслаждением раскрыл ящик с красками и взял палитру. Но ничего не вышло. Все расплывается мутными пятнами, и вместо того, чтобы смотреть на картину, я все оборачивался на ее окна. Тревога все сильнее меня грызла. Наконец я замазал все, что нарисовал. Дома сидеть я не мог. Квартира моя вдруг опротивела мне. Будто я жил здесь с невестой и она уехала, бросила меня. Я прислонился к стеклу лбом (так стояла она несколько дней назад), и вдруг у меня защекотало в горле. Я всегда был сдержан, а, видит Бог, у меня в жизни было достаточно доводов для слез.

На дворе шел дождь. Капли дождя стекали по стеклу. Я поднял руку и коснулся щеки. Она была мокра. Сначала я подумал, что это тоже дождь. Потом, когда я сообразил, что плачу, я испугался. Что же это? Где моя слава, свобода, счастье?

Пойду на Монмартр. Напьюсь. Говорят — помогает».

\* \* \*

«Голова болит. Но напиться вчера не пришлось. Вышло иное. Дико и непонятно.

Я пообедал один. Выпил бутылку вина и съел омара по-американски, не думая о желудке. Пока ел, было ничего, но потом стало еще тревожнее. Я вышел на площадь. Давно я не был здесь. Шумно,людно, отвратительно. Я зашел в большое кафе. Мне было холодно. Я сел за свободный столик и, сняв перчатки, потер озябшие руки.

— Вам холодно? — спросил немного гортанный голос. — Выпейте грогу. И мне закажите — мне тоже холодно.

Я повернул голову и увидел прозрачные глаза, маленький красный рот, светлые волосы. Это была она, невеста. Ее глаза. Ее волосы.

Ее руки. Только выражение лица было совсем другое — грустное и немного испуганное.

— И мне,— повторила она.— Или не хотите? Скупой?

Я заказал два грога, и она улыбнулась.

— Мне надоело сидеть,— сказала она, выпив.— Хочешь, пойдем?

Не было сомнений, кто она и чего хочет, но она была совсем непохожа на остальных женщин. Она казалась молодой, наивной и робкой.

— Пойдем ко мне,— предложил я.

— А где это?

Я назвал улицу.

— Ах, нет-нет,— замотала она головой.— Ах, нет. Туда не хочу. Я знаю здесь очень хороший отель. Очень хороший,— с убеждением повторила она.— И недорого.

Снова я шел по площади. Но теперь все вокруг казалось мне таинственным, волшебным, сказочным, как в детстве на Рождество. Фонари и огни реклам сияли, как свечи на елках, и сердце мое дрожало и падало. Я крепко держал ее за локоть.

Сонный лакей повел нас по узкой лестнице, отпер дверь.

— Вам тут будет хорошо,— сказал он. Меня поразила эта фраза. Откуда он знал, что мне будет хорошо?

Комната была жалкая. Большая кровать, умывальник, лампочка под низким потолком. Она сняла шляпу и пальто. Я смотрел на нее. Я ни о чем не спрашивал. Я был совершенно спокоен. Вся тревога моя прошла. Как будто именно этого я и ждал.

Она тоже молчала.

— Как красиво,— сказала она наконец, показывая на пестрые обои.— Птицы и цветы. Я люблю весну. Но и осень я тоже люблю. Дождь и туман. Потуши свет.

— Зачем?

Она прижалась щекой к моему плечу:

— Потуши, потуши. Я иначе не могу. Мне стыдно раздеваться.

— Разве ты не привыкла?

— Нет-нет. Я люблю тебя. Мне страшно, как будто я твоя невеста.

Невеста!

Потом снова свет ярко горел — кто его зажег, я или она? Я видел ее лицо: оно сияло счастьем. Оно было самим счастьем. Это искаженное счастьем лицо, эти прозрачные шальные глаза. Рубашка сползла с плеча, и я увидел продолговатое родимое пятно. Больше ничего не помню. На рассвете я проснулся один».

\* \* \*

«Три дня напрасно ишу ее. Нигде ее нет. Расспрашивал прости-туток и лакеев в кафе — никто ее не знает. Искал тот отель, где мы провели ночь. Не нашел — столько улочек, и в каждой десяток отелей. Очень устал. Несчастен. Никогда еще не был так несчастен. Ее нигде нет».

\* \* \*

«Ее нет нигде».

\* \* \*

«Прошло две недели с той ночи».

\* \* \*

«Как я глуп! Искал ее по всему Парижу, а она тут, рядом. Занавески опущены — значит, она дома. Может быть, она вернулась в ту же ночь — ведь я ни разу не взглянул на ее окна. Сейчас же иду к ней.

Был там. Невероятно. Невозможно. Чудовищно. Булонский лес? Да, конечно, в Булонский лес. Шум деревьев поможет собраться мне с мыслями. Я всегда любил деревья. Я рисовал их. Мне казалось, что в их свежей листве сосредоточена вся свежесть мира.

Уже утро. Над озерами утренний туман. Я первый раз увидел ее в тумане...»

\* \* \*

Долго волновались на Монпарнасе. Много кофе и пива было выпито, много папирос выкурено, пока пришли к решению: пойти в тот особняк, добраться до женщины, погубившей Александрова.

Предприятие казалось трудным, почти невыполнимым. Она не примет художников, не пожелает с ними говорить.

Но все оказалось очень просто. Седой лакей впустил их и пошел доложить хозяйке. Минут десять спустя в гостиную вышла худощавая дряхлая маленькая старушка в широком шумном шелковом платье. За нею бежала болонка. Старушка грациозно опустилась в кресло и предложила всем сесть.

— Чем я обязана честью?.. — слегка жеманно спросила она.

П., краснея и сбиваясь, стал говорить про молодую женщину, «живущую или жившую тут три года назад». Старушка перебила его:

— Никакой молодой женщины, мосье, здесь не живет и не жило с тех пор, как я сама перестала быть молодой. Но это было очень давно. И вся прислуга у меня мужская, кроме старой камеристки.

П. все еще настаивал.

— Новобрачные, окна выходят в сад..

Старушка покачала головой.

— Вы заблуждаетесь, мосье. Но я вспоминаю, что не вы первый меня об этом спрашиваете. Года три-четыре тому назад ко мне приходил неизвестный, очень странный молодой человек и что-то кричал о невесте, и плакал, и умолял меня. Мне стало его жаль, и я провела его в комнату, выходящую в сад. Вам я тоже могу ее показать.

Комната была большая. Это был старомодно обставленный кабинет. Мебель была тяжелая, резная, на стене, среди ружей и пистолетов, висел портрет бравого гвардейца в траурной раме. У одного из окон стояла огромная клетка с канарейками.

— С тех пор, как мой бедный муж был убит под Седаном, ничего не изменилось здесь. Только канареек приходится заводить новых — они так недолговечны. Но мой покойный муж их очень любил.

---

---

# Олджернон Блэквуд ТАЙНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

## Новелла

*О творчестве Олджернона Блэквуда (1869—1951), впервые представляемого русскому читателю, смотрите в этом номере «Согласия» статью Ю. Стефанова «Скважины между мирами».*

Харрис, коммерсант, торговец шелками, возвращался из своей деловой поездки по Южной Германии, когда его охватило внезапное желание пересечь в Страсбурге на горную ветку железной дороги и посетить свою старую школу, в которой он не был более тридцати лет. Именно этому случайному желанию младшего компаньона фирмы «Братья Харрис», контора которой находится около кладбища собора св. Павла, Джон Сайленс объяснил одним из самых любопытных случаев, когда-либо им расследованных, ибо как раз в это время он путешествовал по тем же горам с альпинистским рюкзаком за спиной; и так уж случилось, что оба они, прибыв разными путями, остановились в одной и той же гостинице.

Хотя вот уже тридцать лет Харрис занимался исключительно прибыльным делом — покупкой и продажей шелков, пребывание в этой школе оставило в его душе глубокий след и, возможно незаметно для него самого, сильно повлияло на всю его последующую жизнь. Он принадлежал к небольшой, очень набожной протестантской общине (думаю, нет необходимости уточнять, какой именно), и пятнадцать лет от роду отец отослал его в школу — отчасти для того, чтобы он изучил немецкий язык в объеме, достаточном для ведения коммерческих операций, отчасти для того, чтобы его приучили к строгой дисциплине, в то время особо необходимой его душе и телу.

Жизнь в школе и в самом деле оказалась очень суровой, что, несомненно, пошло на пользу молодому Харрису; хотя телесные наказания там и не применялись, но существовала особая система умственного и духовного воспитания, которая способствовала возвышению души, полному искоренению пороков, укреплению характера, но без применения, однако, мучительных наказаний, подходящих скорее на личную месть, чем на средство воспитания.

Тогда он был мечтательным, впечатлительным подростком; и вот сейчас, когда поезд медленно поднимался в гору по извилистой колее, Харрис не без приятности вспоминал протекшие с тех времен годы, и из затененных уголков его памяти живо всплывали позабытые подробности. Жизнь в этой отдаленной горной деревушке, огражденной от суетного мира любовью и верой благочестивого Братства, ревностно заботившегося о нескольких сотнях ребят из всех европейских стран, казалась ему поистине удивительной. Минувшее, картина за картиной, возвращалось к нему. Он как будто воочию видел перед собой длинные каменные коридоры, отделанные сосной классы, где они проводили в занятиях знойные летние дни — за открытыми окнами, в солнечном свете, мелькали жужжащие пчелы, а в его уме буквы немецкого алфавита боролись тогда с мечтами об английских газонах.

Неожиданно в эти его мечты вторгался пронзительный крик учителя немецкого языка:

— Ты спишь, Харрис? Встань!

И приходилось, с книгой в руке, стоять нестерпимо долгий час; за



это время колени становились как восковые, а голова тяжелела, точно пушечное ядро.

Он даже помнил запах еды — ежедневную Sauerkraut\*, жилистое мясо, которым их потчевали дважды в неделю на обед, горячий шоколад по воскресеньям; он с улыбкой вспоминал о половинном рационе, которым наказывали тех, кто говорил по-английски. Он заново чувлял тяжелый, сладковатый аромат, исходящий от крестьянского хлеба, когда его макают в молоко — таков был их шестичасовой завтрак, видел огромный Speisesal\*\*, где сотни мальчиков в школьной форме, все еще не проснувшись, молча давятся этим грубым хлебом, спеша покончить с завтраком, пока не зазвонит колокол, возвещающий об окончании трапезы, а все это время в дальнем конце столовой, там, где сидят учителя, сквозь узкие окна-щели проглядывает восхитительная панорама полей и лесов.

Затем он вспомнил о большой, похожей на амбар, комнате на верхнем этаже, где все они спали на деревянных кроватях, и тут же в памяти зазвучал беспощадный звон колокола, что будил их в пять часов утра, призывая в вымощенную каменными плитами Waschkammer\*\*\*, где ученики и учителя быстро мылись в ледяной воде, а затем молча одевались.

От этих картин память Харриса обратилась к другим воспоминаниям; с легкой дрожью вспомнил он, каким одиноким чувствовал себя в постоянном окружении других учеников: работу, еду, сон, прогулки, отдых — все это неизменно приходилось делить со всем классом, двадцатью другими такими же мальчиками, под бдительным оком по меньшей мере двух учителей. Когда ему невыносимо хотелось побыть в одиночестве, он, с позволения учителей, уходил на полчаса попрактиковаться в одну из узких, похожих на тюремные камеры, музыкальных комнат. Тут Харрис невольно улыбнулся, вспомнив, с каким остервенением пиликал на скрипке.

В то время, как поезд, натужно пыхтя, катил через большие сосновые леса, ворсистым ковром устилавшие окрестные горы, он с умиленным восхищением благословлял доброту учителей, их называли тут Братьями, поражаясь их преданности своему делу, преданности, что на долгие годы заставляла их погреть себя в этой глуши, чтобы затем, в большинстве случаев, променять эту нелегкую жизнь на еще более суровую участь миссионеров в диких уголках мира.

Он еще раз подумал о тихой религиозной атмосфере, словно занавесом отгораживавшей маленькую лесную общину от суетного мира; о живописных павильонов, рождественских и новогодних церемониях, о больших и маленьких празднествах. Особенно памятен был ему Bescher-Fest — день приношения рождественских даров, когда вся община разделялась на две группы: дарителей и получателей даров — эти дары делались своими руками в течение нескольких недель упорного труда либо покупались на сбережения многих дней. Памятна была и рождественская полночная церемония в церкви: на кафедре в этот день всходил с сияющим лицом деревенский проповедник — каждую последнюю ночь старого года он видел в пустой галерее за органом лица тех, кому суждено умереть в последующие двенадцать месяцев; однажды в толпе обреченных он узнал самого себя и в порыве экстаза вознес восторженные хвалы Господу.

Воспоминаниям не было конца. Перед Харрисом расстилалась картина маленькой деревушки, что жила своей дремотной, бескорыстной, чистой, простой, здоровой жизнью на горных вершинах, упорно искала

\* Кислая капуста (нем.).

\*\* Столовая (нем.).

\*\*\* Душевая, баня (нем.).

своего Бога и воспитывала в духе величия веры сотни ребят. Он вновь чувствовал этот мистический энтузиазм, более глубокий, чем море, и более удивительный, чем звезды; вновь слышал вздохи ветра, прилетающего из-за дальних лесов и реющего в лунном свете над красными крышами; слышал голоса Братьев, беседующих о жизни предстоящей так, словно они хорошо с ней знакомы; и сидя в тряске, раскачиваемся на ходу вагоне, ощущал, как дух невыразимого томления наполняет его отцветшую, утомленную душу, воскрешая море чувств, которые он давно уже считал навеки утраченными.

Мучительной болью отдавался в его душе разительный контраст между тогдашним мечтателем-идеалистом и теперешним деловым человеком; дух неземного покоя и красоты, постигаемый лишь путем медитации, странно волновал его сердце.

Слегка вздрогнув, Харрис выглянул из окна своего пустого купе. Поезд уже давно миновал Хорнберг, и далеко внизу водяные потоки, взметая тучи пены, разбивались об известняковые скалы. А перед ним, на фоне неба, купол за куполом, вставали лесистые горы. Стоял октябрь, пронизывающе холодный; запах дыма и влажного моха восхитительно смешивался с тонким благоуханием сосен. Между верхушек самых высоких деревьев проглядывали первые звезды, небо было того самого чистого, бледного, аметистового цвета, в который окрашивались теперь все его воспоминания.

Он откинулся к стенке в своем уголке и вздохнул.

Он был угрюмым человеком и в течение многих лет не испытывал никаких сильных чувств; он был инертным человеком, и раскачать его было не так-то легко; он был верующим человеком, в котором свойственные юности возвышенные устремления к Богу, хотя и утратили прежнюю чистоту в постоянной борьбе за существование, все же не умерли окончательно, как у большинства его сверстников.

В этот маленький забытый уголок прошлого, где хранились груды чистого, нерастраченного золота, он вернулся в неизъяснимом трепетном волнении; и глядя, как приближаются горные вершины, вдыхая забытые ароматы своего отрочества, он почувствовал, как с души стаяла наростшая за все эти годы кора льда и как пробудилась в нем тонкая чувствительность, которой он не знал много лет назад, когда жил здесь — со своими мечтами, со своими внутренними конфликтами и юношескими страданиями.

Когда поезд приостановился на крохотной станции и он увидел ее название, выведенное большими черными буквами на сером каменном здании, а под ним — цифры, обозначающие высоту над уровнем моря, его вдруг пронзила сильная дрожь.

— Самая высокая точка на всей линии! — воскликнул он. — И как хорошо я помню это название — Зоммерау — Летний луг.

Поезд, притормаживая, покатился вниз, под уклон, и Харрис, высунув голову из окна, отмечал в сумерках все привычные вехи и ориентиры. Они смотрели на него, как во сне лица мертвецов. Странные сильные чувства, одновременно мучительные и сладкие, затрепетали в его сердце.

«Вот белая дорога, где в жаркие дни мы так часто гуляли в сопровождении двух Братьев, а вот, клянусь Юпитером, поворот к «Die Galgen» — каменным виселицам, где в былые времена вешали ведьм».

Он слегка улыбнулся, когда поезд проскользнул мимо.

«А вот роща, где весной все было усыпано ландышами, а вот это, — повинуюсь внезапному импульсу, он опять высунул голову из окна, — та самая лужайка, где мы с французом Каламом гонялись за бабочками. Брат Пагель наказал нас тогда половинным рационом за то, что мы без разрешения сошли с дороги и кричали на своих родных языках». Он снова улыбнулся.

Поезд остановился, и, как во сне, он сошел на серый, усыпанный гравием перрон.

Прошло, казалось, целых полвека с тех пор, как он в последний раз стоял здесь с деревянными сундучками, обвязанными веревками, ожидая страсбургского поезда, чтобы вернуться домой после двухлетнего отсутствия. Время соскользнуло с него, точно старый плащ, и он вновь почувствовал себя мальчиком. С одной только разницей — все кругом казалось гораздо меньше, чем было запечатлено в его воспоминаниях; все как будто съежилось и уменьшилось, расстояния странно сократились.

Он направился к маленькому Gasthaus'у\* по ту сторону дороги; его молча сопровождали выступившие из тенистой глубины лесов прежние товарищи: немцы, швейцарцы, итальянцы, французы, русские. Они шли рядом, глядя на него вопросительно и печально. Но их имена он забыл. Тут же были и некоторые из Братьев, многих из которых он помнил по имени: Брат Рёст, Брат Пагель, Брат Шлиман, Брат Гисин — тот самый бородатый проповедник, который увидел свое лицо среди обреченных на смерть. Темный лес на холмах шумел вокруг него, как море, готовое затопить эти лица своими бархатистыми волнами. Воздух обдавал прохладой и благоуханием, каждый запах приносил с собой бледное воспоминание.

Несмотря на печаль, обычно пронизывающую такого рода воспоминания, Харрис с большим интересом приглядывался ко всему вокруг и даже испытывал от этого своеобразное удовольствие; вполне удовлетворенный собой, он снял в гостинице номер и заказал ужин, намереваясь тем же вечером отправиться в школу. Школа находилась в самом центре деревушки, отдаленной от станции четырьмя милями леса; Харрис впервые вспомнил, что это маленькое протестантское поселение расположено в местности, где проживают исключительно католики — их распятия и святые окружают его, точно разведчики осаждающей армии. Сразу же за деревней, вместе с прилегающими полями и фруктовым садом занимавшей всего несколько акров земли, стояли густые фаланги лесов, а сразу за ними начиналась страна, где правили священники иной веры. Теперь он смутно припоминал, что католики проявляли враждебность к маленькому протестантскому оазису, так спокойно приютившемуся в их окружении. А он, Харрис, совсем позабыл об этом! С его обширным жизненным опытом, знанием других стран, да и мало ли еще чего, та вражда показалась ему ныне слишком уж мелкотравчатой: он будто возвратился не на тридцать, а на все триста лет назад.

Кроме него, за ужином присутствовали еще двое постояльцев. Один из них, бородатый пожилой мужчина в твидовом костюме, сидел за дальним концом стола, и Харрис рад был держаться от него подальше, так как узнал в нем соотечественника, возможно, даже принадлежавшего к деловым кругам. Не хватало еще, если он — торговец шелками, — у Харриса не было ни малейшего желания говорить сейчас с кем бы то ни было о коммерции. Второй постоялец — католический священник, маленький человек, евший салат с ножа, но с таким кротким видом, что это даже не казалось нарушением приличий; именно его ряса и напомнила Харрису о старинном антагонизме между католиками и протестантами. Харрис упомянул, что совершает своего рода сентиментальное путешествие, и священник, приподняв брови, вдруг пронизительно взглянул на него — с удивлением и подозрительностью, неприятно его задевшей. Харрис приписал такую реакцию различию в вере.

\* Гостиница (нем.).

— Да,— продолжал он, радуясь возможности поговорить о том, что переполняло его душу,— то было довольно странное ощущение для английского мальчика — оказаться в здешней школе, среди сотен иностранцев. На первых порах я испытывал одиночество и глубокую Heimweh\*.— Он еще не утратил беглость немецкой речи.

Его визави поднял глаза от холодной телятины и картофельного салата и улыбнулся. У него было милое, приятное лицо. Он объяснил, что он не здешний и что должен посетить Вюртембергский и Баденский приходы.

— Это была нелегкая жизнь,— продолжал Харрис. — Мы, англичане, называли ее «тюремной».

Лицо священника, непонятно отчего, вдруг потемнело. После короткой паузы, скорее из вежливости, чем из желания продолжать разговор, он спокойно заметил:

— В те дни это, разумеется, была процветающая школа. Но впоследствии, как я слышал... — священник пожал плечами, и в его глазах мелькнуло странное — почти тревожное — выражение. Он так и не договорил начатую фразу до конца.

В его тоне Харрис уловил нечто неожиданное для себя — укоризну и даже осуждение. Это его сильно задело.

— Она переменялась? — спросил он.— Что-то не верится!

— Стало быть, вы ничего не слышали? — кротко сказал священник и хотел было перекреститься, но что-то остановило его.— Вы ничего не слышали о том, что произошло в этой школе, прежде чем ее закрыли?

То ли Харрис был задет за живое, то ли переутомлен впечатлениями дня, но слова и сама манера поведения маленького священника вдруг показались ему настолько оскорбительными, что он даже не расслышал конца последней фразы. Вспомнив о застарелой вражде между протестантами и католиками, он едва не вышел из себя.

— Чепуха! — воскликнул он с натянутой улыбкой. — Unsinn\*\*. Простите, сэр, но я должен вам возразить. Я был учеником этой школы. Она — единственная в своем роде. Я убежден, что ничто всерьез не могло повредить ее репутации. В своей благочестивости Братья вряд ли знали себе равных... — Он прервал свою речь, осознав, что говорит слишком громко: человек за дальним концом стола, вполне возможно, понимал по-немецки; подняв глаза, он увидел, что тот пристально вглядывается в его лицо. Глаза у него были необычно яркие, очень выразительные — Харрис прочитал во взгляде упрек и предупреждение. Да и весь облик незнакомца произвел на него сейчас сильное впечатление: он вдруг почувствовал, что это один из тех людей, в чьем присутствии вряд ли кто осмелится сказать или сделать что-нибудь недостойное. Харрис только не мог понять, почему он не осознал этого раньше.

Он готов был откусить себе язык — так позабыться в присутствии посторонних! Маленький священник погрузился в молчание. Лишь однажды, подняв глаза и говоря намеренно тихим, еле слышным голосом, он заметил: «Вы убедитесь, что она сильно изменилась, эта ваша школа». Вскоре он встал из-за стола с учтивым поклоном, предназначавшимся обоим сотрапезникам.

Следом за ним поднялся и человек в твидовом костюме.

Некоторое время Харрис еще посидел в темнеющей комнате, потягивая свой кофе и попыхивая пятнадцатипфенниговой сигарой, пока не вошла служанка, чтобы зажечь керосиновые лампы. Он был недоволен собой, хотя и не мог объяснить причину своей недавней вспышки. Может быть, его раздражение вызвало то, что священник — пусть и нена-

\* Тоска по родине (нем.).

\*\* Вздор (нем.).

меренно — внес диссонанс в его столь приятные воспоминания. Ну ничего, позднее он найдет подходящий случай, чтобы перед ним извиниться. А сейчас, гонимый нетерпением скорее отправиться в школу, он взял трость и вышел на улицу.

Покидая Gasthaus, он заметил, что священник и человек в твидовом костюме так глубоко поглощены беседой друг с другом, что даже не обратили внимания на то, как он прошел мимо них, приподняв свою шляпу.

Харрис хорошо помнил дорогу и двинулся быстрым шагом, надеясь добраться до деревни вовремя и еще успеть поговорить с кем-нибудь из Братьев. Возможно, его даже пригласят на чашку кофе. Он был уверен, что ему окажут теплый прием, и вновь предался своим воспоминаниям.

Шел восьмой час, из глубины леса тянуло октябрьским холодком. Дорога углублялась в чащу, и через несколько минут его со всех сторон обступили молчаливые темные ели. Стало совсем темно, невозможно было даже разглядеть стволы деревьев. Харрис шел быстрой походкой, помахивая самшитовой тростью. Раза два ему встречались возвращающиеся домой крестьяне. Их гортанное приветствие, казалось, лишь подчеркивало, как много воды утекло за время его отсутствия, и в то же время как будто возвращало его в далекое прошлое. Из леса вновь вышли его бывшие товарищи и пошли с ним рядом, рассказывая о делах тех давних дней. Одно воспоминание следовало по пятам за другим. Харрис знал все повороты дороги, все лесные лужайки, и все они напоминали о чем-нибудь позабытом. Он снова просто упивался своими воспоминаниями.

Он все шел и шел. Небо над ним еще было слегка позолочено, но затем появилась луна, и между землей и звездами заструился слабый серебристый ветерок. Мерцающие верхушки елей тихо перешептывались между собой, когда ветер направлял их иглы в сторону света. Горный воздух томил упительной сладостью. Дорога теперь светлела во мраке, как пенная река. Как безмолвные его мысли, порхали перед ним белые мотыльки; Харриса приветствовали сотни лесных запахов, знакомых еще с тех далеких лет.

И вдруг — когда он этого совсем не ожидал — деревья расступились, и Харрис увидел перед собой окраину деревни.

Он прибавил шагу. Перед ним лежали привычные очертания облитых лунным серебром домов; на маленькой центральной площади, с фонтаном и небольшими зелеными газонами, стояли все те же деревья; рядом с общежитием маячила церковь; а за ней, вдруг разволновавшись, он увидел массивное школьное здание: квадратное и мрачное, окруженное крепостной стеной теней, оно походило на старинный замок.

Харрис быстро прошел по пустынной улице и остановился в тени школы, оглядывая стены, державшие его в плену целых два года — два суровых года непрерывной учебы и постоянной тоски по дому. Самые яркие впечатления юности были тесно связаны именно с этим местом; здесь начал он свою жизнь, здесь учился понимать истинные ценности. Кое-где в домишках светились огни, но ни один звук не нарушал тишину, и когда Харрис поднял глаза на высокие затененные окна школы, ему сразу почудилось, что из окон его приветствуют давние знакомые, хотя на самом деле окна отражали лишь лунный свет да звездное сияние.

Долгое время он молча оглядывал школьное здание — со слепыми окнами, кое-где закрытыми ставнями, с высокой черепичной кровлей, с острыми громоотводами, точно черные персты указующими в небо по всем четырем углам. Наконец, очнувшись, Харрис с радостью заметил, что в окнах Bruderstube\* еще горит свет.

\* Здесь: учительская (нем.).

Свернув с дороги, Харрис вошел в решетчатые железные ворота, поднялся по двенадцати каменным ступеням и оказался перед черной дубовой дверью с тяжелыми запорами — дверью, которую некогда он ненавидел всей ненавистью заключенной в темницу души, но теперь она пробудила в нем чуть ли не юношеский восторг.

Не без некоторой робости дернул он за веревку у двери и с трепетным волнением услышал звон колокольчика в глубине здания. Этот давно забытый звук опять так живо воскресил в его памяти прошлое, что Харрис даже вздрогнул. Казалось, это был тот самый сказочный колокол, звон которого приподнимает занавес Времени и воскрешает мертвецов в их мрачных могилах. Никогда еще Харрис не испытывал прилива такой сентиментальности, как теперь. К нему словно вернулась юность. И в то же время он вдруг вырос в собственных глазах, преисполняясь чувства собственной важности. Он ведь и в самом деле важная персона, явившаяся сюда из мира действия и борьбы. В этом маленьком сонном и мирном местечке он вполне может претендовать на роль значительной особы.

«Позвонить еще раз?» — подумал он после долгой паузы и вновь взялся за веревку, как внутри здания прозвучали шаги и огромная дверь медленно отворилась.

На Харриса молча взирал высокий человек — вид у него был довольно суровый.

— Извините, уже, конечно, поздно, — начал Харрис с легкой напыщенностью, — но я старый ученик школы. Только что с поезда и не мог удержаться, чтобы не зайти, — почему-то сейчас он говорил по-немецки без обычной для него беглости. — Я учился здесь в семидесятых, и мне очень хочется увидеть школу снова.

Высокий человек распахнул дверь пошире, с учтивым поклоном и приветственной улыбкой пропуская Харриса внутрь.

— Я Брат Калькман, — сказал он низким басом. — Как раз преподавал здесь в то время. Встреча с бывшим учеником — всегда большое удовольствие. — Несколько секунд он буравил пришельца своими пронизательными глазами. — Замечательно, что вы пришли, просто замечательно! — добавил он немного погодя.

— О, для меня это удовольствие, — ответил Харрис, обрадованный столь теплым приемом.

Вид тускло освещенного, вымощенного серыми каменными плитами коридора, знакомые учительские нотки в голосе, так свойственные всем Братьям, опять возродили в душе Харриса мифическую атмосферу давно забытых дней. Он с радостью вошел в здание школы — и дверь за ним захлопнулась с тем хорошо знакомым грохотом, который окончательно довершил воскрешение прошлого. К нему опять вернулось уже позабытое чувство заточения, несвободы и мучительной ностальгии, и Харрис с невольным вздохом обернулся к Брату Калькману. Тот слабо улыбнулся ему в ответ и повел за собой по длинному коридору.

— Мальчики уже легли, — сказал Брат Калькман. — Вы, конечно, помните, что здесь рано ложаться и рано встают. Но вы можете присоединиться к нам в учительской и выпить с нами чашечку кофе. — Именно на это наш коммерсант и рассчитывал — он принял предложение с готовностью, которую постарался скрыть за любезной улыбкой. — А завтра, — продолжал Брат, — вы проведете с нами весь день. Возможно, вы даже встретите своих старых знакомых, ибо кое-кто из тогдашних учеников за это время стал учителем.

В глазах Брата на секунду мелькнуло странное, зловещее выражение, но Харрис тут же убедил себя, что это просто тень, отброшенная коридорной лампой. И успокоился.

— Вы очень добры ко мне, — вежливо сказал он. — Вы даже не представляете, какое это удовольствие — вновь побывать здесь. О! —

Харрис приостановился у застекленной поверху двери и заглянул внутрь. — Должно быть, это одна из тех музыкальных комнат, где я учился игре на скрипке? Столько лет прошло, а я до сих пор все помню так живо!

Со снисходительной улыбкой Брат Калькман ждал, пока гость осмотрит все, что ему хочется.

— У вас все еще существует школьный оркестр? Я играл в нем вторую скрипку. Тогда пианировал сам Брат Шлиман. Как сейчас вижу его перед собой — длинные черные волосы и... и... — Он запнулся: на суровом лице его спутника опять мелькнуло все то же странное, зловещее выражение, и на какой-то миг оно показалось Харрису необычайно знакомым.

— Да, школьный оркестр по-прежнему существует, — сказал Брат Калькман. — Но, к величайшему прискорбию, Брат Шлиман... Брат Шлиман покинул сей мир, — чуть помедлив, закончил он.

— В самом деле? — откликнулся Харрис. — Как жаль! — И тут его кольнуло смутное беспокойство, вызванное то ли известием о кончине его старого учителя музыки, то ли какой другой, пока непонятной ему причиной. Он глянул вдоль коридора, терявшегося вдаль среди теней. Странное дело, на улице и в деревне все казалось ему гораздо меньше, чем помнилось, а здесь, в школьном здании, наоборот, — все было гораздо больше. Коридор, например, выше и длиннее, шире и просторнее, чем в его памяти.

Подняв глаза, он увидел, что Брат Калькман наблюдает за ним со снисходительной, терпеливой улыбкой.

— Я вижу, ваши воспоминания подавляют вас, — заметил Брат Калькман с неожиданной кротостью, и в его суровом взгляде появилось что-то похожее на жалость.

— Вы правы, — ответил коммерсант, — воспоминания в самом деле подавляют меня. В каком-то смысле то был самый удивительный период в моей жизни. Хотя я и ненавижу в ту пору... — Он запнулся, боясь ранить чувства собеседника.

— Вероятно, по английским понятиям, здешнее воспитание кажется очень строгим, — как бы извиняя его, сказал Брат.

— Да, верно, но дело не только в этом, а и в ностальгии, и в том чувстве одиночества, которое возникает, когда ты постоянно в людском окружении. В английских школах, вы знаете, ученики пользуются достаточной свободой.

Харрис заметил, что Брат Калькман внимательно слушает его.

— Но это воспитание все же дало один хороший результат, — с некоторым смущением продолжал Харрис, — за что я ему и благодарен.

— Какой же?

— Пережитые страдания заставили меня всей душой обратиться к вашей религиозной жизни; я искал духовного удовлетворения, которое только и может принести полный покой. Все два года моего здесь пребывания я, хотя и по-детски, стремился к постижению Бога. Более того, я никогда уже не утратил обретенного здесь чувства покоя и внутренней радости. Я никогда не забуду ни этой школы, ни тех глубоких принципов, которые мне здесь внушили.

Последовала короткая пауза. Харрис опасался, что сказал больше, чем следовало, или, может быть, недостаточно ясно выразил свои мысли на чужом языке, и невольно вздрогнул, когда Брат Калькман положил ему на плечо свою руку.

— Воспоминания и впрямь подавляют меня, — добавил он извиняющимся тоном. — Этот длинный коридор, эти комнаты, эта мрачная решетчатая дверь затрагивают во мне струны, которые... которые... — Здесь немецкий язык изменил ему, и, запнувшись, Харрис с улыбкой

развел руками, словно в чем-то оправдывался. Брат Калькман убрал свою руку с его плеча и, повернувшись к Харрису спиной, снова глянул в глубь коридора.

— Естественно, естественно,— торопливо пробормотал он.— Само собой разумеется. Мы все вас пойдем.

Когда он обернулся, Харрис заметил на его лице выражение, еще более странное и зловещее, чем прежде. Конечно, то могла быть всего лишь игра теней в неверном свете ламп, ибо, едва они пошли дальше, выражение это исчезло с лица Брата Калькмана, и англичанин подумал, что, возможно, он сказал что-то лишнее, что задело чувства собеседника.

Перед дверью *Bruderstube* они остановились. Было уже действительно поздно, и Харрис пожалел, что так долго проболтал в коридоре. Ему вдруг захотелось сейчас же вернуться в *Gasthaus*, но Брат Калькман и слышать не хотел о его уходе.

— Вы должны выпить с нами чашечку кофе,— сказал он, и в голосе его прозвучали повелительные нотки.— Мои коллеги будут весьма рады вам. Возможно, кое-кто вас еще помнит.

Из-за двери слышался приятный оживленный гомон. Брат Калькман повернул дверную ручку, и они вошли в ярко освещенную, полную людей комнату.

— Как ваше имя? — шепотом спросил Калькман, наклонившись к Харрису, чтобы получше расслышать ответ.— Вы так и не представились.

— Харрис,—быстро ответил англичанин. Переступая порог *Bruderstube*, он вдруг сильно занервничал, но приписал свое волнение тому, что нарушил строжайшее правило заведения — ученикам строго-настрого запрещалось входить в эту святая святых, где в короткие минуты отдыха собирались учителя.

— О да, Харрис! — воскликнул Брат Калькман, словно сам вспомнил его имя. — Входите, герр Харрис, пожалуйста, входите. Мы глубоко тронуты вашим визитом. Просто замечательно, что вы решили посетить нас!

Дверь за ними затворилась; ослепленный ярким светом, слегка растерянный, Харрис не обратил особого внимания на преувеличенное изъяснение радости, встретившее его приход. Представляя его присутствующим, Брат Калькман говорил слишком, пожалуй даже неестественно, громко:

— Братья! Я имею высокую честь и удовольствие представить вам герра Харриса из Англии. Он решил нанести нам короткий визит, и от нашего общего имени я уже выразил ему нашу признательность. Как вы помните, он учился здесь в семидесятых.

Это было типично немецкое, чисто формальное представление. Харрису, однако, оно польстило. Он почувствовал себя важной персоной и оценил такт, с которым ему дали понять, что его будто бы даже ждали.

Присутствующие — все в черных сюртуках — встали и поклонились ему. Раскланялись и Харрис, и Калькман. Все были чрезвычайно любезны и обходительны.

После коридорной полутьмы свет еще слепил глаза Харрису; он смутно различал в сигаретном дыму лица людей. Сев на предложенный ему стул между двумя Братьями, он отметил про себя, что наблюдательность его утратила обычно свойственные ей остроту и точность. Видимо, слишком сильно все еще действовало очарование прошлого, так странно смещавшее временные пропорции: в одну минуту настроение Харриса как будто вобрало в себя все настроения его далекого отрочества.

Усилием воли Харрис взял себя в руки и присоединился к общей



беседе. Она доставляла ему удовольствие: Братья — в этой маленькой комнате их был добрый десяток — обращались с ним так приветливо, так по-свойски, что он быстро почувствовал себя своим в их кружке. И это тоже вызвало у него легкое головокружение. Казалось, где-то далеко позади оставил он алчный, вульгарный, корыстолюбивый мир рынков, прибыльных сделок, торговли шелками и вступил в иной — в тот, где превыше всего ценят духовное, где жизнь отличается благочестием и простотой. Это так обрадовало Харриса, что он вдруг — в какой-то мере — осознал, что все тридцать лет занятия коммерцией вели его к духовной деградации. А эта высокая атмосфера, где люди заботятся лишь о собственной душе и душах своих ближних, была слишком утонченной для того мира, где протекает теперь его жизнь. Сравнения, сделанные им, оказались не в его, Харриса, пользу: маленький мечтатель-мистик, тридцать лет назад вышедший из этой суровой и мирной обители, куда как отличался от того светского человека, каким он стал; и это вызвало в Харрисе острое сожаление, даже что-то вроде презрения к самому себе.

Он обвел взглядом присутствующих: лица плавали в табачном дыму, в столь памятном ему пряном сигарном дыму; все это были пронизательные, умиротворенные люди, одухотворенные великими благородными идеалами, бескорыстным служением добру. Особенно внимание Харриса привлекли — он и сам не знал почему, — некоторые из них. Они просто обворожили его. Чувствовалось в них что-то очень строгое, бескомпромиссное и в то же время странно, неуловимо знакомое. В их взглядах Харрис читал бесспорное доброжелательство, а в некоторых даже что-то похожее на восхищение — смесь обычного уважения и глубокого почтения. Это выражавшееся в их взглядах почтение особенно льстило его тщеславию.

Вскоре подали кофе; приготовил его черноволосый Брат, сидевший в углу за пианино и разительно похожий на Брата Шлимана, их учителя музыки. Принимая из его белых и тонких, как у женщины, рук чашку, Харрис обменялся с ним поклонами. Он закурил сигарету, предложенную ему соседом, с которым у него шел оживленный разговор и который сильно напоминал ему Брата Пагеля, их классного наставника.

— Просто удивительно, — сказал Харрис, — как много знакомых лиц, если только это мне не кажется! Очень любопытно!

— Да, — ответил черноволосый Брат, глядя на него поверх чашечки с кофе. — Это место обладает поистине магическим свойством. Могу себе представить, что перед вашим мысленным оком встают хорошо знакомые лица, всецело заслоняющие нас, здесь присутствующих.

Они оба улыбнулись. Радостно сознавать, что тебя так хорошо понимают и ценят. И они заговорили о горной деревне, о ее уединенности от суетного мира, о том, что это особенно способствует совершенно особым благочестивым размышлениям, молитве и духовному саморазвитию.

— Ваш приход, герр Харрис, всех нас очень порадовал, — подхватил другой Брат, сосед слева. — Мы это ценим и весьма вас чтим.

Харрис махнул рукой.

— Боюсь, я лишь эгоистически думал о собственном удовольствии, — сказал он с елейной учтивостью.

— Пожалуй, не у всех хватило бы на такое мужества, — заметил двойник Брата Пагеля.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Харрис, слегка озадаченный. — Что бремя воспоминаний может оказаться слишком тяжелым?

Брат Пагель посмотрел на него в упор — во взгляде все то же восхищение и уважение.

— Я хочу сказать, — ответил он серьезно, — что большинство лю-

дей слишком дорожит своей жизнью и не хочет пожертвовать ею ради своих религиозных убеждений.

Англичанин несколько сконфузился: эти достойные люди слишком уж высоко оценивают его сентиментальное путешествие; разговор становился все менее доступным его пониманию: смысл его от Харриса ускользал.

— Но мирская жизнь все еще сохраняет для меня свою привлекательность,— улыбнулся он.

— Тем более мы ценим, что пришли вы сюда по доброй воле,— сказал Брат слева.— И без каких бы то ни было условий.

Последовала пауза; торговец шелками с облегчением вздохнул, когда разговор изменил направление, хотя время от времени разговор так или иначе все же возвращался к одному: к посещению Харрисом школы и к удобному местоположению этой одинокой деревни для желающих развивать свои духовные способности, для тех, кто предан высокому поклонению.

В разговоре участвовали все Братья. Они хвалили Харриса за блистательное знание немецкого языка. Харрис вновь почувствовал себя легко и непринужденно, хотя его и смущал избыток восхищения им: в конце концов, он просто совершил сентиментальное путешествие, и все.

Время летело; кофе был превосходный, сигары — того мягкого, бархатистого вкуса, который Харрис особенно любил. Наконец, чувствуя, что слишком засиделся, Харрис нехотя встал, собираясь проститься. Но никто и слышать не хотел об этом. Не так уж часто прежние ученики заглядывают вот так запросто, без всяких церемоний. Да и не так уж поздно. В случае надобности ему отведут уголок в большой Schlafzimmer\* наверху. И Харриса без труда уговорили остаться еще на некоторое время. Как-то нечаянно он опять оказался в самом центре внимания, и опять был этим весьма польщен: в самом деле, такой прием — большая для него честь!

— А теперь,— возгласил Калькман,— быть может, Брат Шлиман сыграет что-нибудь для нас?!

Харрис вздрогнул, услышав это имя и увидев черноволосого Брата за пианино, с улыбкой обернувшегося к присутствующим: его умершего учителя музыки тоже звали Шлиманом! Возможно, это его сын? Поразительное сходство!

— Если Брат Мейер не уложил еще свою Амати спать, я могу ему саккомпанировать,— предложил музыкант, глядя на человека, как две капли воды похожего на другого учителя Харриса и с точно таким же именем.

Мейер поднялся из-за стола с легким поклоном, и англичанин заметил, что шея его как-то неестественно соединена с телом — даже страшно стало, как бы не сломалась. Тот старый Мейер кланялся точно так же. Ученики частенько передразнивали его.

Харрис быстро обвел взглядом лица присутствующих. У него было чувство, будто на его глазах происходит нечто такое, что безмолвно и незримо преобразует их всех: все Братья показались ему вдруг странно знакомыми. Брат Пагель, с которым он разговаривал только что, совершенно походил на его прежнего классного наставника Пагеля; Калькман, только сейчас осознал он это, был как две капли воды похож на учителя, чье имя выветрилось из его памяти, но кого он терпеть не мог в те давние времена. Сквозь табачный дым на Харриса со всех сторон смотрели знакомые ему еще со времен отрочества Братья: Рёст, Флюхайм, Майнерт, Ригель, Гисин . . .

\* Спальня (нем.).

Это не могло не насторожить Харриса, и он стал внимательнее присматриваться к окружающим, и чем внимательнее он вглядывался в лица, тем больше убеждался, что все они — странные подобиya, как бы призраки давних его учителей. Подобравшись умственно и физически, Харрис постарался разогнать вокруг себя дым и, к своему смущению, увидел, что за ним пристально наблюдают. Все до одного.

Зазвучала музыка. Длинные белые пальцы Брата Шлимана ласково прохаживались по клавишам. Харрис откинулся на спинку стула, продолжая курить, полусомкнув веки, однако ничего не упуская из виду. Все его тело пронизывала дрожь, и он ничего не мог с этим поделать. Подобно тому, как приречный городок в самой глубине страны ощущает присутствие далекого моря, так и он подсознательно ощущал, что в этой маленькой дымной комнате против его души ополчились могучие, но неведомые ему силы.

Слушая музыку, он чувствовал, как ум его проясняется, как с глаз его будто спадает пелена. Он вдруг вспомнил слова священника в железнодорожной гостинице: «Вы убедитесь, что она сильно изменилась, эта ваша школа». И, сам не зная почему, он увидел вдруг перед собой проницательные глаза постояльца, слышавшего их разговор со священником, а затем долго беседовавшего с тем в коридоре. Харрис тайком вынул свои карманные часы. Было одиннадцать. Прошло уже два часа с тех пор, как он здесь.

Шлиман между тем, весь отдавшись музыке, продолжал играть какую-то торжественную мелодию. Пианино звучало великолепно. Сила и простота великого убеждения, великого искусства, могучий зов обретшей себя души — все это находило выражение в раскатистых аккордах, но, странное, необъяснимое дело, музыка воспринималась как дьявольски отвратительная, богомерзкая. Харрис не мог вспомнить этого произведения, но, судя по его мощи и мрачному напору, оно, скорее всего, принадлежало Массу. Музыка оставляла на лицах слушателей печать тех могущественных сил, чьим слышимым символом она являлась. Все окружение Харриса приняло зловещий — и не просто зловещий, а исполненный темной угрозы — облик. Харрис вдруг вспомнил, какая мерзкая физиономия была у Брата Калькмана в коридоре. Да, в глазах Братьев, в их лицах явственно читались их тайные побуждения: эти лица — как черные флаги, что выкинула толпа отъявленных, неисправимо падших негодяев. И вдруг в мозгу Харриса проступило начертанное огненными буквами слово: ДЕМОНЫ.

Это неожиданное открытие лишило его всякого хладнокровия. Не обдумав и не осознав его как следует, Харрис совершил чрезвычайно глупый, хотя и вполне объяснимый для любого, кто оказался бы на его месте, поступок: так как внутреннее напряжение неудержимо толкало Харриса к действию, он вскочил и завопил! Да, он вскочил и завопил, к своему крайнему изумлению.

Но никто вокруг даже не шелохнулся. Никто не обратил внимания на его столь дику выходку. Казалось, кроме него самого, никто даже и не слышал этого вопля — то ли отчаянный крик потонул в громких раскатах музыки, то ли кричал он негромко, то ли вообще не кричал.

Глядя на неподвижные, темные физиономии, Харрис почувствовал, что все его существо затопил леденящий ужас. Все остальные чувства схлынули, как море во время отлива. Он снова сел, сгорая от стыда за свою глупую детскую выходку. А из-под белых змеиных пальцев Брата Шлимана, как отравленное вино из древнего фиала, все лилась и лилась музыка.

И вместе со всеми остальными Харрис пил ее.

Когда Шлиман кончил играть, все заплодировали и разом заговорили; Братья смеялись, пересаживались, хвалили игру Шлимана —

словом, вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Все они снова обрели свой нормальный облик, столпились вокруг гостя, и Харрис кое-как включился в общий разговор и даже нашел в себе силы поблагодарить замечательного пианиста, старательно убеждая себя в том, что стал жертвой странной галлюцинации.

Все это время, однако, он все ближе подбирался к двери и, наконец, решительно заявил:

— Я должен тысячу раз поблагодарить всех вас за теплый прием и за доставленное мне удовольствие, а также за высокую честь, которую вы мне оказали. Но я слишком долго злоупотреблял вашим гостеприимством. К тому же мне предстоит еще долгий путь, прежде чем я доберусь до гостиницы.

Братья запротестовали хором: они и слышать не хотят о том, что он может уйти — уж, по крайней мере, он поужинает вместе с ними! Из одного буфета достали пумперникель\*, из другого — колбасу. Сварили еще кофе, закурили новые сигары. Брат Мейер вынул свою скрипку и начал ее настраивать.

— Если герр Харрис пожелает заночевать, — сказал кто-то, — наверху есть свободная кровать.

— К тому же и выйти отсюда не так-то просто — все двери закрыты, — рассмеялся другой.

— Надо пользоваться простыми радостями жизни, — воскликнул третий. — Брат Харрис, конечно же, поймет, как высоко мы оцениваем его последний визит.

Они все отговаривали его и при этом смеялись, будто вежливость была лишь уловкой, а слова — тонкой — очень тонкой — завесой, скрывающей их истинное значение.

— Уж близится полночь, — с чарующей улыбкой, но голосом отвлеченным, как скрип ржавых петель, сказал Брат Калькман.

Их речь становилась все более трудной для понимания. Харрис заметил, что его стали называть «Братом», тем самым как бы причислив к своим.

И тут его осенило: весь дрожа, он вдруг понял, что неправильно, совершенно неправильно истолковывает смысл всего, что здесь говорится и что было сказано прежде. Говоря о красоте этого места, о его уединенности от суетного мира, об особой его пригодности для некоторых видов духовного развития и поклонения, они, как он теперь осознал, вкладывали в эти слова совершенно иной смысл, нежели он. Их понятия о духовной силе, одиночестве и поклонении вовсе не соответствовали его понятиям. Ему навязывают роль в каком-то чудовищном маскараде; он находится среди тех, кто облачается в тогу религии, чтобы следовать своим собственным тайным целям.

Но что все это означает? Каким образом попал он в столь двусмысленное положение? Случайно или по собственной глупости? Или его намеренно заманили в западню? Мысли путались, а уверенность Харриса в себе сильно поколебалась. Почему его приход произвел на Братьев столь глубокое впечатление? Почему они так восхищены этим обыкновенным его поступком и так восхваляют его? Почему с таким восторгом говорят о его мужестве, о его «добровольном, без каких бы то ни было условий, самопожертвовании»?

И вновь ужасный страх стиснул клещами его сердце, ибо Харрис не находил ответа ни на один из этих вопросов. Лишь одно уяснил он совершенно определенно: их цель — любыми средствами задержать его здесь.

С этого момента Харрис был убежден: все Братья — гнусные, отвратительные существа, злоумышляющие против него самого и его

\* Пумперникель — хлеб из грубой непросеянной ржаной муки.

жизни. Недавно брошенная кем-то фраза — «этот *последний* его визит» — вспыхнула в мозгу Харриса огненными буквами.

Харрис не был человеком действия и никогда еще, на протяжении своей карьеры, не оказывался в опасном, по-настоящему опасном, положении. Быть может, он и не лишен был храбрости, но ему никогда еще не приходилось испытывать свою храбрость на деле. А дело предстояло иметь с людьми, готовыми на все. Он лишь смутно угадывал, каковы их истинные намерения. Он был в слишком большом смятении, чтобы рассуждать логически и последовательно, — он способен был только слепо следовать наиболее сильным своим инстинктам. Ни на миг не пришла ему в голову мысль, что все Братья — сумасшедшие или что он сам лишился рассудка. Его мозг сверлила одна-единственная мысль: бежать — и как можно скорее!

Поэтому, перестав протестовать, Харрис съел свой пумперникель и выпил кофе, стараясь по-прежнему поддерживать разговор. Затем встал, еще раз попрощался со всеми, испытывая непреодолимое отращение ко всему вокруг.

Говорил он спокойно, но решительно. Никто из слушателей не мог бы усомниться теперь в серьезности его намерения. И на этот раз он уж было подошел к самой двери.

— Сожалею, что наш приятный вечер подошел к концу, — тщательно подбирая немецкие слова, обратился он к притихшим Братьям, — но я должен пожелать всем вам спокойной ночи. — Эта его речь была встречена глухим молчанием, и Харрис добавил, уже с меньшей уверенностью: — Я искренне благодарен вам за ваше гостеприимство.

— Да нет же! — поспешно откликнулся Калькман, вскакивая со стула и делая вид, что не замечает протянутой ему руки. — Это мы должны благодарить вас, что мы и делаем от всего сердца!

И в тот же миг по меньшей мере полдюжины Братев отрезало Харрису путь к бегству. Брат Шлиман проворно пересек комнату и встал перед ним. Видно было, что настроен он весьма решительно — лицо его приняло злобное, угрожающее выражение.

— Вы оказались здесь отнюдь не случайно, Брат Харрис, — громко произнес он. — Я не сомневаюсь, что все мы правильно поняли цель вашего визита. — Он приподнял свои черные брови.

— Нет, нет, — поспешил с ответом англичанин. — Я был... я рад, что побывал здесь. Я уже говорил, какое удовольствие доставило мне общение с вами. Прошу, поймите меня правильно. — Голос его дрогнул, теперь он с трудом подбирал слова. Более того, с трудом понимал и их речи.

— Разумеется, мы все правильно поняли, — вмешался Брат Калькман своим железным басом. — Вы явились сюда как воплощение духа истинного, бескорыстного самопожертвования. Вы предлагаете себя по доброй воле, и мы это ценим. Именно ваша добрая воля и благородство полностью завоевали наше уважение и тот почет... — В комнате послышался негромкий гул одобрения. — Мы восхищены — и особенно Великий Хозяин — вашей бескорыстной и добровольной...

Он употребил слово «Orfer», которого Харрис не понял. Тщетно обшаривал он закоулки своей памяти в поисках его значения. Перевод не давался. И все же, хотя Харрис и не понял этого слова, оно неприятно холодило душу. Оказывается, дело обстоит хуже, куда хуже, чем он предполагал! Он почувствовал себя совершенно беспомощным и с этого мгновения потерял всякое желание бороться.

— Как это великолепно — быть добровольной... — со зловещей усмешкой добавил Шлиман, подбираясь поближе. И он тоже употребил это слово «Orfer».

Боже! Да что оно означает, это слово?! Вы предлагаете себя... Воплощение духа истинного бескорыстного самопожертвования... Доб-

ровольная... бескорыстная... великолепная... Opfer, Opfer, Opfer... Что, во имя всего святого, означает это странное, таинственное слово, таким ужасом захлестывающее сердце?

Он постарался взять себя в руки, вернуть себе присутствие духа. Обернувшись, увидел смертельно бледное лицо Калькмана. Калькман — это-то он хорошо понимает! — Калькман означает «Человек из мела». Но что означает Opfer? Это слово и есть ключ к тому, что с ним происходит! Через смятенный рассудок Харриса бесконечным потоком текли необычные редкие слова, которые он, возможно, и слышал-то всего раз в жизни, но значение довольно часто встречающегося слова Opfer по-прежнему ускользало. Какое-то наваждение!

Тут Калькман — лицо его выражало совершенную непреклонность — тихо произнес несколько слов, которых Харрис не расслышал, и стоявшие у стен Братья тотчас подкрутили в керосиновых лампах фитили. В полутьме Харрис теперь едва мог различать лица.

— Пора! — услышал он беспощадный голос Калькмана. — Скоро полночь. Готовьтесь же к приходу Брата Асмодея — он идет, он идет! — прозвучало как песнопение.

На Харриса произнесенное имя навело непреодолимый ужас: он дрожал с головы до ног. Как удар грома было это имя; гром отгремел — и воцарилась полная тишина. Магические силы на его глазах преображали обыденный мир в мир ужаса; Харрис почувствовал, что вот-вот потеряет сознание.

*Асмодей! Асмодей!* — имя замораживало кровь. Наконец-то Харрис понял, кому оно принадлежит. И в тот же миг вспомнил значение забытого им слова Opfer\*: как послание смерти было оно.

Харрис хотел попробовать еще раз пробиться к двери, но куда там — ноги не слушались, а черные фигуры с таким решительным видом преграждали ему путь, что он тут же оставил это свое намерение. Следующим его побуждением было позвать кого-то на помощь, но, вспомнив, что здание школы стоит на отшибе и что кроме них здесь никого нет, он отказался и от этого намерения. Он стоял неподвижно. Но теперь знал, что ему угрожает.

Двое Братьев бережно взяли его за руки.

— Брат Асмодей принимает тебя, — шепнули они. — Но готовы ты?

Ему удалось обрести дар речи:

— Какое отношение имею я к Брату Асм... Асмо...? — Он запнулся и не мог больше вымолвить ни звука. Хотя с языка его рвался отчаянный поток слов, уста отказывались произнести это имя. Он просто не мог этого сделать. Не мог — и все тут. Это усугубило ужасное смятение в его голове.

«Я пришел сюда с дружеским визитом», — хотел он сказать, но, к своему крайнему удивлению, произнес нечто совершенно другое, произнес, употребив то же самое слово, что и они:

— Я явился сюда как добровольная жертва, и я вполне готов.

Вот теперь он окончательно погиб! Не только его мозг, но и все мышцы его тела отказывались ему повиноваться. Он чувствовал, что находится у самого входа в мир фантомов, или демонов, имя Всемогущего Повелителя которого они называют.

Все дальнейшее происходило как в кошмарном сне.

— В том полусвете, что обволакивает собой истину, приготовьтесь к высшему поклонению, — пропел Шлиман.

— В том тумане, что занавешивает наши лица перед Черным Троном, приготовим добровольную жертву, — откликнулся басом Калькман.

\* Жертва (нем.).

Они оба подняли лица, прислушиваясь к могучему, похожему на рев пролетающих снарядов, звуку, который ширился и рос вдалеке, — удивительному, грозному звуку.

— Он идет! Он идет! Он идет! — хором пропели Братья.

Неистовый рев внезапно прекратился, повсюду распространились тишина и леденящий холод. И тогда Калькман — лицо у него было темное и беспощадное — повернулся к остальным.

— Асмодей, наш Главный Брат, уже совсем рядом, — крикнул он вдруг звонким, как сталь, голосом.

Некоторое время все стояли молча — никто не шевельнулся, никто не проронил ни звука. Затем один из Братьев приблизился было к англичанину, но Калькман предостерегающе поднял руку:

— Не завязывайте ему глаза — он добровольно приносит себя в жертву и потому заслуживает такой чести. — Только тут Харрис, к своему ужасу, осознал, что руки его уже связаны.

Брат молча отошел прочь; окружающие опустились на колени, в экстазе выкликая имя Существа, чьего появления они так ждали; Харрис остался стоять, с омерзением и страхом слушая их громкие призывы.

И вот стена в дальнем конце комнаты исчезла, и на фоне усыпанного звездами ночного неба Харрис увидел очертания громадной и ужасной человеческой фигуры. Облитая тусклым сиянием, она походила на статую в стальных латах — подавляющую своим величием и великолепием; и в то же время от всего облика Главного Брата веяло таким духовным могуществом и такой гордой, суровой тоской, что Харрис почувствовал: это зрелище не для его глаз, еще немного — и зрение откажет ему, и он провалится в Ничто, в Полную Пустоту.

Фигура высилась так недоступно далеко, что истинные ее размеры определить было невозможно; и в то же время она была так странно близка, что тусклое сияние, исходившее от ее скорбного, грозного лица, струилось прямо Харрису в душу; казалось, это пульсирует некая темная звезда, облеченная всем могуществом духовного Зла; у Харриса было ощущение, будто этот ужасный лик находится в такой же близости от него, как и лица окружающих его Братьев.

Вскоре комната наполнилась жалобными стонами, Харрис понял: это стенают его многочисленные предшественники. Сначала послышался пронзительный вопль человека, задыхающегося в предсмертной агонии, но даже и в этот свой последний миг восславляющего имя темного Существа, которое благосклонно внимало этому восхвалению. В комнате, где Харрис стоял беспомощным пленником, готовой к ритуальному заклятию жертвой, от стены к стене замечались отрывистые крики и хрипы удушаемых. И самое страшное было в том, что стенали не только их сломленные тела, но и их измученные, сломленные души. По мере того, как то тише, то громче звучал этот душераздирающий хор, вырисовывались и лица самих страдальцев — на фоне бледного сероватого сияния Харрис увидел вереницу проплывающих мимо бледных, жалких человеческих лиц, манивших его к себе нечленораздельной речью, словно он уже был одним из них.

После окончания этой скорбной процессии гигант медленно спустился с небес и приблизился к комнате, где находились его поклонники и пленник. В наступившей темноте вокруг Харриса сновали чьи-то руки, он чувствовал, что его переодевают. Кто-то надел ему на голову венец, кто-то туго затянул на нем пояс. И наконец кто-то обвил его шею чем-то тонким и шелковистым, и он даже в этой темноте, без единого проблеска, понял, что эта удавка — символ Жертвоприношения и Смерти. В этот момент распростертые на полу Братья завели свое печальное и страстное песнопение. Не двигаясь и не меняя своего положения, огромная фигура вдруг оказалась внутри комнаты, почти ря-

дом с Харрисом, заполнив собой все узкое пространство. Харрис уже не ощущал страха в обычном понимании этого слова. Из всех чувств у него осталось лишь предвкушение Смерти — Смерти души. Он уже не помышлял о спасении. Конец близок, и он это знал.

Вокруг Харриса поднялась волна распевно взывающих голосов:

— Мы чтим тебя! Мы поклоняемся тебе! Мы предлагаем тебе жертву!

Эти слова — Харрис воспринимал их как набор бессмысленных звуков — заполнили его уши, замолотили по его голове.

Величественный лик все так же медленно приблизился к нему почти вплотную, вбирая в себя своими скорбными глазами его душу. В тот же миг дюжина рук заставила Харриса опуститься на колени; он увидел над собой руку Калькмана и почувствовал, что удавка затягивается.

В этот ужасный миг, когда он уже лишился всякой надежды на чью-либо помощь, свершилось чудо: перед его угасающим испуганным взором, как луч света, совершенно неожиданно возникло лицо постояльца, что во время ужина в гостинице сидел за дальним концом стола. И одно только представление этого волевого, энергичного, здорового лица вселило в Харриса утраченное мужество.

Это было короткое и, как полагал Харрис, предсмертное видение, но каким-то необъяснимым образом оно пробудило в нем надежду и даже наполнило его уверенностью в своем спасении. Такое волевое, исполненное простоты и благодати лицо некогда можно было встретить на берегах Галилеи; человек с таким лицом, вдохновляемый Небом, мог победить даже дьяволов из надмирного пространства.

И в последнем отчаянии Харрис всем своим существом воззвал к нему. В это решающее мгновение он вдруг снова обрел голос, хотя и не сознавал, что именно кричит и на каком языке — немецком или английском. Эффект, однако, последовал мгновенно. Братья все поняли, все поняла и серая фигура — воплощение Зла.

Воцарилось ужасающее смятение. Раздался оглушительный грохот — казалось, содрогнулась сама земля. Однако впоследствии Харрис мог вспомнить только отчаянные крики Братьев, охваченных невероятной тревогой.

— Среди нас могущественный человек! Божий человек!

Снова раздался оглушительный рев — будто в воздухе над ними проносились снаряды, — и Харрис в беспамятом состоянии рухнул на пол.

Он очнулся от холода. Лежал он под открытым небом, а со стороны леса дул пронизывающий ветер.

Харрис сел и осмотрелся. Воспоминание о недавно происшедшем с ним было ужасающе свежо в его памяти. Но что это... никаких стен вокруг него нет, нет и потолка. Ни ламп с повернутыми фитилями, ни сигарного дыма, ни черных фигур, ни грозной серой фигуры.

Вокруг простиралось открытое пространство; Харрис сидел на груде кирпичей и штукатурки, его одежда была пропитана росой, над головой ярко сверкали дружелюбные звезды. Избитый и глубоко потрясенный, сидел он на обломках разрушенного здания.

Встав, он огляделся еще раз: в туманной дали виднеется окружающий его со всех сторон лес, неподалеку стоят темные деревенские домишки. Но под ногами — вне всякого сомнения — обломки давно разрушенного здания: кирпичи почернели, стропила полуобгорели-полупрогнили.

Итак, он стоит посреди руин Бог знает когда сгоревшего, обвалившегося здания; заросли крапивы — убедительное свидетельство: здание перестало существовать много лет тому назад.

Луна уже села за лесом, но звездное небо достаточно хорошо позволяло видеть все вокруг.



Из мрака выступил человек, и, приглядевшись, Харрис узнал в нем того самого незнакомца, которого встретил в гостинице.

— Живой ли вы? — спросил Харрис голосом, очень мало похожим на его собственный.

— Конечно, живой! И более того — ваш друг, — ответил незнакомец. — Я пришел сюда следом за вами.

Несколько минут Харрис молча взирал на незнакомца. Его зубы против воли продолжали выбивать дробь. Но простые слова, сказанные на его родном языке, и тон, каким они были произнесены, благотворно подействовали на его нервы.

— Слава Богу, вы тоже англичанин! Эти немецкие дьяволы... — запнувшись, Харрис приложил руку к глазам. — Но что с ними стало? Что стало с комнатой и... и... — Он боязливо ощупал свое горло. И, ощупав, испустил долгий-долгий вздох облегчения. — Неужели мне все это приснилось?

Незнакомец подошел поближе и взял дико озирающегося Харриса под руку.

— Пойдемте отсюда, — сказал он ласково, но повелительно. — В пути вам непременно станет лучше, ибо мы стоим сейчас на одном из самых заколдованных и ужасных мест в мире!

Незнакомец помог Харрису перебраться через груды битого кирпича и вывел его на поросшую высокой секучей крапивой тропу.

Харрис шел как во сне. Миновав искореженные железные ворота, они вышли на дорогу, белевшую в лунном свете. Только тогда Харрис собрался с духом и оглянулся.

— Что же это было? — воскликнул он все еще дрожащим голосом. — Как такое могло случиться? Когда я пришел сюда, я своими глазами видел здание школы в лунном свете. Мне открыли дверь. Я видел людей, слышал их голоса, пожимал им руки и видел их проклятые черные рожи — куда яснее, чем вижу сейчас вас. — Харрис был в глубоком смятении. Виденное все еще стояло перед его глазами, оно было куда реальней обычной реальности. Неужели все это — иллюзия?

И только тогда до его сознания дошли слова незнакомца, плохо слышанные и понятые им несколько минут назад.

— Вы говорите, это заколдованное место? — спросил он, глядя на незнакомца в упор. И, остановившись посреди дороги, стал вглядываться во тьму: именно отсюда старая школа предстала его взору впервые.

Но незнакомец поторопил Харриса:

— Мы сможем поговорить в большей безопасности, когда отойдем подальше отсюда. Я последовал за вами в ту самую минуту, когда понял, что вы ушли. Когда я нашел вас, было одиннадцать.

— Одиннадцать? — вздрогнув, переспросил Харрис.

— Да. Я увидел, как вы упали. Дождался, пока вы придете в себя, а теперь... теперь я отведу вас в гостиницу... Я сумел разорвать сплетение колдовских чар!

— Я перед вами в большом долгу, сэр, — сказал Харрис, начиная понимать, что сделал для него незнакомец. — Но я ничего не соображаю: в голове страшная сумятица. — Он все еще сильно дрожал и заметил, что судорожно цепляется за руку своего спутника.

Миновав пустынную, полуразрушенную деревню, они пошли по большаку через лес.

— Эта школа разрушена давно, уже десять лет, — сказал незнакомец. — Спалена по приказу старейшин общины. С тех самых пор в деревне никто не живет. Но ужасные события, происходившие в те дни под крышей школы, все еще продолжаются. И двойники, призраки главных участников тех событий, все еще творят свои дьявольские дела — те самые, что когда-то и привели к трагедии.

На лбу Харриса выступили крупные капли пота — их никак нельзя было объяснить неторопливой прогулкой по предутреннему лесу. Хотя Харрис видел идущего рядом с ним человека едва ли не впервые и ни одним словом не обменялся с ним в гостинице, тот внушал ему чувство глубокого доверия, безопасности и спокойствия — самые целительные для него чувства после пережитого. Но Харрис все еще был как во сне, хотя и слышал каждое слово, произнесенное спутником (только на следующий день сумел он осознать всю важность услышанного). А пока присутствие человека с удивительными глазами, чей взгляд он физически ощущал на себе в темноте, оказывало на его потрясенную душу самое благотворное влияние. Харрис не задумывался, сколь странным и своевременным было появление незнакомца у разрушенной школы. Ему даже в голову не пришло спросить его имя или хотя бы пригадаться: почему один турист так заботится о другом? Он просто шел бок о бок с ним, вслушивался в его спокойную речь, в такие нужные ему после недавнего испытания слова поддержки. Лишь однажды, смутно припомнив где-то вычитанное, Харрис повернулся к своему спутнику и, почти помимо своей воли, спросил:

— Уж не розенкрейцер ли вы, сэр?

Однако незнакомец то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не слышит вопроса — он продолжал говорить, точно Харрис и не прерывал его. Они все шли и шли через лес; и вдруг воображению Харриса явилась знакомая с детских лет картина борения Иакова с ангелом: всю ночь боролся Иаков с существом, превосходившим его силой, пока не вобрал всю эту силу в себя.

— На мысль об угрожающей вам беде меня навела ваша беседа со священником, — спокойно звучал из темноты голос идущего рядом. — После вашего ухода я узнал от него о дьяволопоклонении, тайно утвердившемся в сердце этой простой и набожной маленькой общины.

— Дьяволопоклонение? Здесь? — в ужасе пробормотал Харрис.

— Да, здесь. Группа Братьев предавалась ему несколько лет, пока необъяснимые исчезновения местных жителей не привели к раскрытию тайны. Пожалуй, во всем мире не могли бы они найти более подходящего места для своих гнусных богопротивных злодеяний, чем здешняя деревня, знаменитая своей святостью и благочестием.

— Какой кошмар! — забормотал торговец шелками. — Какой кошмар! Если бы вы только знали, с какими словами они обращались ко мне...

— Я знаю все, — ответил незнакомец. — Я видел и слышал все. Сначала я предполагал дождаться конца действия и тогда принять меры для полного их уничтожения, но ради спасения вашей жизни, — он говорил совершенно серьезно и убежденно, — а также ради спасения вашей души я вынужден был вмешаться еще до того, как все завершилось.

— Ради спасения моей жизни? Стало быть, опасность была вполне реальной? Они в самом деле — живые существа?.. — Харрис остановился посреди дороги и посмотрел на своего спутника: даже во мгле он видел, как сверкали его глаза.

— Это было сборище сильных, духовно развитых, но исполненных Зла людей, точнее, их телесных оболочек, которые и после смерти стараются продлить свое гнусное, неестественное существование. Исполни они то, что задумали, вы, умерев, полностью оказались бы в их власти и помогали бы им в осуществлении их гнусных целей. Ибо вы сами пришли в расставленную для вас западню: вы мысленно так живо, так явственно воссоздали свое прошлое, что сразу же вошли в контакт с силами, которые еще оставались там с прежних лет. И неудивительно, что вы не смогли оказать им никакого сопротивления.

Харрис крепко сжал руку незнакомца. В этот миг в душе его

оставалось место лишь одному-единственному чувству — благодарности. Его даже не удивило, что незнакомец так хорошо осведомлен обо всем, что происходило с ним.

— Увы, именно злые чувства оставляют свои фотографические отпечатки на всем окружающем, — продолжал незнакомец. — Кто слышал о заколдованном месте, где творились бы благородные дела, или о добрых и прекрасных призраках, разгуливающих при лунном свете? К сожалению, никто. Только порочные страсти обладают достаточной силой, чтобы оставлять после себя долговечные следы; праведники же обычно холодны и бесстрастны.

Все еще не оправившись от потрясения, Харрис слушал вполуха. Он все как будто не мог проснуться, и как во сне была и эта прогулка под звездами, в сумерках октябрьского утра, и полный покоя лес вокруг, и клубы тумана на лужайках, и журчание сотен невидимых ручейков. В последующие годы он вспоминал об этой прогулке как о чем-то невероятно восхитительном, как о чем-то чересчур прекрасном для обыденной, реальной жизни. Он слышал и понимал лишь четверть того, что говорил ему незнакомец; впоследствии же все услышанное им воскресло в его памяти и уже никогда больше не забывалось, однако воспоминания его неизменно носили характер чего-то нереального: да, казалось, он видел удивительный сон, лишь отдельными отрывками сохранившийся в памяти.

Когда около трех часов утра они достигли гостиницы, Харрис благодарно, от всей души, пожал руку своему необычному спутнику, глядя в столь поразившие его глаза, затем поднялся к себе в комнату, рассеянно и как бы в полусне обдумывая слова, которыми незнакомец завершил их беседу в ту самую минуту, когда они вышли из леса: «И если мысли и чувства могут жить еще долго после того, как породившие их мозг и сердце истлеют и превратятся в прах, то как важно следить за их зарождением и оберегать от всего, что может им повредить. . . »

Наш коммерсант спал в эту ночь гораздо крепче, чем можно было бы ожидать. И проспал до самого полдня.

Когда он спустился, наконец, вниз, то узнал, что незнакомец уже выехал из гостиницы, и горько пожалел, что даже не спросил его имени.

— Да, он зарегистрировался в книге для постояльцев, — сказала Харрису девушка за стойкой в ответ на его вопрос.

Перелистав страницы, Харрис нашел последнюю запись, сделанную очень тонким и характерным почерком: «*Джон Сайленс. Лондон.*»

*Перевод с английского А. Ибрагимова*

---

---

# Юрий Стефанов

## КОНЬ-ОСЬМИНОГ

Поэма

Памяти Льва Николаевича Гумилева

*Трепещет ясьень Иггдрасил, исполнено ужаса  
все сущее на небесах и на земле.*

Видение Гюльви

Кровоточит мой бок, вывалился язык.  
Вот он я, враний бог, вот он я, браней бык.  
Бой не с самим собой — это для смертных рать,—  
Схватку бога с судьбой страшно мне проиграть.  
Беличий голосок, вещего врана грай:  
Больно уж ствол высок, наверняка играй.  
Чуть не сломился сук, впился в глотку аркан.  
Вот он я, бог-бирюк, Вотан, мертвый шаман.  
Кровь, как бубен: тум-тум. Зубы все скрип да скрип  
Вот он я, навий кум, Вотан, поганый гриб  
С синим трупным лицом, всем грибам побратим.  
Кто не стал мертвецом, тот не судья живым.  
Ворон все карр да карр. Белка все прыг да скок.  
Вот он я, бог-драккар, древних драконов бог,  
Полой гробницы суть, спелой грибницы сеть.  
Нужно веки сомкнуть, чтоб навеки прозреть  
И бессмертия снедь смертным слепцам скормить.  
Вовремя умереть — значит, нашарить нить,  
Что из царства быка, миносова тельца,  
К свету наверняка выведет и слепца.

В тьме преисподних дыр бога теснит судьба.  
Жертвой держится мир. Жуйте же плоть гриба.  
Гляньте: я гол, как червь. Смыт с меня прежний лик  
Ныне я кол и вервь, бог-страшилище, Игг.  
Игг! Средь волчьих полян ржанье древа-коня.  
Соединил аркан с ним навеки меня.  
Кровоточит мой бок, слеп единственный глаз.  
Слейпнир, конь-осьминог, ты седока не спас.  
Глотку мне жжет огонь, в бок вонзилось копьё.  
Иггдрасил, Игга конь, благо иго мое.  
Мир, всю правду услышь: будь я хоть трижды бог,  
Я на нем — словно мышь, запасенная впрок  
Пустельгою-судьбой на острие шипа.  
Вот и выигран бой, благо, была слепа  
Та, с которой играть мне в поддавки пришлось...  
**Я удушен, как тать, я проколот насквозь**  
Древом-веретенном, осью семи небес.  
Сморенный смертным сном, я прозрел и воскрес.  
Иггдрасил, ты мой терн: иглы со всех сторон.  
Выпросил я у Норн лучшую из корон.  
О, предвечный венец из колючих ветвей!  
Вот он я, бог-мертвец, победивший червей.

В Ревеле можно зреть каменный образ мой:  
 Смертью поправший смерть, змий поник головой  
 На поперечный брус пыточного столба.  
 Вот он я, ваш Иус, ваша жизнь и судьба.  
 Кровоточит мой бок, в лоб колючка впилась.  
 Вот он я, мертвый бог, Вотана ипостась.  
 Древний бесплоден спор колеса и креста:  
 Крест без венца — позор, высь без креста — пуста.  
 Не умерев, зерно тьму не пронзит насквозь.  
 Кружит веретено, пахнет паленым ось.  
 Воду, воздух, эфир, ада уксусный жар —  
 Словом, весь этот мир, шаткий межзвездный шар,  
 Можно ль в один присест выпить перед концом?  
 Но мирозданье — крест, осененный венцом  
 Из терновых ветвей. Вот он я, ваш Иус.  
 По щеке муравей тащит бесценный груз,  
 Крови моей святой спекшуюся скрижаль.  
 Эй, Моисей, постой! Овод, уймись, не жаль.  
 Жаль только тех, кто мне с уксусом трость поднес.  
 Мир пылает в огне. Лаает подземный пес.  
 Сканы венца тяжела. Конь трясет коновязь  
 И грызет удила. В лоб колючка впилась.  
 Переполнен потир, но не унять струю.  
 Жертвой держится мир. Пейте же кровь мою.  
 Рвется небес рядно. Меркнет солнца слюда.  
 Исис, Иус — одно, скажет Сковорода  
 Через тыщу семьсот семьдесят с чем-то лет.  
 Небеса — мой живот, сонмы светил — скелет.  
 Так привык эскимос изображать кита,  
 Так Saint John of the Cross в небе узрел Христа.  
 Жуткий косою полет над безлюдьем земли.  
 Кто до конца поймет суть полотна Дали?  
 Хлопьями пена с губ. О, как оводы злы!  
 Где объявится труп, там сберутся орлы.  
 Их четыре, они — сфинкс, что мною разъят.  
 Дух отдохнет в тени, тело двинется в ад,  
 В смрад, кровавой стопой — вброд по черной реке.  
 Вот он я, бог слепой с муравьем на щеке.  
 Мертвый косящий взор: что-то осталось в нем  
 С тех довременных пор, когда был я конем,  
 Прежде чем змием стать, ибо неверен взгляд,  
 Будто конская стать не древнее, чем яд  
 Ветхозаветных глав, змей, вкушающих прах.  
 Смертью смерть поправ, конь нагоняет страх  
 На вершителю бед, мстящих исподтишка.  
 Небо — его хребет, страны света — бока.

...На мутителей вод, на хулителей Вед...

Воздух — его живот, звезды — его скелет.  
 Знаете ль тайный культ допотопных людей —  
 Конский сушеный уд меж девичьих грудей?  
 Древний есть ритуал — многим ли он знаком? —  
 Каменный конский фалл, политый молоком  
 После первых родин богомольной женой.  
 Конь — и Отец, и Сын. Сути его тройной  
 Не подивится тот, кто лукавому враг.

...Воздух — его живот, звезды — его костяк.  
Череп — тот теремок из побаски смешной,  
Где разместиться смог весь биофонд земной.

Тризну венчает пир. Мяса полон казан.  
Жертвой держится мир. Ешьте божий махан.  
Мертвая голова, а из пасти — огонь.  
Встал из жаркого рва Космос, жертвенный конь.

Город Ревель хранит образ змеинный мой,  
Но да не будет скрыт небрежения тьмой  
И городок Оксерр: древен оксеррский храм,  
И средь небесных сфер изображен я там  
Рыцарем на коне с черным жезлом в руке  
И весь в броне, а не на осле, налегке,  
С вербою, как тогда, в мой последний приход  
К людям.

Полынь-звезда пала на лоно вод,  
Землю, воздух, эфир, церковь, избу, острог.  
Мор пожирает мир. Мертвый встает чертог,  
Свит из змей, как плетень: всем живым поперек.  
Судный день — дребедень. Мой денек — Рагнарек.  
Белка, шустрый зверек, скачет то вверх, то вниз.  
Снизу — полчища крыс. Сверху — стаи ворон.  
Мир меж ними повис. Гибель со всех сторон.  
Ширится с каждым днем зев озонной дыры.  
Смрадным горят огнем нефтяные костры.  
Стали сущим зверьем осы и комары.  
Древних драконов кровь претворена в мазут.  
Из преисподней вновь чудища в мир ползут.  
Рыщет голодный люд. Блуд ненасытный лют.  
С неопознанных блюд демоны так и льют  
Морок в души землян: гости с дальних планет  
Вам откроют секрет, срок последних времян...  
Времени больше нет, возвестил Иоанн.  
Вместо распева Вед хлещет матерный хрип.  
Светит сквозь мой скелет вещей могильный гриб.  
Скачет конь-осьминог, мой погребальный ларь.  
Вот он я, мертвый бог, вот он я, навий царь.

Мы в последней из фаз. Рушится кров миров.  
Вздор, ведь не в первый раз, учит нас Гумилев  
Младший. Вспомните Рим: пьянство и свальный грех.  
Грим — и струпья под ним. Не сосчитать прорех  
На имперском плаще. Блат и разврат: содом.  
Новый эдикт? Вотще. Всеевропейский дом —  
Погреб пороховой, впрочем, как и всегда.  
Мир порос трын-травой. Желчью стала вода.  
Крутится колесо, манит мельканье спиц.  
Их бы к мадам Тюссо, всех этих важных птиц,  
Жриц свободной любви, шальных императриц,  
Что купались в крови и молоке ослиц.  
Лезет на татя тать. Мор пожирает мир.  
Где уж тут залатать тысячи новых дыр?  
Гальбой смещен Нерон. Спицы то вверх, то вниз.  
Сверху стаи ворон. Снизу полчища крыс.  
Чаши гнева полны. Страшен оскал луны.

Слышится вой войны. Множатся колдуны.  
 Эй, человеческий род, вот он каков, твой рок:  
 Морок, разврат, разброд — и с бедою пирог.  
 Лучше бы хлеб с водой, как советовал Даль.  
 Солнце стало слюдой. Овод, уймись, не жаль.  
 Нерву сменил Траян, воздвигатель колонн,  
 Павший от рук парфян. О, чехарда имен  
 И грызнья за престол! И череда могил:  
 Галлиен, Авреол, Клавдий Второй, Квинтилл.  
 Правил от силы год — хлоп! — и туда же, в гроб.  
 И Макрин, и Коммод, и Флориан, и Проб.  
 Пахарь, купец, рыбак. Гот, иллириец, грек.  
 Каждый каждому враг. Вот он, железный век,  
 Лес топоров и вил. Чернь обкомы громит,  
 Сиречь, ограды вилл. Ош, Баку, Сумгаит.  
 Плюс подземельный трус, пляс хтонических сил.  
 Где вы, Исис, Исус? Немы уста сивилл.  
 Выросший на дрожжах злобы, зависти, лжи  
 (Быстрелы: трах-бабах, пули вокруг: вжи-вжи),  
 Бешеный эгрегор, демон кровавых смут,  
 Месит опару гор, хищные пальцы мнут  
 Рельсы, как пластилин, крошат дом, как сухарь,  
 Комкают склон, как блин: вот он я, навий царь.  
 Рухнувший детский сад. Вот я, царь-людоед.  
 Треснувший циферблат. Времени больше нет.  
 Но над чужой бедой взвоят ли толпы баб?  
 Лучше уж хлеб с водой, чем такой вот кебаб  
 Из человеческих мяс, сваленных в смрадный ров.  
 Морок, повальный сглаз. Рухнул вселенский кров.  
 Расчеловечен бог и обезбожен свет.

Мальчик без рук, без ног смотрит со всех газет.  
 Зачатый в жуткий миг взрыва, вот я каков,  
 Бог-страшилище, Игг, голый среди волков,  
 Бывших еще вчера цветом земли, людьми.  
 Кончилась их пора. Времени нет. Пойми  
 Темной поэмы суть, скромный ее писец:  
 Перерождений путь я свершил наконец.  
 Рыбой, и кабаном, и человеко-львом  
 Был я в краю ином, и вот теперь — червем,  
 Змеем без рук, без ног на волшебном коне  
 Страшный Четвертый блок было угодно мне  
 Сдунуть. Припомни сказ про Калиновый мост:  
 «Воды речные враз всколыхнулись до звезд,  
 Закричали орлы, дрогнул весь круг земной —  
 И склубился из мглы вещей конь вороной,  
 Будто сварен в смоле или дегтем натерт.  
 Чудо-юдо в седле, сзади шерится хорт...»  
 Помнишь, как Филип Дик напроорочил меня,  
 В будущее проник? Скок теперь на коня  
 (Конь мой, конь-осьминог!) — и напрямик во тьму.  
 Руку через порог не подам никому.  
 Третий ангел трубит. Горьки истоки вод.  
 Вымрет, как трилобит, весь ваш поганый род.

Чем вы лучше их всех, канувших в темный ров,  
 Дронтов; ихтиостег, стеллеровых коров?  
 Я подносил вам гриб, я предлагал вам хлеб.

Разве вы не смогли б стать превыше судьбы,  
 Уподобившись мне, смертию смерть поправ?  
 Я — опять на коне, вы — лишены всех прав,  
 Выселены из куш райских — в бетонный ад.  
 Как я ни всемогущ, вас не вернуть назад.  
 В яму — и поделом. Вашу нишу займет  
 Ангел с синим крылом, льющий забвенья мед  
 На скрещенье дорог, где оседает гарь,  
 И на Четвертый блок, ваш погребальный ларь,  
 Ваш ядовитый склеп, гроб из трухлявых глыб.

...Сладок подземный хлеб, сытен могильный гриб...

Пусть я без рук, без ног, без хвоста и без лап,  
 Мой восьминогий друг вам в обиду не даст  
 Мальчика-судию с черным жезлом в зубах.  
 Пули вокруг: фью-фью. Фергана, Карабах.  
 Мерно бренчит узда. Меркнет небесный свод.  
 Пала Польша-звезда на источники вод,  
 Землю, воздух, эфир, церковь, избу, острог.  
 Скачет безумный мир. Плачет конь-осьминог.

Так не скакал Давид. Так не плясал друид,  
 Чтоб перед ним мегалит вздыбился стояком.  
 Так на острове Крит не сходились с быком  
 (О, прообраз коррид!) девы кровь с молоком,  
 Жрицы с талией ос, чтоб телец-Посейдон  
 Не обрушил на Кносс гулкий морской поддон,  
 Аспидных толщ плиту. Так не выл стадион,  
 Где играли в лапту андские колдуны,  
 То гася на лету шалый волан луны,  
 То посылая ввысь солнца алый волан,  
 Чтоб не пересеклись просверки их орбит  
 И багряный бурьян по верхам пирамид  
 Не полыхнул в зенит. Духами обуян,  
 Так не камлал шаман за шепоть табака,  
 Чтоб среди земных корней выследить червяка,  
 Коего нет вредней: любит исподтишка  
 Он забираться к нам в глотку во время сна,  
 А угнездившись там, всю нашу суть до дна  
 Высосать норовит... Так не плясал друид  
 Средь лазоревых плит, их громоздя стоймя...  
 Нас манит, как магнит (Боже, помилуй мя,  
 Грешного, и со мной — весь человеческий род!),  
 Танец совсем иной — вразной и вразброд,  
 Лет из дыры в дыру, как сказал Гельдерод,  
 Пляс на вечном юру, морок, повальный сглаз.

Видеть крыс — не к добру. Вздор, ведь не в первый раз.

Ламбада враскорячь, на тот свет напролом!  
 Конь-осьминог, не плачь: поделом, поделом!  
 Сей божественный пыл, уподобленье тел  
 Стройным хорам светил, род людской захотел  
 Срочно выменять на корчи порченных сук.  
 Так какого ж рожна плакать? Без ног, без рук  
 Легче теперь сберечь искру Божью внутри.  
 Прочь и зренья, и речь. Не пророчь, не смотри.



Ночь — а сторож незряч. Дикой охоты вой.  
Бесы несутся вскачь. Мир порос трын-травой.

Как филиппинский маг (в общем, тот же шаман)  
Превращает в собак, в кабанов, в обезьян  
Тех, кому тяжек стал их человеческий лик,  
Так «тяжелый металл» нас превратил в заик,  
Психов, кликуш, калек (о, бесовской оброк!).  
Ныне железный век, а по веку и рок:  
«Стикс», «ДДТ» и «Смок», гнусные «Звуки Му»  
(Очень неплох намеков на сошедший во тьму  
Призрачный материк, древний лемурий ад,—  
Уж не там ли возник весь этот хит-парад,  
Заполыхал сыр-бор, пир ватаги чумной?).

...Скачет во весь опор конь мой, конь вороной...

Нет, не «Алой чумы» (подростковый пустяк)  
Удостоились мы, а болезни макак,  
Спида,— и поделом. Тыщи лет про запас  
(Зло притянется злом) сберегался для нас  
Средь зеленых трущоб этот лемурий клад.  
Время пришло — и хлоп! — мы подставили зад  
Под колдовской магнит, бич, что бесами свит.  
Что нам, забывшим стыд, жало аспида — спид?  
Пей и блуди взახлеб: стыд давно не в чести.  
После нас хоть потоп, хоть трава не расти.

...Мертвая голова, а из пасти — огонь.  
Там не растет трава, где проскачет мой конь.

До начала времен, вечность в себе тая,  
Был сокровенным он сгустком небытия,  
Вроде споры грибной, ждущей своей поры,  
Чтоб из тьмы ледяной к жизни воззвать миры.  
Игг! И в единый миг гриву конь распластал,  
Свет из нее возник и разбежаться стал,  
Словно табун, когда взвоят в лесу бирюк.  
Мчит за звездой звезда, чертит за кругом круг.  
Вычерчен мир-чертог, кол посередке вбит.  
Конь мой, конь-осьминог рвет узду и храпит.  
Век за веком прошел, где он, звездный дворец?  
Только и есть, что кол, а на колу — мертвец.  
И средь корней — колун, медь последней из лун,  
А вокруг нее, как плеть, белый дракон, байлун.

Кровоточит мой бок, режет глотку петля.  
Плачет конь-осьминог, просит пощады для...  
Поздно, времени нет. Зубы все скрип да скрип.  
Светит сквозь мой скелет страшный могильный гриб.  
О, нестерпимый жар, невыносимый миг!  
Ворон все карр да карр. Белка все прыг да прыг.  
Тужат тунгус и росс. Кружит веретено.  
Лаает подземный пес, тает в земле зерно.  
Тает земля в воде, тает вода в огне,  
И ничего нигде не остается вне  
Властелина миров, жертвенного коня,  
Чей погребальный ров вечно полон огня.

# Мирча Элиаде

## ЗАГАДКА ДОКТОРА ХОНИГБЕРГЕРА

### Рассказ

Мирча Элиаде (1907—1986) — фигура совершенно уникальная: представим себе, что Гоголь не только писал фантастические повести, но и руководил кафедрой истории религий в каком-нибудь крупном университете, или что великий фольклорист Александр Потебня прославился, помимо своих научных работ, еще и художественными произведениями на мифологические темы. Именно так обстоит дело со всемирно известным ученым и талантливым прозаиком Элиаде: его перу принадлежат многочисленные монографии, посвященные мифологическому мышлению, обрядам и ритуалам, философии и историософии, магии и оккультизму («Миф о вечном возвращении», «Мифы, сны и мистерии», «Священное и мирское», «Мефистофель и Андрогин», «Кузнецы и алхимики»), а также несколько романов, повестей и сборников новелл, написанных на родном языке ученого — румынском («Майтрейи», «Купальская ночь», «Девушка Кристина», «Змей» и т. д.). Окончив Бухарестский университет, Элиаде отправился в Индию, где провел несколько лет, в том числе полгода — в высокогорных монастырях, постигая теорию и практику тантра-йоги, позволяющей человеку выйти за пределы собственного сознания и приобщиться к миру вечных архетипов, ощутить свое родство с таинственными силами, правящими вселенной. Публикуемый рассказ «Загадка доктора Хонигбергера» интересен не только тем, что в нем излагается оригинальный взгляд на проблему Шамбалы-Агартхи, но и тем, что здесь мы получаем редкостную возможность «соучаствовать» в процессе мистического озарения, пережитого автором и его героем.

*Einem gelang es — er hob den Schleier der Göttin zu Sais\*.*

Новалис

### 1

Осенним утром 1934 года посыльный принес мне довольно странное письмо, сказав, что ему велено дожидаться ответа. Письмо было от дамы, чья фамилия, Зерленди, мне ничего не говорила, и содержало приглашение посетить ее вечером того же дня. Стиль отличался подчеркнутой вежливостью и церемонностью — так в добрые старые времена даме предписывалось обращаться к незнакомому мужчине. «Я узнала, что Вы недавно вернулись с Востока, и смею полагать, что Вас заинтересуют коллекции, собранные моим мужем», — сообщала она среди прочего. Признаюсь, меня в то время отталкивали приглашения от людей, жаждущих заполучить в дом персону, сподобившуюся провести сколько-нибудь лет на Востоке. Не раз мне приходилось отказываться от знакомств, которые во всех прочих отношениях обещали быть приятными, только потому, что мне претило говорить пошлости о «непостижимой Азии», о «джунглях, таящих опасности», о факирах, чудесах и прочем, а также комментировать для моих милых собеседников всю эту сенса-

\* Одному это удалось — он откинул покрывало с лика богини из Саиса (нем.).

ционную экзотику. Однако в письме г-жи Зерленди упоминались какие-то связанные с Востоком коллекции, без уточнения, что за коллекции и откуда, и этого было довольно, чтобы пробудить во мне любопытство.

Моей слабостью всегда были румыны, отдавшиеся страсти к Востоку. За много лет до описываемого здесь происшествия я нашел у одного букиниста с набережной Дымбовицы целый сундук книг по Китаю — с заметками на полях, а иногда и с исправлениями в тексте, — книг, основательно проштудированных их бывшим владельцем, чью подпись, *Раду К.*, я находил на многих титульных листах. Этот Раду К. не был, однако, дилетантом. Его книги, во владение которыми я вступил, свидетельствовали о том, что он серьезно и систематически изучал китайский язык. Так, в шеститомнике исторических мемуаров Сыма Цяня в переводе Эдуарда Шаванна были исправлены все опечатки в китайских текстах. Он знал китайскую классику по изданиям Куврера, выписывал журнал «Тун Бао» и располагал всеми томами «Синологических разностей», выходивших в Шанхае до войны. Я был рад приобрести часть библиотеки этого человека, хотя фамилию его узнал еще не скоро. Букинист скупил несколько сот принадлежавших ему томов в двадцатом году, но только пять-шесть иллюстрированных изданий разошлись мгновенно, а на остальную коллекцию синологических текстов и штудий покупателей не нашлось. Я спрашивал себя, что за человек был этот румын, который так серьезно изучал китайский язык и однако не оставил после себя ничего, даже полного имени? Что за темная страсть влекла его к далекому Китаю, причем не как любителя, а заставляя изучать язык страны, пытаться вникнуть в ее историю? Удалось ли ему попасть в Китай или он безвременно погиб в какой-нибудь фронтовой передышке?..

На часть вопросов, мелькавших у меня в голове, когда я меланхолично листал его книги в лавке на набережной, мне предстояло получить ответ много позже. Впрочем, и ответ влек за собой неожиданные тайны. Но это уже другая история, вне всякой связи с событиями, о которых я намереваюсь здесь рассказать. Просто этот Раду К. пришел мне на память в числе других ориенталистов и ценителей восточной культуры, живущих в безвестности здесь, в Румынии, и я решил принять приглашение незнакомой дамы.

В тот же вечер я стоял у дома номер 17 по улице С. Я узнал в нем один из тех домов, мимо которых никогда не мог пройти, не замедлив шага — в надежде если не подглядеть, то отгадать, кто обитает там, за старыми стенами, и в противоборстве с какой судьбой. Улица С. расположена в самом центре Бухареста, неподалеку от проспекта Виктории. Каким же чудом остался нетронутым особняк под номером 17 за железной решеткой забора, с гравием во дворе, с разросшимися акациями и каштанами, затмившими тенью полфасада? Туго отворилась калитка, и дорожка, окаймленная двумя рядами роскошных осенних цветов, привела меня к давно высохшему пруду с парой белесых от времени гномов на берегу. Тут, кажется, сам воздух был иной. Мир, который неостановимо угасал в других благородных кварталах столицы, тут сохранял достойный вид, не давая воли немощи и распаду. Старый особняк содержался в приличном состоянии, только сырость от деревьев раньше времени повредила фасад. Над входной дверью — так строили лет сорок назад — помещалось полукруглое дымчатое окно веером. Несколько замшелых каменных ступеней, обставленных по бокам большими цветными вазами, вели на веранду с разноцветными стеклами. Под кнопкой звонка именной таблички не было.

Мне открыли тотчас же. Вслед за старой хромой служанкой я вошел в салон внушительных размеров и не успел даже толком разглядеть обстановку и картины на стенах, как появилась г-жа Зерлен-

ди. Ей было за пятьдесят, но она принадлежала к тем женщинам, которых, раз увидев, нельзя забыть. Она встречала приближение старости очень по-своему или, может быть, как женщины прошлых эпох — с тайным знанием, что смерть есть шаг к великому озарению, к раскрытию всех смыслов, а не конец земного пути, распад плоти и окончательное ее превращение в прах. Я всегда разделял людей на две категории: на тех, кто понимает смерть как конец жизни тела, и тех, кто видит в ней начало новой жизни духа. И я не берусь судить о человеке прежде, нежели узнаю его сокровенное представление о смерти. Иначе я не доверяю ни уму, ни обаянию нового знакомого.

Г-жа Зерленди села в кресло и указала мне — без фамильярности, свойственной дамам определенного возраста, — на деревянный стул с высокой спинкой.

— Благодарю, что пришли,— заговорила она.— Мой муж был бы счастлив с вами познакомиться. Он тоже любил Индию. Может быть, больше, чем положено медику по профессии...

Я приготовился выслушать длинную историю, радуясь, что имею случай с совершенно естественным вниманием глядеть в лицо собеседницы. Но она, помолчав, спросила, слегка подавшись ко мне:

— Вам известно что-нибудь о докторе Иоханне Хонигбергере?.. Дело в том, что вся любовь моего мужа к Индии пришла через книги этого немца из Брашова. Интерес к истории у мужа был скорее всего наследственный — фамильная страсть,— но Индией он стал заниматься, когда открыл работы доктора Хонигбергера. В его намерения входило даже написать о нем монографию. Будучи тоже медиком, он полагал, что справится с такой работой, и несколько лет собирал материалы.

Я, признаюсь, очень мало знал тогда о докторе Иоханне Хонигбергере. Когда-то давно я прочел в английском переводе его главную книгу, «Тридцать пять лет на Востоке», других в Калькутте не было. В то время меня занимали философия и техника йоги, и я искал в книге Хонигбергера как раз подробности ее оккультной практики, которую доктор, похоже, знал не понаслышке. Однако поскольку его книга вышла в середине прошлого века, я подозревал автора в недостатке критического духа. Правда, я даже не догадывался, что этот доктор, столь известный среди ориенталистов, происходит из старинной фамилии румынских немцев,— деталь, которая сейчас заинтересовала меня больше всего.

— Мой муж вел обширную переписку со многими медиками и учеными, лично знавшими Хонигбергера. Хотя тот умер еще в 1859 году, по возвращении в Брашов из очередного путешествия по Индии, оставалось довольно людей, встречавшихся с ним. Один из его сыновей служил прокурором в Яссах, сын от первого брака, но мужу не удалось с ним познакомиться, хотя он часто наезжал в Яссы, надеясь разыскать кое-какие бумаги...

Я против воли заулыбался. Меня тронул этот детальный подход к биографии доктора Хонигбергера. Наверное, г-жа Зерленди угадала мою мысль, потому что сказала:

— Муж так дотошно собирал все, что касается доктора Хонигбергера, что я это запомнила накрепко. Это и многое другое.

Она смолкла, задумавшись. Позже я имел случай убедиться, сколь разнообразны и глубоки были сведения г-жи Зерленди о докторе Хонигбергере. Однажды она целый вечер расписывала мне первое его пребывание в Индии (перед тем он провел четыре года в Малой Азии, год в Египте и семь лет в Сирии). Видно было, что г-жа Зерленди основательно изучила книги и рукописи мужа, возможно, даже с намерением довести до конца начатый им труд.

В самом деле, нельзя было не поддаться обаянию этого немца из

Брашова, по диплому — всего лишь фармацевта, но ставшего благодаря самообразованию перворазрядным доктором. Больше половины своей долгой жизни Хонигбергер провел на Востоке. Он был в разное время придворным медиком, фармацевтом, директором арсенала и адмиралом в Лахоре при махарадже Ранжит-Сингхе. Не раз он навещал значительные состояния и терял их. Авантюрист высокого класса, Хонигбергер все же никогда не был шарлатаном. Он превзошел много наук, реальных и оккультных, и его коллекции — этнографические, ботанические, нумизматические и художественные — украсили знаменитые музеи мира. Понятно, почему доктор Зерленди, одержимый нашим национальным прошлым, равно как и историей медицины, потратил столько усилий на воссоздание и расшифровку *истинной* картины жизни Хонигбергера.

— Муж довольно скоро пришел к заключению, — сказала г-жа Зерленди, — что биография Хонигбергера начинена тайнами, несмотря на обширную литературу о нем. Взять, например, последнее, 1858 года, путешествие Хонигбергера в Индию после того, как он только что вернулся, тяжелобольной, из экспедиции в тропическую Африку. Зачем он в таком состоянии отправился в Индию? Почему умер, едва ступив на родную землю? Этими вопросами часто задавался мой муж. Точно так же ему казались подозрительными ботанические изыскания, сделанные доктором много раньше, в Кашмире. У мужа были основания полагать, что на самом деле Хонигбергер не ограничился Кашмиром, а достиг Тибета или, во всяком случае, изучал оккультную фармакопею в Гималаях, в одном из тамошних монастырей, а занятия ботаникой служили ему только прикрытием. Но об этом лучше судить вам, — добавила г-жа Зерленди.

Должен признаться, что, просмотрев книги и документы, так тщательно подобранные мужем г-жи Зерленди, я тоже стал ощущать таинственные провалы в биографии доктора Хонигбергера. Но все последовавшее за моим первым визитом в дом на улице С., по таинственности оставило далеко позади загадку доктора Хонигбергера.

— Было бы крайне жаль, — произнесла г-жа Зерленди после долгой паузы, — если бы труды мужа пошли прахом. Я много слышала о вас и читала некоторые ваши работы. Не могу сказать, что я все в них поняла, но одно уяснила точно: к вам я могу обратиться, вам можно доверять...

Я счел нужным ответить, что польщен и прочее, однако г-жа Зерленди продолжала тем же тоном:

— В этот дом уже много лет почти никто не приходит, только несколько друзей, но у них нет специальной подготовки, чтобы судить о работе мужа. Его кабинет, его библиотека стоят нетронутыми с 1910 года. Я тоже надолго уезжала за границу, а когда вернулась, то не стала слишком настойчиво упоминать имя мужа. Коллеги, медики, считали его маньяком. Его библиотеку, которую я вам сейчас покажу, из тех, кто мог бы о ней судить, видел только один: Букура Думбравэ. Я написала ему, как и вам, что у меня имеется богатая ориенталистская коллекция, и он приехал, хотя и долго откладывал свой визит. И, кажется, по-настоящему заинтересовался. Во всяком случае, он сказал мне, что нашел здесь книги, которые пытался заказать в Британском музее, кое-что записал и обещал прийти по возвращении из Индии. Он уезжал тогда на теософский конгресс, может быть, вы слышали. Но больше ему не удалось ступить на румынскую землю. Он умер в Порт-Саиде...

Не знаю, придавала ли г-жа Зерленди какой-нибудь тайный смысл этой смерти на пороге возвращения. Она опять смолкла, пристально глядя на меня. Чувствуя, что от меня чего-то ждут, я сказал, что нет нужды искать мистику на стороне, будь то Адьяр или тот же Порт-

Саид, ее достаточно и в нашей повседневности. Г-жа Зерленди ничего не возразила. Она поднялась с кресла и пригласила меня в библиотеку. По пути в библиотеку, пересекая салон, я спросил, бывал ли ее муж в Индии.

— Трудно сказать,— тихо и нерешительно проронила она, попытавшись улыбнуться.

## 2

Я повидал немало библиотек ученых и богатых людей, но ни одна не потрясла меня так, как эта. Когда отворилась массивная дубовая дверь, я замер на пороге. Комната была необъятной, даже по меркам самых роскошных особняков прошлого века. Большие окна выходили в сад за домом. Шторы были наполовину приподняты, и свет осенних сумерек усиливал торжественную атмосферу этой залы с высоким потолком, с деревянной галереей, почти по всему периметру опоясавшей стены, не видные из-за книг. Собрание состояло тысяч из тридцати томов, большинство в кожаных переплетах, по самым разным отраслям культуры: по медицине, истории, религии, страноведению, оккультизму, индологии. Г-жа Зерленди провела меня сначала к шкафам, где помещались исключительно книги по Индии. Редко встречал я в частной коллекции такие ценные издания и в таком количестве. Но только после того, как я провел целый вечер у этих бесчисленных полок, я по-настоящему убедился, сколько там сокровищ. Сотни томов одних только путевых заметок — от Марко Поло и Тавернье до Пьера Лоти и Луи Жаколио. (Было очевидно, что доктор Зерленди собирал абсолютно все книги по Индии, иначе я не могу объяснить себе, как сюда затесался такой сочинитель, как Жаколио). Наличествовали, далее, подшивки всех выпусков французского «Азиатского журнала» и лондонского «Журнала Королевского азиатского общества», не говоря уже об ученых записках и трудах всевозможных академий, посвященных языкам, литературам и религиям Индии. Словом, все значительное в области индологии, что дал прошлый век, от большого петербургского словаря до калькуттских или бенаресских изданий санскритских текстов. Последние вызвали у меня нескрываемое удивление.

— Он начал учить санскрит в девятьсот первом году,— объяснила г-жа Зерленди,— и учил основательно, сколько это возможно вдали от живых центров языка...

В самом деле, тут были не только элементарные учебники или тексты для поверхностного любителя, но и труды, которые мог заказать лишь человек, проникший в лабиринты языковой премудрости. Взять хотя бы такие сложные комментарии, как «Сидданта Каумуди», свидетельствовавшие об интересе к нюансам санскритской грамматики; или пространный трактат Медхадити о «Законах Ману»; или сложные комментарии к ведийским текстам, помещавшиеся в изданиях Аллахабада и Бенареса; или многочисленные книги по индийским ритуалам. Особенно поразило меня собрание трактатов по индийской медицине, мистике и аскетизму. Из своего ограниченного опыта я знал, что подобные тексты бессмысленно читать без скрупулезнейших комментариев, а в идеале для них нужен учитель, дающий устное толкование.

Я обратил изумленный взгляд на г-жу Зерленди. Я входил в библиотеку не без волнения, ожидая найти здесь хороший хонигбергеровский архив, а попал в библиотеку ученого-индолога, богатству которой позавидовали бы такие светила, как Рот, Якоби или Сильвен Леви.

— Он дошел до всего этого, начав с Хонигбергера,— сказала г-жа Зерленди в ответ на мои мысли, указывая на дальнюю стену биб-

лиотеки, где мне вскоре предстояло познакомиться с материалами, касающимися брашовского доктора.

— Но когда же он успел собрать столько книг, и неужели он все их прочел?! — не переставая изумляться, воскликнул я.

— Часть, и довольно значительная, получена им в наследство, — ответила г-жа Зерленди. — В основном книги по истории. Остальное он покупал сам, особенно в последние восемь лет. Пришлось продать несколько имений... — Эти слова она произнесла с улыбкой, но без тени сожаления. — Его знали все букинисты Лейпцига, Парижа и Лондона. Он разбирался в книгах, что правда, то правда. Иногда он скупал целые востоковедческие библиотеки — после смерти их хозяев. Что касается чтения, то всего он, конечно, не прочел, хотя последние годы спал два-три часа в сутки, не больше.

— Это, вероятно, и подорвало его здоровье, — предположил я.

— Отнюдь нет, — возразила г-жа Зерленди. — Работоспособность у него была феноменальная. К тому же он придерживался специального режима: совсем не ел мяса, не курил, не пил ни спиртного, ни чая, ни кофе...

Она как будто хотела еще что-то добавить, но удержалась и пригласила меня в другой конец библиотеки, отведенный под архив Хонигбергера. Тут были все книги брашовского доктора и множество работ, посвященных его феерической жизни. Висела репродукция знаменитой гравюры Малкнехта, изображавшей Хонигбергера в костюме советника махараджи Ранжит-Сингха. В картонных папках хранились многочисленные письма Хонигбергера к ученым его времени, копии с портретов членов его семьи и его современников, карты, на которых доктор Зерленди обозначил маршруты всех путешествий Хонигбергера по Азии и Африке. Я задумчиво перебирал эти документы, ценность которых еще не в полной мере осознавал, удивляясь, что человек, их собравший, жил в нашем городе всего лишь четверть века назад и что никто не подозревал о его сокровищах.

— Но почему же он не написал книгу о Хонигбергере? — поинтересовался я.

— Он начал обобщать материал, — ответила г-жа Зерленди после долгого колебания, — но внезапно прервал работу, не объяснив мне, почему. Как я вам уже говорила, он вел большую переписку, разыскивая неизвестные сведения и документы. В девятьсот шестом году, по случаю Выставки, он познакомился с другом Константина Хонигбергера, сына доктора от первого брака. В руки этого человека случайно попали некоторые письма и бумаги Хонигбергера. Той же осенью мой муж поехал в Яссы, откуда вернулся в большом волнении. Не думаю, что он привез оригиналы, скорее копии. Но с тех самых пор он бросил писать книгу и с головой ушел в индийскую философию, а в последние годы Хонигбергера окончательно вытеснил санскрит — муж целиком сосредоточился на его изучении...

Она с улыбкой указала мне на ту стену библиотеки, перед которой я почтительно замер, едва мы вошли.

— И он никогда не говорил вам, что заставило его бросить на полпути многолетний труд? — спросил я.

— Разве что намеками, — ответила г-жа Зерленди. — По возвращении из Ясс он стал особенно молчалив. Однажды сказал, что ему необходимы основательные знания по индийской философии и оккультизму, что без них нельзя понять одного отрезка жизни Хонигбергера, о котором ходят пока только легенды. Занявшись санскритом, он обратился и к оккультизму. Но об этом я знаю довольно туманно, он не посвящал меня в свое последнее увлечение. Я могла только догадываться, сколь оно было глубоко, по тому, какие книги он непрестанно заказывал. Впрочем, вы можете убедиться и сами, — добавила г-жа Зер-

ленди, приглашая меня к третьей стене библиотеки.

Кажется, дальше удивляться было некуда. Все, что рассказала мне г-жа Зерленди, все, что я сам увидел, содержало столько поразительного и с такой силой возбудило мое любопытство, что эти новые полки я рассматривал уже без комментариев, в молчаливом восхищении. С первого взгляда было ясно, что доктор удачно дебютировал как коллекционер литературы по оккультизму. Совсем отсутствовали вульгаризаторские поделки, которыми наводняла рынок в конце прошлого века французская, по преимуществу, печать. Теософских книг, по большей части посредственных и сомнительных, тоже было немного. Лишь несколько изданий Ледбитера и Анни Безант, а также полное собрание сочинений госпожи Блаватской, которое, как я убедился позже, доктор Зерленди проштудировал с особенным вниманием. Зато наряду с Фабром д'Оливе и Рудольфом Штайнером, со Станиславом Гуайтой и Хартманом библиотека располагала богатейшей коллекцией классиков оккультизма, герметизма и традиционной теософии. Со старыми изданиями Сведенборга, Парацельса, Корнелия Агриппы, Бёме, Делла Ривьеры, Пернети соседствовали работы, приписываемые Пифагору, тексты по герметизму, труды знаменитых алхимиков — как в старинных изданиях Сальмона и Манье, так и в современных — Бергло. Не были обойдены вниманием и забытые книги по физиогномике, астрологии и хиромантии.

Впоследствии, когда я получил возможность, не торопясь, разбирать эти сокровища, я обнаружил там суперраритеты типа «*De aquae vitae simplici et composito*»\* Арно де Вильнева или христианские апокрифы, например, апокриф «Адам и Ева», за которым столько времени гонялся Стриндберг. В подборе книг просматривалось некое твердое намерение и некая точная цель. Как я постепенно убедился, тут не был пропущен ни один серьезный автор, ни одно важное издание. Доктор, вне всякого сомнения, не просто собирал информацию для усвоения основных пунктов оккультной доктрины и терминологии, без чего невозможно было подойти к биографии Хонигбергера, которую он писал. Нет, книги доктора Зерленди свидетельствовали, что он хотел сам прикоснуться к истине, так надежно запятой и хранимой в герметической традиции. Иначе зачем ему было изучать Агриппу Неттесгеймского или «*Bibliotheca Chemica Curiosa*»?\*\*

Именно этот живой интерес к оккультизму плюс страсть к индийской философии, а особенно к эзотерическим школам Индии, заинтриговали меня больше всего. К тому же г-жа Зерленди упомянула, что эта новая и последняя страсть овладела доктором по возвращении из Ясс.

— По всему видно, он не ограничивался одним только чтением,— сказал я.— Не сомневаюсь, что господин доктор подступался и к оккультной практике.

— У меня тоже есть такое подозрение,— поколебавшись, согласилась г-жа Зерленди.— Мне он никогда ничего не рассказывал. Но последние годы он почти не выходил из библиотеки или уезжал один в наше олянское имение. Я уже говорила вам, что он никогда не проявлял признаков усталости — при всем своем аскетическом режиме. Напротив, я могла бы утверждать, что он чувствовал себя все лучше и лучше...

«И при всем том умер»,— подумал я, слушая осторожные признания г-жи Зерленди. В комнате стало почти темно, и хозяйка пошла зажечь свет. Два колоссальных канделябра с бесчисленными хрустальными подвесками наполнили библиотеку слишком сильным искусствен-

\* О живой воде простой и сложной (лат.).

\*\* Библиотека химических курьезов (лат.).



ным светом. Я не в силах был оторваться от полок с оккультными книгами и стоял в нерешительности. Г-жа Зерленди, закрыв одно из окон и опустив штору золотисто-зеленого бархата, снова подошла ко мне.

— Теперь, когда вы увидели, о каких коллекциях идет речь,— начала она,— я могу поделиться с вами моими мыслями. Не один год меня мучает что-то вроде чувства вины перед этими грудями бумаг и писем, которые муж собирал для жизнеописания Хонигбергера. Я не знаю точно, чем он занимался в последние годы, но, что бы это ни было, оттолкнулся он все равно от доктора Хонигбергера. Когда я услышала, что вы провели столько лет в Индии, изучали там философию и религию, я сказала себе: а вдруг этот человек знает цель занятий моего мужа, а вдруг жизнь доктора Хонигбергера для него не предстанет сплошной тайной? Этот труд не был бы напрасным,— добавила г-жа Зерленди, кивая на «шкаф Хонигбергера».— Может статься, вы увлечетесь и закончите жизнеописание доктора из Брашова, которое начал мой муж. Я могла бы умереть спокойно,— продолжала она,— если бы знала, что эта биография увидит свет, что материалы, собранные мужем, не пропали...

Я не знал, что ответить. Никогда я не брался не за свое дело. Пусть почти все, что я написал до сих пор, я писал в спешке, подгоняемый житейской необходимостью, но предмет выбирал всегда сам, будь то роман или философский трактат. Однако колебаться слишком долго было неприлично, и я ответил:

— Сударыня, я польщен доверением, которое вы мне оказываете, и честно вам признаюсь, что счастлив при одной мысли о том, что смогу приходить в эту библиотеку, не стесняя вас. Однако я не знаю, буду ли я в состоянии довести до конца то, что начал ваш муж. Во-первых, я не медик. Кроме того, я не ориентируюсь во многих вещах, в которых ваш муж был знатоком. Одно я могу обещать вам: что биография Хонигбергера будет написана и напечатана. Конечно, с помощью какого-нибудь человека, компетентного в медицине и истории прошлого века.

— Я тоже об этом думала,— сказала г-жа Зерленди.— Но тут важна не медицинская часть, для нее всегда можно найти хорошего специалиста, а востоковедческая. Если бы я не знала к тому же, как сильно желал мой муж, чтобы жизнь Хонигбергера была описана именно румыном — потому что заграничных его биографий достаточно,— я обратилась бы к экспертам из Англии или Германии, где фигура Хонигбергера особенно известна.— Она вдруг запнулась и, помолчав, подняла на меня глаза.— И потом есть еще одно обстоятельство, может быть, оно покажется вам слишком личного свойства... признаюсь, я хотела бы, чтобы эта биография писалась поблизости от меня. Есть такие моменты в жизни этого Хонигбергера, которые мне надо прояснить для себя, я еще не потеряла надежды...

### 3

Насколько права была г-жа Зерленди, говоря о непроясненных моментах в жизни Йоханна Хонигбергера, я понял, когда внимательно прочел рукописи и документы, расклассифицированные и помеченные рукой ее мужа. Я снова пришел в дом на улице С. несколько дней спустя и с тех пор стал проводить там по крайней мере три вечера в неделю. Осень затянулась, на редкость красивая и теплая. Я приходил около четырех и засиживался в библиотеке до позднего вечера. Иногда г-жа Зерленди встречала меня в салоне, но чаще, дав мне поработать несколько часов, заходила в библиотеку, пересекала ее со сдержанной

грацией и протягивала мне свою бледную руку. Следом за ней старая служанка вносила поднос с вареньем и кофе. Г-жа Зерленди не без основания полагала, что ее присутствие уместно при этой кофейной паузе, когда я, не закрывая очередной папки с документами, ненадолго прерывал работу.

— Как подвигается дело? — спрашивала она. — Вы думаете, что-нибудь можно извлечь из этих бумаг?

Дело, однако, подвигалось медленно. Конечно, и по моей вине тоже, потому что я не довольствовался только работой с архивом Хонигбергера, а параллельно изучал полки с индологической и оккультной литературой — занятие захватывающее, от которого я отрывался с трудом. После четвертого визита в дом на улице С. мне удалось все же разобраться, насколько преуспел доктор Зерленди в составлении биографии Хонигбергера. Окончательный вариант его рукописи обрывался на событиях 1822 года, возвращении Хонигбергера в Халеб, где он применил новые методы вакцинации. Несколько глав о семи годах, проведенных в Сирии, были написаны вчерне. Все вместе едва ли охватывало четвертую часть биографии знаменитого немца, потому что самое в ней интересное начиналось с придворного периода, когда он попал к Ранжит-Сингху. О других эпохах жизни выдающегося авантюриста я нашел только документальный материал, тщательно в хронологическом порядке разложенный по папкам. На каждой папке были указаны: дата, место и количество документов. Иногда рядом с датой стоял вопросительный знак или отсылка к досье с апокрифичными материалами — доктор Зерленди пришел к выводу (значащемуся в одной из сносок к первой главе), что Хонигбергер часто подбрасывал своим биографам ложные сведения о себе или намеренно фальсифицировал документы, которые те принимали за чистую монету. Что вынуждало его прибегать к этим мистификациям, запутывая картину своей и без того легендарной жизни, проходившей под знаком тайны и авантюры, мне было не понять.

— Вы еще не добрались до главного, на что намекал мой муж? — спросила раз г-жа Зерленди.

Я не знал, что ответить. Я догадывался, какого рода сведений ждет от меня почтенная дама, и не был уверен, что смогу их когда-нибудь ей предоставить. Случай «видимой смерти», йогического транс, левитации, невоспламеняемости и невидимости, о которых упоминал Хонигбергер и которые доктор Зерленди изучал с особым рвением, весьма трудно объяснить тому, кто не знаком с ними в теории. Что же касается таинственных путешествий Хонигбергера в Кашмир и на Тибет, его исследований по магической фармакологии, его возможного участия в церемониях инициации секты Валлабхачарья, то тут было еще меньше ясности. Доктору Зерленди не удалось, вероятно добыть достоверной информации об этих эпизодах.

— Здесь что ни шаг — загадка, — уклончиво ответил я. — Мне еще разбираться и разбираться.

Надежда погасла в глазах г-жи Зерленди, и она покинула библиотеку своей меланхолической походкой. Иногда она оставалась подольше, расспрашивая меня о моих индийских впечатлениях; ее особенно интересовали подробности жизни в гималайских монастырях — предмет, к которому я обращался не очень охотно. Сама г-жа Зерленди никогда не говорила ни о своей жизни, ни о семье, а упоминая о друзьях, не называла их имен. И если я что-то узнал, то совершенно случайно. Вот как это произошло.

Однажды, три недели спустя после первого визита, я пришел в дом на улице С. несколько раньше обычного. В тот день моросил дождь, грустный осенний дождь, и старая служанка открыла мне дверь с запозданием. Г-жа Зерленди прихворнула, сказала она, но я могу войти,

она уже и огонь развела в камине. Я вошел, чувствуя себя не очень-то ловко. Библиотека выглядела по-другому в мутном свете дождливого осеннего дня. Камину не удавалось согреть эту огромную комнату. Однако я ревностно взялся за работу. Мне казалось, г-же Зерленди облегчает, если она будет знать, что я работаю в соседней комнате и, не исключено, уже в ближайшем будущем смогу пролить свет хотя бы на некоторые из тайн, до которых хотел добраться ее муж.

Через полчаса дверь библиотеки открылась, и вошла молодая особа с сигаретой в руке. Ее как будто ничуть не удивило, что она застала тут постороннего, да еще перед раскрытой папкой с документами.

— А, это вы тут! — воскликнула она, направляясь ко мне.

Я встал и назвал себя.

— Знаю, знаю, мама говорила, — небрежно проронила она. — Надеюсь, вам больше повезет.

Ничего не понимая, я от растерянности улыбнулся и стал докладывать, насколько далеко продвинулся в разборе архива Хонигбергера. Молодая дама глядела на меня иронически.

— Это все нам давно известно, — перебила она меня. — До такого уровня доходили и другие. А бедный Ханс утверждал, что забрался и глубже. Если верить ему на слово...

Я уставился на нее с таким видом, что она рассмеялась. Погасила сигарету о медную пепельницу и подошла ближе.

— Или вы вообразили, что эти «тайны» только вас четверть века и дожидались? Ошибаетесь, сударь мой! Кое-кто к ним подступался. Отец был в довоенное время личною известной, и его «случай» не так-то скоро стерся из людской памяти...

— Если я ошибался, то не по своей вине, — сказал я, пытаюсь побороть волнение. — Я знаю лишь то, во что меня сочла нужным посвящать ваша матушка. Впрочем, мой мандат ограничен, — добавил я, криво усмехнувшись. — Я нахожусь здесь, чтобы обобщить материалы по биографии доктора Хонигбергера.

Молодая дама недоверчиво и пытливо смерила меня взглядом. Тогда и я лучше смог разглядеть ее: высокая, стройная до худобы, нервный рот, в глазах — приглушенный огонь. На ее лице совсем не было косметики, что прибавляло несколько лет к ее тридцати с чем-то.

— Значит, мама с вами не откровенничала, — сказала она уже не так резко. — Что ж, я подозревала. Вероятно, она боялась, что на вас подействует расхолаживающе, если вы узнаете, что не вы первый продельваете эту работу. Собственно, вы — четвертый. Последним был немецкий офицер, он застрелен в Бухаресте с войны. Мы называем его Бедный Ханс, потому что он погиб ужасно нелепо — от несчастного случая на охоте. Поехал на охоту в одно наше имение и погиб. Так вот, он утверждал, что, якобы, начинает понимать «тайны», о которых говорил отец, но что ему не хватает знания румынского языка, и собирался его подучить. Не представляю, какая может быть связь между оккультными тайнами и знанием румынского. По-моему, он просто тоже работал вхолостую...

— Все, что вы говорите, — возразил я, — ни в коей мере не расхолаживает меня, а, напротив, только возбуждает мой интерес к этому Хонигбергеру, чье имя еще несколько недель назад было для меня пустым звуком. Путешественник и авантюрист — вот все, что я о нем знал.

Молодая дама улыбнулась и села в кресло у стола, глядя на меня по-прежнему испытующе.

— Хонигбергером мама интересуется гораздо меньше, чем вы думаете, — проговорила она. — И правильно, впрочем, делает. В первую очередь ей хотелось бы знать, что случилось с отцом...

— Я догадывался,— подхватил я.— Но поскольку саму госпожу Зерленди спросить не осмеливаюсь, может быть, вы мне расскажите, отчего умер ваш батюшка и при каких обстоятельствах?

Молодая дама опустила голову и задумалась, словно спрашивала себя, говорить ли мне правду или лучше будет, если я узнаю все стороной, не от нее. В конце концов, медленно поднявшись с кресла, она произнесла:

— А он не умер. Если же и умер, то мы не знаем, когда. Десятого сентября десятого года он исчез из дому, и с тех пор его никто не видел. Как сквозь землю провалился.

Мы смотрели друг на друга, она — спокойно, я — потерянно, я ведь даже не знал, открыла ли она мне всю правду или утаила какие-то нелицеприятные подробности. Она достала изящный портсигар, вынула сигарету.

— Вероятнее всего, он уехал на Восток, в Индию,— сказал я, чтобы прервать молчание. — По следам Хонигбергера...

— Мы тоже так думали. То есть не я, конечно, я училась тогда во втором классе и мало что понимала. Я пришла из школы, а в доме переполох, ужас. Папа пропал...

— Наверное, он хотел уйти незаметно,— предположил я.— Предвидя, какие его ждут неприятные разговоры, если он кому-нибудь признается в своем намерении.

— Возможно. Но трудно представить себе, что он уехал на Восток без паспорта, без денег и без одежды...

Я взглянул непонимающе. Она продолжала:

— Суть в том, что отец исчез — в буквальном смысле слова. Все костюмы, до одного, остались в шкафу, все деньги — в ящике стола. Он не взял с собой ни паспорта, ни каких-либо других документов и не оставил письма ни маме и никому из друзей. Не могу вам передать, до чего невероятным выглядело это исчезновение в глазах тех, кто знал все обстоятельства его жизни. Последние годы он жил весьма странно, аскетом. Людей не видел. День и ночь проводил вот в этой библиотеке и в своей спальне, там была только деревянная кровать без перины и без подушки, и он спал на ней два часа в сутки. Ходил в холщовых штанах и рубашке и в сандалиях, это был его домашний костюм, летом и зимой. И вот в этом костюме, в котором он не показывался на улицу, он и исчез. Мы не смогли установить, как и когда, ночью или утром. Весь дом обычно спал в тот час, когда он прерывал работу: в три утра. А в пять он уже вставал, принимал душ и долгое время проводил в спальне, за медитацией — так, по крайней мере, мы думали, потому что маме он ничего не рассказывал. Он отошел от мира, от семьи. Когда я его видела — правда, очень редко,— я чувствовала, что он нас по-прежнему любит, но какой-то другой любовью...

— И все поиски ничего не дали? — спросил я.— Хоть каких-нибудь следов не осталось? Не может же быть, чтобы человек пропал вот так, бесследно?

— Не может, однако это именно так. Не нашли ничего, что выдавало бы приготовления к отъезду. И здесь, и в спальне все было в порядке. На столе, как всегда, раскрытые книги и тетради, в спальне на тумбочке — часы, ключи и кошелек с мелочью. Как будто его уход был внезапным, и он не успел ни собрать вещи, ни написать хотя бы слово, хотя бы «прости»...

Она резко встала, протянула мне руку.

— Ну вот, все с признаниями, теперь вы посвящены в то, что вам следовало знать с самого начала. Прошу только не говорить ничего маме. У нее есть определенные предрассудки на этот счет, и я не хотела бы ее огорчать...

Она ушла прежде, чем я набрался храбрости, чтобы задержать ее и расспросить поподробнее. Вопросов было много. Например, почему в тогдашней прессе не раструбили про это таинственное исчезновение. И как обстояло дело с теми господами, кого г-жа Зерленди приглашала поработать в библиотеке до меня и кому, как я понял, тоже немного удалось. Я опять уселся за стол, несколько оглушенный, не в силах связать воедино мысли, с новым чувством глядя на раскрытые передо мной папки, на обступавшие меня книги. Восхищение перед библиофилом-индологом уступило место сложной гамме эмоций, в которой смешались и страх, и недоверие, и жгучее любопытство. То, что сказала мне молодая дама, не укладывалось в голову. Однако в свете этих признаний понятной становилась осторожность г-жи Зерленди, старательно избегавшей разговора о смерти мужа, объяснились ее едва скрываемое нетерпение и интерес к ходу моей работы.

Я говорил себе, что исчезновение доктора Зерленди казалось таким невероятным, потому что он приготавливал его долго и тщательно, снедаемый тягой к Индии и решимостью сжечь за собой все мосты. Но именно этот продуманный до мелочей уход, который он держал в глубокой тайне, именно безусловная страсть к Индии со всеми ее безднами и потрясли меня больше всего. Я никогда раньше не встречался со случаями такого ухода-исчезновения — без прощальных слов, без записки, без каких бы то ни было следов. Рядом с подобным поступком бледнели все авантюры Хонигбергера, и я, бросив на столе его досье, направился к шкафам с книгами по индологии, где, как мне было известно, в ящиках хранились рукописи и картотеки доктора Зерленди, результат его многолетних трудов. Я выдвинул верхний ящик и внимательнейшим образом стал разбирать его содержимое. Оно представляло собой черновики санскритских упражнений, и я не без сладкой грусти узнал основы и склонения, над которыми тоже бился когда-то: *пграh*, *пграt*, *пгрепа*, *пграуа*, *пграt*, *пграсуа*, *пгре*, *пгра* и т. д. Санскритские буквы, было видно, выводились неловкой рукой. Но доктор отличался незаурядным упорством и муштровал себя, как школьный зубрила: десятки страниц уходили у него на склонение какого-нибудь одного слова. В следующей тетради появились уже связанные фразы, по большей части из «Хитопадешы» и «Панчатантры», с дословным и, тут же, вольным переводом. Я перебрал кипу черновиков, от первой до последней странички исписанных упражнениями, склонениями, спряжениями и переводами. В толстую тетрадь с алфавитом доктор заносил новые слова, встречаемые в текстах, кое-где на титульных листах тетрадей стояли даты: вероятно, день начала и окончания тетради, лишнее свидетельство труда, который приложил доктор к изучению санскрита, — тетрадь в триста страниц исписывалась упражнениями меньше, чем за две недели.

В тот дождливый осенний вечер ящик с рукописями не выдал мне никаких секретов, кроме ревностного желания доктора Зерленди овладеть санскритом. Только начало одной тетради на миг задержало мое внимание волнующими словами: *Shambala-Agarttha* — невидимая страна. Но только начало, дальше шли те же школярские упражнения.

На другой день я снова явился раньше обычного. Никогда не входил я в библиотеку с таким трепетом, с таким нетерпеливым любопытством. Я не спал ночь, раздумывая над тем, что сообщила мне дочь г-жи Зерленди, и пытаюсь понять, какой же должна была быть та сила, что подвигла доктора на столь крутой шаг, на бесповоротный разрыв с семьей, друзьями, с родной страной. В библиотеке я сразу бросился к его архиву, набрал целую охапку тетрадей, папок и черновиков и уселся за стол. На этот раз я рассматривал их с удвоенным

вниманием. Почерк доктора делался все более уверенным, и, наконец, санскритское письмо стало беглым. Через полчаса ко мне вошла г-жа Зерленди, бледная и осунувшаяся, хотя хворала она всего два дня.

— Мне очень приятно видеть, что работа доставляет вам удовольствие,— начала г-жа Зерленди, кивнув на кипу тетрадей, и добавила, слегка покраснев: — Этими бумагами еще никто не занимался. Вы не должны придавать значения тому, что сказала вчера Смаранда. У моей дочери богатая фантазия, она любит устанавливать связи между вещами, которые не имеют друг к другу никакого отношения. И что она могла понимать тогда, совсем девочка... Но потом ее жених, Ханс, погиб по собственной неосторожности на охоте, а поскольку он тоже начал изучать бумаги Хони́гбергера, Смаранда придумала себе целую теорию: что, дескать, все, причастное к Хони́гбергеру, несет на себе знак проклятия, и с теми, кто приступает к разбору его архива, а первым был мой муж, непременно случаются всякие несчастья — так же, якобы, как с исследователями гробницы Тутанхамона. Она просто начиталась книг про этого Тутанхамона и дала волю воображению.

Мое замешательство только усилилось от ее слов. Теперь я просто не знал, что думать, кого слушать. Г-жа Зерленди как бы оправдывалась за свою дочь. Но откуда она узнала, что та говорила мне? Не подслушивала же она под дверью...

— Ее жених погиб в двадцать первом году, и с тех пор она безутешна,— продолжала г-жа Зерленди.— Так безутешна, что порой теряет чувство реальности.

— Но она только сказала...— решил было я вступить за Смаранду.

— Не стоит больше об этом,— перебила меня г-жа Зерленди.— Я знаю, что она говорит прямо и что дает понять тем, кого находит в этой библиотеке.

Мне показались довольно уклончивыми объяснения г-жи Зерленди. Она опять не сказала ничего определенного о своем муже: ни что он умер, ни что исчез,— а просто попыталась отвести от себя обвинение дочери в том, что приглашала и других, до меня, на предмет разгадывания загадки Хони́гбергера, которая могла оказаться загадкой и ее мужа.

— Вот все, что я хотела вам сообщить,— проронила она слабым от усталости голосом.— А теперь, простите, я вернусь к себе, я еще не вполне поправилась.

Оставшись один, я заулыбался, представляя себе, как сейчас в библиотеку войдет Смаранда и станет просить меня не верить тому, что сказала ее мать. Однако любопытство взяло свое, и вскоре я снова углубился в тетради.

До самого вечера я листал упражнения по грамматике, тексты и переводы. Одну тетрадь, которая показалась мне более интересной, с выписками из ведийских и йогических книг, я отложил в сторону. Затем взялся за следующую, ничем не примечательную, в черной картонной обложке, с порядковым номером и датой, как на остальных. Первая страница была заполнена пассажирами из Упанишад. Перевернув ее, я не сомневался, что так и не найду здесь ничего, кроме текстов того же рода, но тут мой взгляд упал на начало второй страницы: *Adau vāda asit, sa cha vāda ishvarābhimukha asit, sa cha vāda ishvara asit!* Смысл слов не сразу дошел до меня, и я уже был готов листать дальше, когда в голове молнией сверкнул перевод. Это была заглавная фраза Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я удивился, что доктор привел эту цитату в санскритском переводе, и опустил глаза строчкой ниже, надеясь найти

объяснение. Но миг спустя кровь бросилась мне в лицо. Слова, которые я читал в чужой оболочке санскритских знаков, были румынские.

*«Я начинаю эту тетрадь в день 10 января 1908 года. Предосторожности, которые я принимаю, переодевая текст, поймет тот, кому удастся прочесть до конца. Не хочу, чтобы моей мысли касались случайные глаза...»*

Итак, вот зачем доктор начал вторую страницу цитатой из Евангелия от Иоанна: он привлекал внимание посвященного, что ниже следуют не индийские тексты. Защита от профанов, маскировка: тетрадь как тетрадь, так же пронумерована, то же санскритское письмо — ничего, что бы выделило ее из кипы подобных.

У меня дух захватило от волнения. К тому же пора было уходить, я и так засиделся. Если бы я позвал г-жу Зерленди и стал при ней расшифровывать текст, возможно, я поступил бы против воли автора. Нет, прежде чем показывать другим, я должен был прочесть все сам. «Но сегодня у меня уже нет времени», — в отчаянии думал я.

Тут отворилась дверь, и вошла служанка. Она казалась угрюмой обычного и глядела на меня волком. Я уставился в первую попавшуюся тетрадь, испытывая чуть ли не физические муки оттого, что не могу остаться один еще на несколько часов.

— С завтраго будем пыль трясти, — объявила служанка, приближаясь ко мне. — Чтоб вы знали. А то будете зря таскаться. Я ежели начну трясти, так меньше чем за два дня не управлюсь...

Я кивнул головой в знак согласия. Но служанке, вероятно, пристала охота поговорить. Она подошла к столу и ткнула пальцем в бумаги.

— Дьявольские дела, порчу на разум наводят, — заговорила она со значением. — Вы лучше скажите барыне, что вам с ими не управиться, и спасайте свою молодую жисть, от них грех один.

Я оторвал глаза от тетради и взглянул на нее испытующе.

— Господин доктор из-за них сгинул, — продолжала она.

— Умер? — быстро спросил я.

— Ушел куда глаза глядят и сгинул, — повторила она тем же тоном.

— Но ты его мертвым видела? — допытывался я.

— Никто его мертвым не видел, ушел в белый свет и сгинул, без свечки, без ничего. Дом осиротил... Вы барыню не слушайте, — добавила она, понизив голос. — Она тоже, бедная, рассудком тронулась. Через два-то года после того пропал и братец ихний, префект, привел сюда одного француза, ученого француза...

— Ханса, — подсказал я.

— Нет, этот барчук после пришел. Да он и не француз вовсе. После войны уже пришел... И тоже молодой помер...

Я уже не знал, что сказать, и сидел, онемев, не сводя с нее глаз и впервые чувствуя, как меня одолевает мара. Служанка обтерла ладонью ребро стола.

— Затем и пришла, — проговорила она, помолчав. — Сказать, что мы будем два дня пыль трясти...

Потом, хромая, отступила и вышла в ту же дверь, ведущую в салон. Я снова придвинул к себе заветную тетрадь. Было невозможно, только что найдя, расстаться с ней на три дня. Почти не отдавая себе отчета в том, что делаю, я спрятал ее под пиджак. Потом выждал несколько минут, пока не унялась дрожь во всем теле, не выровнялось дыхание, положил на место остальные тетради и вышел на цыпочках, больше всего боясь встретить кого-нибудь, выдать свои мысли, свой грех.

Придя домой, я первым делом заперся и плотно сдвинул шторы, чтобы свет настольной лампы не навел кого-нибудь из знакомых на мысль потревожить мое одиночество. И чем дальше за полночь, тем больше я терял ощущение времени и места, всем существом уйдя в расшифровку записок доктора Зерленди. Чтение давалось не слишком легко. Вначале доктор очень старался, тщательно подыскивая для румынских звуков санскритские эквиваленты. Но уже через несколько страниц транскрипция стала приблизительной, и мне приходилось скорее угадывать слово, чем читать его, фразы делались все отрывистее, словарь — все условней, шифрованной. На пороге своих последних опытов доктор принял дополнительные меры против профанов, используя исключительно йогическую терминологию, недоступную тем, кто не углубился, как он, в эту обильную тайнами науку.

*«Письмо Хонигбергера к Ж. Е. было для меня лучшим тому подтверждением»,* — писал доктор в начале своего дневника, не поясняя, кто такой Ж. Е. и каково содержание его письма, о котором, правда, как-то раз упоминала г-жа Зерленди. *«Еще с весны 1907-го я стал склоняться к тому, что в своих индийских записках Хонигбергер не только не преувеличивал, а, напротив, недоговорил очень много из того, что он увидел и сумел воплотить сам».* Следовал ряд отсылок к работам Хонигбергера: случаи нечувствительности к боли, случаи левитации, видимой смерти, закапывания заживо и пр. — письмо к Ж. Е., вероятно, дало основания поверить в подлинность этих явлений.

*«Я начал свои опыты в день 1 июля 1907 года. Шестью месяцами раньше я строго пересмотрел свой образ жизни и отказался от табака, алкоголя, мяса, кофе, чая и т. п. Не стану сейчас восстанавливать историю этого жалкого предварительного этапа. Мне понадобилась железная воля, потому что я много раз был на грани того, чтобы сдать и вернуться к своим историографическим развлечениям. К счастью, письмо Хонигбергера к Ж. Е. доказывало, что те вещи осуществимы, и постоянно поддерживало меня. Но я никогда не думал, что можно продвигнуться так далеко с помощью таких относительно малых затрат. Стоит только добыть первые силы, с глаз спадает пелена, и ты видишь, сколь велико людское невежество и какая плачевная иллюзия морочит нас изо дня в день до порога смерти. Чтобы удвоить свои социальные амбиции или свое научное тщеславие, человек прилагает, пожалуй, больше воли и энергии, чем надо для достижения истинной цели: личного спасения — спасения от низкой жизни, невежества и страданий».*

Довольно подробно доктор описывал — в тот день, 10 января 1908 года, и в последующие дни — свои первые опыты. Судя по всему, он загодя изучил йогическую литературу, особенно трактат Патанджали с комментариями, освоил индийскую философию в части аскезы и мистики, но до тех пор не пробовал применить знания на практике и, похоже, сразу начал с труднейшего упражнения по ритмизации дыхания — пранаямы. Обнадеживающих результатов, правда, достиг не скоро.

*«25 июля я заснул во время упражнения»,* — записывает он, отметив, что несколькими днями раньше перенес приступ кашля необыкновенной силы. — *Я занимался пранаямой регулярно после полуночи и на рассвете. Единственным результатом была тяжесть в груди и приступы сухого кашля. На третьей неделе этих трудов я понял, в чем мое упущение: пытаюсь ритмизировать дыхание по Патанджали, я забывал сконцентрировать ум на одном объекте. Именно этой ментальной пустоте я и был обязан сопротивлением организма. Я снова прибегаю к совету Хонигбергера. Заткнул уши воском и приступил к пранаяме не прежде, чем произнес молитвы. Я достиг состояния необыкновенной внутренней ти-*



шины. Даже теперь ясно помню первые ощущения: я находился как бы посреди разъяренного моря, которое на глазах успокаивалось, пока не превратилось в бескрайнюю водную гладь, не тревожимую ни волнами, ни даже малейшей рябью. Затем я ощутил полноту чувств, сравнимую разве что с той, какую дает иногда долгое слушание Моцарта. Несколько дней подряд я повторял этот опыт, однако дальше продвинуться не удалось. Я просыпался через четверть часа в приятных и неопределенных грезях. Опять не то! Упражнение подразумевало совсем иную цель. Значит, где-то на полпути я терял контроль над собой и отдавался на волю эманаций своего собственно го мозга. Я начал все сначала, результат был тот же: грезы, дремота или упоительная безмятежность...»

Как я волновался, читая эти свидетельства! Ведь и я тоже подступался к упражнениям, которые доктор выполнял с таким усердием, ведь и я встречал те же препоны! Но он оказался удачливее и, во всяком случае, сильнее характером. В первые дни сентября 1907 года он — может быть, невольно — перешел очень важный рубеж в пранаяме, то есть в установлении баланса между вдохом и выдохом.

«Начал, как обычно, с задержки дыхания на 12 секунд». Это означало, что ему удалось сделать вдох на 12 секунд, на 12 секунд задержать дыхание и за столько же выдохнуть.

«Предметом медитации в тот день был огонь». Значит, он зафиксировал мысль, например, на жаровне с углями и попытался проникнуть в суть огня, примкнуть к нему в космосе, усваивая при этом его принцип, отождествляя его со столькими процессами в собственном теле, сводя бесконечность различных горений, которые составляют и вселенную, и каждый отдельный организм, к этому раскаленному сгустку, представляющему его глазам.

«Я не уловил, как это произошло, но спустя некоторое время я проснулся спящим — или проснулся во сне, который не был сном в строгом смысле этого слова. То есть в сон, все более глубокий, погружалось мое тело, мои чувства, а разум ни на секунду не прекращал свою активность. Все уснуло во мне, кроме сознания. Я продолжал медитировать на тему огня, в то же время каким-то образом отдавая себе отчет, что мир вокруг преобразуется до неузнаваемости и что если я хоть на миг ослаблю концентрацию внимания, я естественно сольюсь с этим миром, который есть мир сна...»

Как признает ниже сам доктор Зерленди, в тот день ему удалось сделать первый и, может быть, самый трудный шаг на своем заветном пути. Он достиг того, что по йогической терминологии называется непрерывность сознания, то есть переход от состояния бодрствования к состоянию сна без всякого зазора в работе мозга. Сознание обычного человека грубо рассечено сном; засыпая, он не сохраняет непрерывность ментального потока, не сознает себя спящим (самое большее — иногда понимает, что видит сон), и ему не дано ясно мыслить во сне. Обрывки сновидений и неопределенный страх — вот все, что остается ему при пробуждении.

«Что больше всего напугало меня, когда я понял, что не сплю во сне, — так это преобразование мира, который стал совсем не похож на мир дневного сознания. Очень трудно передать, как я улавливал эту перемену, поскольку мой мозг был сконцентрирован целиком, как пучок лучей, на идее огня, а чувства спали. И все-таки: я как бы пребывал в ином пространстве, где не было нужды смотреть, чтобы видеть, а я видел постепенное преобразование комнаты, где находился, трансфигурацию предметов, форм, цвета. Слова тут бессильны, и если я все же попытаюсь, как могу, описать происходившее, то только потому, что никто, сколько мне известно, не осмеливался доверить бумаге подобный опыт. Я продолжал созерцать огонь — не так, как это делают, когда хотят впасть в транс, гипнотизм я изучал достаточно, знал его технику

и эффекты. Созерцая огонь, я думал о нем, я причащался ему, проникая мыслью в собственное тело, распознавая в себе все виды горения. Мышление, таким образом, было не застывшим, а просто цельным, то есть оно не дробилось по разным направлениям, не делило себя между множеством предметов, не отвлекалось ни на какой внешний зов, ни на какие игры подсознания. Огонь был лишь точкой опоры для этого цельного мышления; однако оно проводило меня всюду, где мне надо было опознать огонь. Итак, гипноз исключался, тем более что ясность сознания во мне не ослабевала: я знал, кто я, почему нахожусь в таком положении, зачем ритмизирую дыхание, с какой целью медитирую на тему огня. И при всем том попутно и одновременно отдавал себе отчет, что пребываю в ином пространстве, в ином мире. Тела я больше не ощущал, лишь голову — легким теплом, но и оно постепенно ушло. Предметы вокруг стали как бы текучими, они текли непрерывно, сохраняя все же при этом свои очертания. Сначала мне казалось, что я смотрю на них сквозь текущую воду, однако такое сравнение было бы не совсем точным. Текли сами вещи, одни тише, другие быстрее, но я совершенно не мог определить, куда они текут и каким чудом их субстанция не истощается при постоянном ее переплескивании через край. Хотя, если попытаться определить точнее, речь шла не о перехлестывании предмета через свой край, а скорее о непрерывной текучести самих краев, очертаний предметов. Что было еще страннее — все предметы кочевали по комнате, то съезжаясь, то разъезжаясь. Не глядя на них, я знал, что они все тут: кровать, два стула, ковер, картина, ночной столик и т. д., — и было впечатление, что они мгновенно сгрудятся в одном месте, стоит мне остановить взгляд на каком-либо из них. Впечатление было четким, не иллюзорным, я сравнил бы его с ощущением пловца, который определенно знает, что может поплыть дальше, а может вернуться на берег. То есть ощущение было знакомым, хотя вряд ли я переживал его когда-нибудь. Была и другая уверенность — что я могу видеть дальше, чем позволяют стены комнаты. Не то чтобы вещи стали прозрачными, нет. За исключением их текучести и способности съезжать с мест, они оставались такими же, как прежде. Но при этом я мог видеть то, что за ними, хотя, повторяю, не делал попыток смотреть. Сказать, что я видел сквозь твердые тела, будет неверно, я именно видел то, что за ними. Стены были вот, передо мной, и все же я знал, что они — не препятствие для взгляда. Так человек, сидящий в своей комнате, может охватить мыслью весь дом, поскольку он знает, то есть как бы видит то, что находится в соседней и других комнатах — и, конечно, без ощущения, что его взгляд проходит сквозь стены...»

## 6

Запись была сделана, судя по всему, после того как доктор многократно повторил опыт непрерывности сознания. Четкость почерка свидетельствовала, что он тщательно отредактировал приведенный выше фрагмент, прежде чем переписать его санскритскими буквами, чего никогда не делал в дальнейшем, не тратя больше времени на черновики.

«... Через некоторое время пришло желание глубже соприкоснуться с миром сна, обследовать близлежащее и видоизмененное пространство. Но я не решался оторвать взгляд от огня — меня останавливало непонятное беспокойство, граничащее со страхом. Не знаю, как получилось, что я внезапно закрыл глаза. Не от усталости, нет, ни в коем случае, потому что, повторяю, я чувствовал себя спящим, а мой мозг был бодр, как никогда. Я содрогнулся, обнаружив, что с закрытыми глазами вижу так же, как с открытыми. Только теперь потек и огонь, вслед

за всеми остальными предметами, причем он сверкал теперь сильнее, хотя, я бы сказал, безжизненнее. Чуть поколебавшись, я опять открыл глаза. Никаких сомнений: смотреть или не смотреть было все равно; я видел все, что хотел, не обращая взгляда в ту или иную сторону, я бросал не взгляд, а мысль. Я подумал о саде за нашим домом — и тут же увидел его воочию. Зрелище изумляло: океан растительных соков в неустанном колыхании. Деревья норовили сплестись друг с другом, трава вздымалась, как водоросли, только плоды на ветках были поспокойнее, влекомые плавным качанием... Затем мираж этого растительного буйства внезапно исчез — я подумал о Софье и вот уже видел, как она спит в спальне на нашей большой кровати. Вокруг ее головы подрагивала темно-фиолетовая аура, а с телом происходила как бы непрерывная линька: пласт за пластом отделялись от него и, отделившись, таяли. Я долго смотрел на Софью в упор, пытаюсь понять, что происходит, наблюдая робкий огонек, вспыхивающий то против ее сердца, то чуть ниже. Затем был страшный момент: я вдруг понял, что Софья рядом. Я видел, как она по-прежнему спит в постели, и в то же время она сидела подле меня, с изумлением заглядывая мне в глаза, как будто хотела о чем-то спросить. Изумление было сверх всякой меры. Возможно, я выглядел не так, как она привыкла меня видеть, или был не похож на тех, кого она обычно встречала во сне. В самом деле, только позже, после того, как я многожды повторил свой опыт, я начал осознавать, что люди, которые возникали вокруг меня, были проекцией их собственного спящего сознания. (Признаюсь, я не совсем понимаю, что хотел сказать доктор Зерленди. Но оставляю этот пассаж, поскольку он может быть интересен для оккультистов. Один садху, с которым я подружился в тридцатом году в Конараке, говорил мне — хотя я не знаю, насколько этому можно верить, — какое потрясающее чувство встречать во время определенных йогических медитаций духи людей, которые спят и тенями витают в измерении сна. Они смотрят на тебя с беспокойством, не понимая, как ты очутился там, бдящий, с ясным сознанием). Несколько минут спустя пространство вокруг меня внезапно изменилось, страх перевел меня снова в состояние бодрствования. Не меняя позы, в которой начинал опыт, я проверил свой дыхательный ритм: он был на том же уровне, на счет 12...»

Итак, переход был резким, действие сознания во сне оборвалось страхом. Доктор Зерленди, запершись у себя, упражнялся весь следующий день, пока не добился того, что стал возвращаться в обычное сознание без неприятных перепадов, одной только своей волей. Акт воли выражался так: «Теперь я возвращаюсь». При этом он учащал дыхательный ритм с 12 до 8 секунд, плавно выходя из состояния сна.

Последующие опыты записаны конспективно. Доктор то ли не хотел, то ли не мог сказать больше, не находя сравнений. В одном месте он констатирует: «Объединение сознания достигается через плавный, то есть без всякого разрыва, переход из состояния в состояние: от бодрствования ко сну со сновидениями, затем — в сон без сновидений и, наконец, в состояние катаlepsis. Воссоединение этих четырех состояний, предполагающее (при всей его видимой парадоксальности) воссоединение сознательного, подсознательного и бессознательного, постепенное освещение темных, непроницаемых зон психоментальной жизни, есть, впрочем, цель технических preliminаний йоги».

Индийские аскеты, с которыми я знакомился и которые соглашались давать мне кое-какие объяснения, считали именно этап воссоединения сознания самым главным. Сколько ни практикуй йогу, но, не одолев этой ступени, нечего и помышлять о духовном прорыве.

Весьма скупое сказано про переход от стадии сна со сновидениями к стадии глубокого сна: «Мне удалось еще продлить вдох и выдох — до 15 и даже до 20 секунд». Это означает, что он довел частоту дыхания

до одного раза в минуту: задержка дыхания, вдох и выдох — все по 20 секунд.

*«Впечатление, что я обращаюсь в мире спектров, где нет ничего, кроме цветных пятен, почти не отлитых в формы. Вместо форм — звуки, каждое пятно — источник звука».* Тут доктор, сколько я понял, упоминает о том звучащем космосе, который становится доступным посвященному лишь в результате многократных медитаций над звуками, над «мистическими слогами» из трактатов Мантра-йоги. На определенном уровне сознания в самом деле могут остаться лишь звуки и краски, а собственно формы, как по волшебству, исчезают. Но свидетельства доктора Зерленди слишком скупы, чтобы мы могли на них основываться.

Чем невероятнее результаты его йогической практики, тем более сдержанны записи. По поводу состояния каталепсии только один абзац: *«Последний опыт дал мне способность узнавать мысли любого человека, стоит только сосредоточить на нем внимание. Проверил на Софье, она как раз в это время кончала письмо управляющему. Я мог просто прочесть письмо, но не сделал этого, я был там, подле нее, и все ее мысли — не только те, что попали в письмо, — узнал совершенно естественно, как если бы она сама поделилась ими со мной».*

Какими бы поразительными ни были опыты, доктор Зерленди не придавал им самодовлеющего значения. *«Того же результата можно достичь и без излишне строгой аскезы, одной только максимальной умственной концентрации. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не разуму современного человека совершать подобные усилия. Он разбрасывается, он постоянно рассеян. Аскеза нужна не для того, чтобы разбудить в себе оккультные силы, а чтобы не пасть их добычей. Испытание неведомых состояний сознания может быть настолько соблазнительным, что есть риск убить на них всю жизнь, так и не дойдя до цели. Это новый мир, но он остается миром. Ограничиться исследованием его, не пытаясь выйти за его пределы (как я попытался выйти за пределы мира бдения), — все равно, что, уча новый язык, приняться читать все книги, написанные на нем, отказавшись от изучения других языков».*

Я не смог уточнить, как далеко продвинулся доктор в практике йоги, когда только начал свой дневник. Почти двадцать страниц, датированные 10, 12 и 13 января 1908 года, содержали краткое резюме, в расчете на возможного читателя, предварительных этапов его продвижения, но не уточняли, до какой ступени он дошел. Много раз упоминался пресловутый Ж. Е.

*«. . . В этом и заключалась смертельная ошибка Ж. Е., — писал доктор в одном месте. — Он не осознал ирреальность феноменов, которые открыл в спектральном мире, и решил, что это крайний предел, какого может достигнуть человеческий дух. Он придал своему опыту абсолютную ценность, тогда как на самом деле это была промежуточная стадия. Здесь, я думаю, причина его паралича. Хонигбергеру удалось, вероятно, реактивировать у него определенные центры, но не более того, амнезия была необратимой».*

Темный пассаж. Возможно, этот Ж. Е. не сумел до конца овладеть своим сознанием и пал жертвой собственных открытий в надреальном мире. Все индийские трактаты по оккультизму считают высшие космические уровни, которых достигает аскет с помощью йоги, столь же «иллюзорными», что и космос, в котором все мы существуем. С другой стороны, я не понимаю, о реактивации каких центров идет речь — нервных или оккультных, известных йогической и тому подобным традициям. В любом случае похоже, что несчастный Ж. Е. под прямым влиянием Хонигбергера попытался примерить на себя какую-то йогическую практику и это плохо кончилось — то ли по причине, названной

доктором Зерленди, то ли по причине его конституции, не подходящей для подобной практики.

*«Получилось!.. — отмечает доктор Зерленди ниже, говоря не более не менее как о проекции сознания вовне из состояния каталепсии. — Поскольку мой сенсорный склад исключительно азиатского образца(?). Не думаю, чтобы это получилось у европейца. Они чувствуют свое тело в лучшем случае до диафрагмы, не ниже, да и то достаточно редко, а как правило, чувствуют только голову — теперь я это знаю, теперь, когда я вижу их так, как они себя никогда не видят, когда от меня не укроется ничего».*

Еще одна криптограмма. Можно предположить, что выражение «сенсорный склад азиатского образца» относится к восприятию собственного тела, которое варьируется от расы к расе. Мне известно, например, что восточный человек по-другому ощущает свое тело, чем мы, европейцы. Чужое прикосновение к его ноге или плечу — для него такое же насилие, как для нас, когда нам зажимают глаза или рот. Что касается «ощущения тела ниже диафрагмы», это скорее всего обозначает неспособность западного человека к *целостному восприятию* своего тела. В самом деле, считанные единицы из нас могут похвастаться тем, что *чувствуют* тело как *целое*. Большинство чувствуют себя «по частям» — голову, сердце, — и то лишь в определенных обстоятельствах. Попробуйте, например, хотя бы в позиции полного покоя, когда лежите в постели, ощутить свои ноги — вы увидите, какая это трудная задача.

*«Я достаточно легко соединил оба потока (?) у ступней, — продолжает доктор описание опыта, — и в ту же минуту обрел уверенность, что замкнулся, стал сферой, что теперь я — непробиваемый и абсолютно непроницаемый шар. Ощущение полной автономии и неуязвимости. Мифы о первочеловеке, замысленном в форме сферы, естественно проистекают из этого опыта соединения потоков».*

Не осмелюсь утверждать, что потоки, о которых идет речь, соответствуют негативному и позитивному потокам в терминах европейской оккультной терапевтики. Скорее доктор имеет в виду ту пару флюидов весьма трудно определенной природы, которые, по индийским оккультным представлениям, пронизывают человеческое тело и которые в тантрах и йогических доктринах приравниваются к луне и солнцу. Но, повторяю, ничего определенного я утверждать не смею, поскольку лишь фрагментарно знаком с этапами эксперимента, который предпринял доктор.

## 7

На протяжении февраля, марта и апреля 1908 года интервалы между записями доктора Зерленди увеличиваются. Да и эти немногие страницы больше похожи на шифровку и относятся к опытам предыдущих месяцев. Интерес доктора к дневнику заметно ослабевает. Если раньше он старался как можно полнее описывать свои ощущения во время опытов, то теперь описание перестало его занимать. То ли он решил, что такие вещи все равно недоступны пониманию возможного читателя, которому они попадутся на глаза, то ли настолько отошел от нашего мира, что пропала потребность делиться знанием. Так или иначе, за три месяца он считанные разы делает записи, относящиеся непосредственно к опыту того же дня. В основном записывает предшествующие опыты. Похоже, его открытия были слишком захватывающими, чтобы вести их регулярный учет. Особенно при переходе к новому опыту — он бывал так им поглощен, что делал соответствующую запись лишь много позже, и то весьма кратко.

*«На рассвете практиковал муктасану, результаты — так себе», — записывает он в апреле.*

Мне понадобилось бы несколько страниц, чтобы расшифровать фразу об этой асане, и я не стану даже пытаться, поскольку тетради доктора Зерленди изобилуют техническими указаниями относительно того или иного положения тела во время йогической медитации, относительно дыхательных упражнений или физиологии аскетизма. Тем более что кое-какие комментарии к подобной практике я включил в свою книгу о йоге и не хочу перегружать ими эту историю.

Ближе к концу апреля 1908 года интерес доктора к дневнику снова оживляется. Беглые и чисто технические заметки сменяются, наконец-то, более подробными пассажами.

*«Среди прочих наиглавнейших вещей, которые Хонигбергер открыл Ж. Е., было и существование Шамбалы, мифической страны, по преданию располагающейся где-то на севере Индии и куда могут попасть только посвященные. Ж. Е. до того, как потерять рассудок, считал, что этот невидимый край может все же быть доступен и другим, — я нашел в Яссах листок с именами двух иезуитов, Штефана Качеллы и Иоана Кабрала, по его утверждению, побывавших в Шамбале. Мне удалось не без труда достать книги этих двух миссионеров, и я пришел к выводу, что Ж. Е. выдает желаемое за действительное. Качелла и Кабрал — в самом деле, первые европейцы, которые проведаль про Шамбалу и упоминают о ней. Находясь в Бхутане и ища дорогу на Катхай, они узнали о том, что есть такая волшебная страна — где-то к северу, по словам местных жителей. На поиски ее они и отправились в 1627 году, но добрались только до Тибета, не обнаружив, конечно, никакой Шамбалы. В отличие от Ж. Е. я, прочтя о ней у Хонигбергера, подумал, что она и не может отождествляться с какой-то территорией, географически закрепленной в центре Азии. Я припомнил и Агартху из индийских легенд, и «белые острова» из буддийской и брахманской мифологии. Я никогда не встречал ни одного индийского текста, где бы утверждалось, что в эти волшебные места можно проникнуть иначе, чем с помощью сверхъестественных сил. Все свидетельства говорят о «полете» Будды или других посвященных в эти края, скрытые от глаз профанов. А «полет», как известно, на языке символов и тайн означает способность человека трансцендировать мир чувств и, следовательно, получать доступ в невидимые миры. Все, что я знал о Хонигбергере, давало основание полагать, что он проник в Шамбалу благодаря своей йогической технике — к 1858 году он преуспел в ней на диво, — но что миссию, которой он, возможно, был облечен, ему не удалось завершить. Другого объяснения, почему он не задержался в Индии и почему вскоре после возвращения умер, оставив документ столь большой важности на руках впавшего в безумие юнца Ж. Е., я не нахожу...»*

Как сжималось мое сердце, когда я читал эту страницу! Сколько воспоминаний всколыхнулись посреди ночной глуши два эти слова: Шамбала и Агартха! Ведь и я однажды отправлялся на поиски невидимой страны в решимости не возвращаться в мир, пока не познаю ее. Открылась старая рана, которую я давно считал зажившей, и я припомнил месяцы, проведенные в Гималаях близ их границы с Тибетом, при святом Бхадринатском тракте, где я спрашивал всякого встречного-поперечного, отшельника и схимника, не слыхал ли он что про Шамбалу, не знает ли кого, кто владеет этой тайной. И если бы я остался в моей хижине на левом берегу Ганга, в моем скрытом джунглями убежище, о котором я думаю не иначе, как о потерянном рае, может быть, там меня и настигла бы разгадка тайны, может быть, после долгих лет приуготовлений и упорных попыток я бы нащупал путь, ведущий в не-

видимую страну. Но мне на роду было написано лишь до самой смерти лелеять ее в своих печалях и не узнать никогда. . .

Гораздо острее терзания того, кто свернул с полдороги, а потом узнал, что дорога была верной. Записки доктора Зерленди укрепили мои подозрения, ибо все, что последовало, происходило точно так, как должно было происходить, по моим представлениям, с тем, кто посвятил себя поискам Шамбалы.

*«Я всегда держал в уме живой образ невидимой страны, куда проник Хонигбергер. По сути, я знал, что эта страна невидима только для глаз профана. А точнее, что речь идет о стране отнюдь не географической, то есть доступ туда открывается лишь после тщательной и суровой духовной подготовки. Я представлял себе Шамбалу, скрытую от человеческих глаз не Бог знает какими природными препятствиями: высокими горами или глубокими водами, — а тем пространством часть которого она составляет, пространством, качественно отличным от профанного. Уже первые йогические упражнения утвердили меня в этой вере, потому что я увидел, насколько пространство йогического опыта отличается от пространства других человеческих знаний. Я даже начал было, вот в этой тетради, подробно описывать упражнения, но скоро понял, что они неопишутемы. Тот, кто их делал, согласится со мной. И все же я продолжаю свои записки, поскольку время от времени необходимо подтверждать старую истину, в которую сегодня никто не верит. Сам Хонигбергер, как я полагаю, вернул себя из Шамбалы с тем, чтобы попытаться возродить на Западе средневековые центры инициации, находящиеся там в прозябании. Тому подтверждение — его внезапная смерть: либо он вообще не знал, каким образом выполнить свою миссию, либо с самого начала совершил промах, потому и умер при столь таинственных обстоятельствах. Что касается меня, то хотя определенности в результатах пока нет, но есть некое невидимое влияние — некто ведет меня и направляет, и от этого крепнет вера, что в конце концов я добыю своего».*

Больше о «невидимом влиянии» доктор Зерленди не говорит. Однако достаточно говорит о нем оккультная традиция, особенно восточная, и все последующее дает мне основания думать, что не иллюзия владела доктором, когда он упоминал об этом «некто». Ибо его совершенствование в йоге скоро набирает стремительный темп. Лето 1908 года он проводит, уединившись в одном из родовых имений, а затем, по возвращении в Бухарест, кратко излагает на бумаге некоторые свои опыты. Иные из них вполне воспроизводимы. Например, он пишет о том, как он видит мир во время некоторых медитаций: мир, где все наоборот, то есть все предметы отвергают свою сущность. Так, прочное кажется хрупким, хрупкое — прочным; пустоты представляются наполненными, а все плотное, густое производит впечатление вакуума. Далее без всяких уточнений доктор Зерленди роняет фразу о том, что мир — в его совокупности — он видел, цитирую по рукописи, *«полной противоположностью тому, как видит его человек, когда не спит»*. Правда, это выражение в точности совпадает с формулами мистиков и ритуальных книг, где всегда говорится об ином мире, или мире, познаваемом в экстазе, как о «полной противоположности» тому, что мы видим глазами своей телесности.

Столь же причудливо свидетельство доктора насчет возвращения в видимый мир после долгой медитации.

*«Сначала у меня было ощущение, что я не держу равновесия и упаду при первом же шаге. Пропала нормальная уверенность, как будто мне предстояло снова адаптироваться в трехмерном пространстве. Поэтому я долго не смел шевельнуться, а лежал, как камень, ожидая, что произойдет чудо и ко мне возвратится уверенность, потерянная во время транса. Теперь я понимаю, почему святые после эк-*

стаза целыми часами и даже сутками остаются без движения, словно их дух еще не отпустило Божественное».

Под датой 11 сентября 1908 года записано: «...три раза испы­бовал каталептический транс. Первый раз 12 часов, второй и третий — по 36. Говорил леснику, что ухожу в усадьбу, а сам запираюсь в своей комнате, зная, что теперь меня никто не потревожит. Впервые смог проверить на себе **выход из времени**: дух оставался в действии, но тело в течении времени не участвовало. Прежде чем войти в транс, я брился, и через 36 часов мое лицо оставалось точно таким же гладким. Иначе и быть не могло, потому что человек испытывает время через свой дыхательный ритм. Между вдохом и выдохом проходит определенное число секунд: **жизнь и время** совпадают. Мой первый каталептический транс начался в 10 утра и кончился в 10 вечера: во все это время мое тело пребывало в том состоянии, которое называют иногда видимой смертью, без малейших признаков дыхания. То есть вдох, сделанный в 10 утра, перешел в выдох в 10 вечера, и мое тело, таким образом, было изъято из времени. Для него 12 часов свелись к нескольким секундам, потраченным на долгий утренний вдох и медленный выдох, предшествующий пробуждению. Я прожил, по человеческим меркам, только половину тех суток. За 24 часа мое тело состарилось лишь на 12, жизнь приостановилась, не повредив при этом организму».

Опыт, сделанный доктором Зерленди, в сущности, весьма попу­лярен, хотя до сих пор изучен недостаточно. «Видимая смерть», вокруг которой было столько шума во времена Хонигбергера, — это, кажется, в самом деле выпадение из времени. Только так можно объяснить, почему после десяти- или стодневного транса человек не теряет прежнего веса, а щеки его не обрастают щетиной. Но это состояния, которые — категорически — превосходят повседневные, и о них мы просто не можем иметь ни малейшего представления. Никакая самая раскованная фантазия адекватно не воспроизведет подобный «выход из времени». Указания, которые мы встречаем у некоторых святых или в восточных оккультных книгах, нашему пониманию недоступны. Я лично собрал целую коллекцию подобных свидетельств, изложенных по большей части в аллегорических выражениях, и они остаются для меня тайной за семью печатями. Только смерть принесет иным из нас — собственное знание проблемы.

*«Вот что меня по-прежнему изумляет: люди проходят мимо этого опыта! Самые видные из ученых довольствуются тем, что просто отвергают подлинность подобных экспериментов — пусть при них присутствуют сотни свидетелей, — предпочитая оставаться на своих ретроградных позициях. Это все равно, что признавать передвижение по воде только вплавь и отвергать возможность пересечь море лишь на том основании, что не признаешь лодок».*

## 8

С сентября 1908 года записи в дневнике на четыре месяца прерываются и возобновляются лишь в начале января 1909-го. Они настолько «техничны», что воспроизводить их здесь бесполезно. Это просто-напросто изложение метафизических принципов и практических приемов йоги, изложение отрывочное, порой на вид бессмысленное.

*«26 января. Опыт темноты. Каждую букву сначала».*

Тут, без сомнения, ссылка на предыдущие эксперименты, возмож-



но, на медитацию вокруг звуков и букв, так называемую Мантра-йогу, хотя прямых указаний на то нет. Но что такое «опыт темноты»? Ниже: *«5 февраля. Произвел над телом самьяму. Это невероятно, и все же так оно и есть».*

Фраза имела бы смысл, если бы доктор ссылался на текст Патанджали, где говорится, что, совершив над своим телом самьяму, йог становится невидимым для чужих глаз. Самьямой Патанджали называет три последние ступени совершенствования в йоге, о которых не место здесь рассуждать. Все же мне трудно поверить, что доктору удалось это чудо еще 5 февраля 1909 года. Как же тогда объяснить его удивление много месяцев спустя? Как объяснить эти последующие 18 месяцев, о которых мы хотя и знаем слишком мало, но все же знаем, что они ушли у доктора именно на приобретение способности делаться невидимым?

Впрочем, понимать текст было все сложнее. И к тому же — объяснять для себя его противоречия.

*«Март. Перечел кое-что из Упанишад. Изумительный прогресс в понимании оригинала».*

Как прикажете трактовать подобное признание? Когда человек достиг того, чего достиг он, что может дать чтение Упанишад в оригинале? И потом — какой смысл могло иметь изучение санскрита для того, кто уже усвоил нечто большее, чем сухая наука? Разве что он свернул на время с дороги или решил растянуть свое продвижение в йоге под тем «влиянием», о котором предпочитает умалчивать. А может, тут дело в ином подходе к тексту — не «книжном», когда читают и размышляют над смыслом, но чисто индийском, когда мистическое знание добывают одним только точным произношением священных слов, через которое открывается Логос. Действительно, в одном месте доктор вскользь упоминает о каких-то упражнениях по «мысленному произнесению» священного индийского текста. А в начале лета он пишет о подтверждении «мистических букв» определенными состояниями «разреженного сознания» (которое правильнее было бы назвать «сверхсознанием»).

К тому же периоду относится свидетельство об усвоении «оккультного зрения» благодаря «реактивации третьего ока». Я знал по мифологии и мистическим учениям Азии, что тот, у кого открылось третье око между бровей, получает способность видеть на необозримые расстояния. Сведения об этом «оке Шивы», как его называют индийцы, впрочем, довольно противоречивы и в любом случае крайне невняты для человека несведущего. Одни говорят, что «око Шивы» ориентирует в пространстве и является как бы шестым чувством, другие — и их большинство — утверждают, что новое зрение, обретаемое посвященным, не имеет ничего общего с миром форм и иллюзий, а относится исключительно к миру духовному. «Око Шивы» позволяет созерцать непосредственно духовный мир, то есть дает доступ к сверхчувственному измерению. Однако доктор Зерленди предпочитает не распространяться на эту тему. Не может — или не волен? .

Снова следует интервал, долгое молчание, границы которого я даже не могу уточнить, поскольку возобновившиеся записи не датированы. К тому же они почти не поддаются расшифровке. Разве что место о «безличном сознании», если исходить из следующего отрывка: *«Самое трудное, а лучше сказать, недоступное сейчас для западного человека есть безличное сознание. За несколько последних столетий только считанное число мистиков обрели его. Все мытарства, которые переживает человек после смерти, все эти муки ада и чистилища, на которые обречены души умерших, проистекают из неспособности человека обзавестись при жизни безличным сознанием. Драма души пос-*

ле смерти и наждачная чистка, которой она подвергается,— всего лишь этапы мучительного перехода от личностного сознания к безличному...»

Следующая страница тетради вырвана. Затем идет запись под датой 7 января 1910 года: «*Может быть, я был наказан за свою нетерпеливость. Но я думал, что мне дозволено самому творить свою судьбу. Я уже не так молод. Смерти я не боюсь, ведь я достаточно хорошо знаю ту нить, которой должен держаться в жизни. Но я думал, что надо спешить, потому что здесь, где я сейчас, моя помощь уже никому не нужна, а там мне предстоит еще многому научиться.*»

Через несколько дней:

«*Теперь я знаю дорогу в Шамбалу. Знаю, как туда попасть. Более того: совсем недавно туда проникли еще три человека с нашего континента. Они пришли туда поодиночке, каждый—своим способом. Голландец добрался, даже не скрывая своего имени, до Коломбо. Я знаю это из своих долгих трансов, когда вижу Шамбалу во всем ее величии, вижу это зеленое чудо среди покрытых снегом гор, эти диковинные дома, этих людей без возраста, которые так скупо обмениваются словами, но понимают мысли друг друга. Если бы не они, не их молитва за нас всех, не их мысль о нас всех, континент давно расшатал бы, сотрясли сатанинские силы, гуляющие на воле со времен Ренессанса. Или судьба Европы предрешена и ничего нельзя сделать для этого мира, ставшего добычей темных сил, которые тянут его, без его ведома, в пропасть? Опасаюсь, что Европу ожидает участь Атлантиды и что она скоро сгинет, погрузится в воды. Если бы человечество знало, что только духовной силой, эманацией Шамбалы отодвигается со дня на день это трагическое смещение земной оси, случающееся в геологии и грозящее обрушить наш мир в пучину вод, а вместо него образовать новый, уже без нас...»*

Страх перед трагическим концом нашего континента проскальзывает в разных местах дневника. Такое впечатление, что доктор все яснее прозревает серию катаклизмов, которые разразятся над Европой.

Все это совпадает с теми многочисленными пророчествами, более или менее апокалиптическими, относительно калиюги, смутного времени, к концу которого мы приближаемся семимильными шагами. По всей Азии ходят легенды — в самых разных вариантах — о неизбежном конце света. Доктор Зерленди упоминает о «смещении земной оси», которое стало бы непосредственной причиной катастрофы. Насколько я понимаю, катастрофы сейсмической, невиданных масштабов, от которой иные континенты затонули бы или изменили свои нынешние очертания, а из вод выступили бы новые. Неоднократное упоминание об Атлантиде доказывает, что он считал ее существование реальностью и ее исчезновение как континента связывал с духовной деградацией ее жителей. Стоит подчеркнуть в его трагических предсказаниях и то, что они делались за несколько лет до первой мировой войны, когда человечество еще убавляло иллюзия бесконечного прогресса.

11 мая 1910 года доктор вдруг возобновляет йогические упражнения, дающие невидимость телу. Нетрудно понять, почему я не привожу здесь его ошеломляющих свидетельств. Чувство, похожее на панику, владело мной, когда я читал эти записи доктора Зерленди. До тех пор мне попадало в руки немало документов разной степени достоверности, подтверждающих этот чудесный феномен, но никогда вещи не назывались так открыто своими именами. Когда я приступал к рассказу, я еще колебался, переписывать или нет эту ввергающую в трепет страницу. Но недели мучительных раздумий привели меня к выводу, что ее надо опустить. Те, кто понимает, что такое «самьяма над собственным телом», будут знать, где искать объяснения,— эта мысль меня утешает.

И все же игры с невидимостью, кажется, были не столь уж невинны. Усилие, затрачиваемое на то, чтобы сделать свое тело невидимым для чьих то ни было глаз, *убрать его с вида*, производило такое потрясение в организме доктора, что после он по многу часов лежал без чувств.

*«Возможно, я не стану прибегать к этому средству, чтобы войти в Шамбалу, — записывает он в июне 1910-го. — Время моего окончательного ухода близится, но я еще не знаю, хватит ли мне сил уйти неувиденным».*

И далее, в том же месяце: *«Иногда мне страшно, какие силы я в себе сконцентрировал. Моя воля не знает сомнений, но контролировать всю эту мощь, которая до сих пор помогала мне проникать в невидимые миры, бывает трудно. Сегодня утром, во время медитации, я вдруг почувствовал, как атмосфера разрежается, а мое тело стремительно теряет вес. Вовсе того не желая, я поднялся на воздух и, хотя пытался удерживаться руками за предметы, скоро почувствовал, что касаюсь теменем потолка. Самым пугающим в этом происшествии было то, что левитация произошла помимо моей воли, лишь игрой сил, раскрепощенных духовным упражнением. Я чуть не потерял контроль над собой, а ведь единственный миг рассеянности стоил бы мне падения с высоты».*

Я слышал о таких случаях: при развитии оккультных способностей есть риск потерять бразды правления над собой и пасть жертвой магических сил, высвобождаемых собственной же медитацией. Мне говорили в Хардваре, что самые серьезные опасности подстерегают йога не в начале, а в конце, когда он овладевает поистине разрушительной мощью. Впрочем, по мифам мы знаем, что чем ближе к Богу, тем ниже падение. Тщеславие есть тоже форма темных, люциферовых сил, которые человек развязывает в себе через самоусовершенствование и которые в конце концов могут его же раздавить.

Ниже, 16 августа: *«Полная отрешенность от мира. Единственная мысль вызывает во мне дрожь желанья: Шамбала. Не хочу делать никаких приготовлений перед уходом. Завещание написано еще в тот год, когда родилась Смаранда. Не прибавлю к нему ни строчки — они не должны ничего заподозрить».*

Затем, вероятно, в тот же день, доктор наскоро записывает: *«Бог знает кому попадет в руки эта тетрадь, ее вполне могут уничтожить, ничего не подозревая. Попытки запечатлеть такой из ряда вон выходящий опыт пойдут прахом. Но сожалений нет...»* Далее идет стертая строчка, которую мне удалось частично восстановить: *«Если тот, кто прочтет и разберется... попробует использовать... серьезные... трудно даже предсказать...»*

На пороге ухода доктор, очевидно, собирался дать какие-то советы возможному читателю, напомнив при этом о риске, которому тот подвергнется в случае опрометчивого раскрытия тайны. Не понимаю, что заставило его взять назад свои советы и стереть начатую фразу. Все же я решил уважать его волю и самую важную часть его признаний не разгласил.

*«19 августа. Я снова проснулся невидимым. Обнаружив это, пришел в ужас, потому что никаких усилий к тому не приложил. Несколько часов я расхаживал по двору, пока случайно не понял, что невидим. Слуги проходили мимо, не обращая на меня никакого внимания. Сначала я думал, что это они просто по небрежности, но потом заметил, что не отбрасывают тени. Тогда я пошел следом за одним работником, направлявшимся к конюшням. Он как будто бы чувствовал позади себя что-то нечистое, потому что все время в беспокойстве оглядывался и в конце концов, осенив себя крестным знаменем, пус-*

тился бегом. При всех своих стараниях я сумел стать видимым только к полуночи, когда очнулся, совершенно разбитый, в постели. Я думаю, этот страшный упадок сил был вызван как раз моими усилиями прекратить невидимость — потому что впал я в нее случайно, помимо воли и совершенно безотчетно...»

Это последняя подробная запись в дневнике доктора. Однако дальнейшее не менее поразительно: «12 сентября. С позапрошлой ночи я уже не могу вернуться. Пишу на чердачной лестнице, прихватив карандаш и тетрадь, которую потом прячу среди других, с санскритскими упражнениями. Лишь бы только не заблудиться по дороге в Шамбалу...»

Эта запись сделана через два дня после исчезновения доктора. Если бы кто-то мог тогда же, по свежим следам, расшифровать рукопись и прочесть последнюю страницу, он узнал бы, что доктор Зерленди все еще находится в доме, совсем рядом с семьей.

## 10

На третий день, собравшись вернуть тетрадь и от корки до корки прочесть ее г-же Зерленди, я отправился на улицу С. Мне открыла старая служанка.

— Барыня хворают,— объявила она.— А молодая барыня уехали в Париж!

— Как это, вот так сразу — в Париж? — опешил я.

— А так ее милости было угодно,— отвечала служанка, не глядя мне в глаза и явно не намереваясь вступать в откровенности.

Я оставил свою визитную карточку и сказал, что наведаюсь через пару дней узнать, как здоровье хозяйки, но сумел выбраться лишь через неделю. Калитка оказалась заперта, и мне пришлось долго трясти ее и нажимать на ржавую кнопку звонка, пока не вышла служанка. Она нехотя проковыляла по дорожке через сад, в котором как-то внезапно, словно за одну ночь, опали последние цветы, и ворчливо сказала:

— Барыня уехали в деревню.

А уже показав мне спину, обернулась и добавила:

— И когда возвратятся, не сказывали...

Я приходил еще много раз — и той осенью, и зимой; калитка всегда была заперта, и, в лучшем случае, если служанка вообще удосуживалась войти ко мне, я слышал грубое: «Нет у их дома...» Я слал г-же Зерленди письмо за письмом, но не получал ни ответа, ни подтверждения, что они получены. Я терялся в догадках. никоим образом г-жа Зерленди не могла проведать, что я нашел и забрал с собой дневник ее мужа. Никто, я голову бы дал на отсечение, не видел, как я прятал его под полу пиджака. Даже если за мной шпионили и подглядывали в замочную скважину, все равно разоблачить меня было невозможно, поскольку я сидел спиной к двери, зарывшись в кипу тетрадей.

В конце февраля 1935 года, проходя мимо знакомого дома на улице С. и заметив, что калитка открыта, я вошел. Признаюсь, на кнопку звонка я нажимал с бьющимся сердцем, ожидая явления все той же угрюмой старухи, но, на мое удивление, дверь открыла молодая горничная. Я спросил, дома ли кто-нибудь из хозяев. «Все дома», — был ответ. Я подал свою визитную карточку и вошел в салон. Несколько минут спустя отворилась дверь из спальни и передо мной предстала Смаранда. Ее было не узнать: она казалась помолодевшей лет на десять, со вкусом подобран макияж, и волосы другого цвета. Прежде чем протянуть мне руку, она еще раз бросила взгляд на мою визитную карточку. Притворство удавалось ей на славу. Она назвала себя, как будто мы не были знакомы, и спросила:

— Чем обязаны вашему визиту?

Мне пришлось напомнить, что я некоторое время работал в библиотеке доктора Зерленди, что, собственно, его супруга сама пригласила меня изучить архив мужа и что с ней, Смрандой, мы тоже знакомы.

— Тут, вероятно, какое-то недоразумение, — улыбнувшись, ответила она. — Я уверена, что мне вас никогда не представляли. В здешнем обществе у меня очень мало знакомых, и я бы вас запомнила, если не по имени, то по внешности...

— Однако госпожа Зерленди уж точно хорошо меня знает. Я несколько недель подряд проработал здесь в библиотеке, — продолжал я настойчиво, указывая на массивную дубовую дверь.

Смранда проследила мой жест в изумлении, словно не веря глазам.

— То, что вы говорите, действительно странно, — сказала она, — потому что здесь на самом деле была когда-то библиотека моего отца. Но это было много, очень много лет назад. Во время оккупации нам не удалось ее сохранить, а библиотека была ценнейшая...

От растерянности я засмеялся, потом, после долгой паузы, возразил:

— Мне очень трудно поверить в то, что вы говорите. — При этом я смотрел ей прямо в глаза, давая понять, что разгадал ее игру. — Каких-нибудь пару месяцев назад, не более, я работал в этой библиотеке. Я изучил ее полка за полкой и могу на память сказать, что где стоит...

Не дав мне продолжать, Смранда быстро пошла к двери в спальню и позвала:

— Мама, можно тебя на минутку?

Г-жа Зерленди вышла, держа за руку маленького мальчика. Я низко поклонился, но по ее глазам понял, что она тоже не хочет меня признавать.

— Этот господин утверждает, что он, якобы, несколько месяцев назад работал в библиотеке, — сказала Смранда, указывая на дубовую дверь.

Г-жа Зерленди взглянула на меня с видом оскорбленного достоинства и, погладив мальчика по головке, отослала его:

— Поди поиграй, Ханс.

— Но вы же сами написали мне, вы сами ввели меня в эту библиотеку! — взорвался я. — И попросили закончить биографию доктора Хонигбергера, которую начал ваш муж!

Г-жа Зерленди переводила изумленный взгляд с меня на Смранду. Надо отдать ей должное, она тоже притворялась мастерски, и я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо.

— Мой первый муж, доктор Зерленди, в самом деле занимался жизнеописанием какого-то медика с немецким именем, — сказала она, — но, честное слово, сударь, имени его я не помню. Мой первый муж умер двадцать пять лет назад, а библиотека утрачена в войну...

И поскольку я стоял столбом, не в силах оторвать глаз от двери, которую я столько раз открывал всего пару месяцев назад, г-жа Зерленди добавила:

— Смранда, покажи гостю комнату...

Я машинально последовал за ней и замер на пороге, ошеломленный тем, что увидел. Только канделябры и шторы остались прежними, но ни письменного стола, ни книжных шкафов, ни большого ковра — ничего этого не было. Зал принял вид гостиной: пара чайных столиков, ломберный, несколько кушеток, шкуры перед камином. Довольно потертые обои оголennых стен скрашивались лишь картинами и образцами старинного оружия. Деревянная галерея, опоясывавшая стены, исчезла. Я попятился в полном замешательстве и закрыл за собой дверь.

— Вы правы, — пробормотал я. — Библиотеки нет. Если бы я, по

крайней мере, знал, кто ее купил. Мне хотелось бы подробнее заняться Хонигбергером...

— Но, сударь, — возразила г-жа Зерленди, — библиотеку распродали почти двадцать лет назад...

— Самое главное все же — это то, что вы меня не узнаете, — сказал я, пытаясь улыбнуться.

Мне показалось, что рука г-жи Зерленди чуть-чуть дрожит, но не могу утверждать этого наверняка.

— Представьте же себе и наше удивление, сударь, — вмешалась Смаранда. — По меньшей мере странно, чтобы кто-то помнил комнату, в которой два десятка лет назад была библиотека, тем более, что в нее, сколько я знаю, и тогда-то никто из посторонних не заходил...

Пора было откланяться. Я понимал, что по неизвестным мне причинам ни та, ни другая из дам не хотят меня узнавать. Уж не под действием ли невидимого влияния, идущего из иных пределов?

— Интересно, узнает ли меня хотя бы служанка, старая хромая служанка, уж с ней-то я последнее время говорил много раз? — решил-ся спросить я на прощание.

Г-жа Зерленди испуганно обернулась к Смаранде.

— Это он об Арнике...

— Много раз? Последнее время? — воскликнула Смаранда. — Да она пятнадцать лет как умерла!

Я почувствовал, что схожу с ума, глаза заволокло пеленой. Задержись я здесь еще на несколько минут, я рухнул бы у их ног без чувств. Пробормотав что-то вроде извинения и стараясь не поднимать глаз, я вышел. Мне пришлось долго блуждать по улицам, пока голове не полегчало, пока передо мной не забрезжил смысл этого ошеломляющего случая. Но я не посмел ни с кем поделиться. Не будет признаний и в этом рассказе. Моя жизнь и так подверглась опасности из-за прикосновения к тайнам, в которых заставила меня разбираться г-жа Зерленди, не имея на то позволения доктора...

Несколько месяцев спустя после описанных выше событий ноги снова привели меня на улицу С. Дом под номером 17 сносили. Решетка ограды была уже местами выломана, прудик завален плитами дорожки и всяким хламом. Я долго стоял, карауля, не появится ли кто из домашних, не объяснится ли как-то их загадочное поведение. Но по двору сновали только рабочие и распорядитель, надзиравший за ними. Наконец я отправился восвояси, почти больной от этой тайны, которая только поманила меня, не раскрывшись до конца. Посреди улицы мне попался мальчик, тот самый, которого при моем последнем посещении выводила за руку из спальни г-жа Зерленди.

— Ханс! — окликнул я его. — Как хорошо, Ханс, что я тебя встретил!

Мальчик посмотрел на меня с искусно подделанным удивлением.

— Я никакой не Ханс, — ответил он вполне учтиво. — Я Штефан.

И пошел своей дорогой, не оборачиваясь, со скучающим видом ребенка, который не нашел себе товарища для игры.

*Перевод с румынского А. Старостиной*

---

---

Александр Давыдов  
АПОКРИФ,  
ИЛИ СОН ПРО АНГЕЛА

Глава 1

Сидит человек посреди хилых, блеклых пространств и размышляет. Человек этот я. Вокруг пустыня ли, степь, черт-те что. Ветер мерзко по-свистывает, гонит какую-то поземку, или пыль, или прах земной. А может, еще что. Человек молчит, да ему и поговорить-то не с кем — кустики вокруг, мелкие деревца. И один красавец — белый кипарис, уперся вершиной в небо. Небо тут низкое, грязноватое, словно развели сопли по выбеленному потолку.

И чудится ему, мне то есть, видимо, от одиночества, что кипарис обращается белым ангелом. И даже как будто в руке у ангела огненный меч. Уперся он мечом в землю и кончиком поджигает мелкую дрянную травку — та потрескивает, попыхивает, дымится дурным вонючим дымком. И обращается к нему, то есть ко мне, ангел и задает вопрос. Прост тот вопрос: кто ты? — он спрашивает. Глупый вопрос, в зубах навязший. Сам себе по сто раз на дню его задаешь. Но тут — ангел.

Заглянул он в себя, или в меня, уж не знаю. А в нутре его — кишки, голове и повсюду — простирается туман — черен, непрогляден, себя там не выглядишь. Но нашел он слова, выкатились они у него из глотки, как козьи катышки, и сам он поразился странности их и темени. Странно ахнули они в странной той долине, прокатились по пригоркам, отозвались эхом со всех сторон. Я, сказал он, мал, как песчинка, и я — велик, как мир. Я не рожден, но и не был вечно. У меня нет имени, у меня сотни имен. Я, как облако, зыбок, я тверд, как камень. Я — порыв силы, я — сила порыва. Я — вошь, я — вселенная.

Так сказал я ангелу. Тут иссякла первая глава, вытекла до капли. И началась глава вторая.

Глава 2

Обратился ангел в белый кипарис. Потом кипарис снова обернулся ангелом. Смотрит на меня ангел своим рыбьим, бессмысленным почти взглядом. А сам почти до прозрачности белый. Видны сквозь него перелески, горки, почти не замутненные. И весь он в прожилочках, паутинках своих воздушных, серебристых чувств. А я — как сальное пятно на его чистоте и незамутненности. Задает мне ангел вопрос: кто ты? Заклокотали, захрипели слова у меня в глотке, изbleвал я их наружу. Говорю: я — тоска, я — счастье, я — надежда, я — погибель, я — больше вселенной, я — меньше атома, я — великая тайна, я — самое что есть не-открытое. Вот кто я.

Тут начала иссякать глава вторая, но не иссякла, а продолжается.

Сказал я ангелу: ты мне скажи, кто я. И стал отвечать мне ангел своими золотыми искрящимися словами. Где как бы не звуки, а их оправа, то, что пред и после — предзарождение звука и затухающее послезвучие. Сперва на миг пахнуло лугом цветущим — и это в провонявшей той долине. Но не просто лугом, а над которым реет, невидимой такой вуалеткой, нежнейшая, легчайшая тревога. Потом распутались запахи, как клубок. Стали воздушными тропинками, каждая из них вела

к собственному сокровенному. Потом забрезжила какая-то летящая в сторону светлая даль.

Так говорил ангел. А вот каковы были его звуки. *О* — как дух клевера, едва не достигший ноздрей. *У* — как всхлип трубы, на таком расстоянии, что ее и не слышно. *Ю* — как морская глубина, которую не взглядишь. *К* — как хруст ветки в лесу, где был только в своем воображении. *Н* — как ласковая рука, протянутая к волосам, но в последний миг остановившаяся, может быть, только кончиком пальцев их коснувшаяся. *Ш* — пожалуй, как неслышное скольжение змейки, такой серебрястой, лукавой. *З* — как зелень рощи, но уже облетевшая. *П* — как беззвучное течение воды. *Г* — как качающийся язык колокола, не смеющего зазвучать. *Ч* и *Щ* у него вовсе не было. Одно только придыхание, намек на тревожный звук.

Так странно говорил ангел, потому что нет у нас слов для красоты. Таково проклятие миру. Для похабства — сколько хочешь.

Тут вытекла до капли вторая глава. Началась глава третья.

### Глава 3

Рассказал ангел о том, что во мне светло, но не понял я ангела. Отвратил я тогда взгляд от себя, от своих внутренностей, от смердящих кишок. Стал я озиаться, как испуганный зверь, — взглядом метаться по долине. Что, она и есть мир? Мир ведь весь должен быть из моих «ах» и «ох», сладких снов детства, а здешний мир горек, как желтая волчья ягода, вязок, как недозревший инжир. Течет здесь единый век, да никак не истечет. И можно заплутаться в здешних недвижных пространствах, как в слякотном осеннем дне.

Здешний мир, как чаша, — вверх загнут горизонт. А расположен он ниже земного мира. Потому сюда стекают земные сны, темные, вязкие, как деготь. И почудилось мне, что я не как другие, что я не рожден в жизни, а родился прямо в смерти. Не знал милосердия, но нет на мне и греха.

И сказал я ангелу: хочу идти встречу жизни, навстречу временам и пространствам. Открой свои узкие врата, и я выйду в мир. Узки врата в свет, в жизнь врата еще уже.

И почудилось мне, что лукавит ангел, словно бы скрывает он узкие врата в своих ладошках. Они и без того как махонькие ранки, а он сжал кулачки и вовсе от меня их скрыл.

И я сказал: разожми свои ладони, ангел, и впусти меня в узкие твои воротца. Бросил ангел свой огненный меч на траву. Затрещала, зашипела дрянная травка. И показал мне он свои ладони. В середине каждой по ранке. Пытаюсь я войти в ранку. Больно ангелу. Слеза из его глаза скатилась, пала на землю, и вырос из нее белый цветок.

Не протиснулся я в ранку ангела. Остался в своей смерти. Тут бы и конец главе третьей, но она еще полноводна. Начал я ангелу рассказывать сказку.

Был я когда-то духом без тела. Даже твоя пленочка телесней, чем я тогда был. Парил я вольно, имени у меня не было, не было у меня места, все пространство было мое. Только я завидовал камням — прочности их и ясности. А на земле стояла скала. Приник я тогда к скале, просочился в ее нутро. И стал душой камня, его угрюмой и сокровенной жизнью. Тут и иссякла глава третья. Началась глава четвертая.

### Глава 4

Подошел к камню человек. Ухом к нему приложился. Услышал, что трепещет в нем жизнь, темная, глухая и сокровенная. И прозрел он во мне своего бога, ибо я был вечен и сокровенен. Стал он приходить ко



мне, приносить дары. Как-то привел своего сына, положил его на меня, на камень. Занес над ним каменный же нож, острый сколок с меня. А ты, ангел, не отвел его руку. И брызнула кровь из сердца отрока, потекла по всем моим морщинкам, влажной стала подо мной земля. Это мне приснилось, ангел. А к чему — не знаю.

Тут ангел обернулся белым кипарисом. А потом снова стал ангелом. Вот что я скажу тебе, ангел. Грозный ангел, охраняющий узкие врата. Я и сейчас замурован в камень. На нем накарябано кое-как, детской рукой, слово «Лимбус». То название моей долины. То название всех моих названий.

Знаешь, тут нет луны, ангел. Такой сладко мерцающей в ночи бу- синки. Шарика в мраморных прожилках. Туда возносятся наши сны. Не такие, как ты, а темные ангелы, под цвет ночи, подхватывают наши сны, возносят к луне и там оставляют, как брошенных младенцев. Еще там обитают родные души. А у меня нет родных душ, я ведь сразу рожден в смерти. Понимаешь ли ты меня, ангел, простое существо?

Ничего не ответил ангел. Только воздел свою руку ввысь, махнув белым рукавом. Дотянулся пальцем до поднебесья. Нарисовал на нем лунный диск. И обрел мой Лимбус луну. Но там не жили родные мне души, ибо я рожден в смерти, а не в жизни. И снов моих там не было. Ибо они не легкокрылы, не предвествя будущего, не знаки прошлого. Они — темные закоулки моей долины, моя мука, моя смерть.

На окраине моей долины стоял лесок. Был он темен и мрачен. А теперь странен стал от лунного света. Вышла оттуда волчица. Помотала своим языком—он чуть не до земли у нее волочился. А сам, как пламя, красен. Подняла она свою морду к луне. А та не из вздохов, не из младенческих слез, а светлое пятно, начертанное мне в утешение рукой ангела, стерегущего узкие врата.

Прямо к луне подняла волчица свою морду и завывала тоненько, жалобно, как покинутый младенец. И волчьим воем закончилась четвертая глава. Началась глава пятая.

## Глава 5

О белый ангел, приоткрой мне свои узкие воротца, ранки на твоих ладонях. Втиснусь я в них всем своим телом, и ты познаешь радость боли. Станешь ты красен, как планета Марс, подмарав свою незамутненность кровью из собственной раны. Станешь ты новыми мехами для пунцового вина, разбавленного водицей из твоих жил. А я — сила порыва и порыв силы — разверну свой парус, пойду против ветра. Мой парус обуздает время, подчинится время моему парусу. И помчусь я не против времени, а встречь ему. От мудрости смерти подойду к младенческой беспомощности. Сомкнется мудрость смерти с мудростью детства. Накоплю я свой грех и укурю его в мелком зародыше, крошечном тельце.

Слушал меня ангел, в задумчивости оперевшись на свой меч. И сияла луна в небесах моего Лимба. Тиха и нежна была ночь смерти. Дребезжали кузнечики в никогда не кошенных травах. И слова мои парили над долиной, как огромные летучие мыши, крылья свои раскинули от горизонта к горизонту. Волчица подвывала в перелеске.

Ты спрашиваешь, кто я, белый ангел с огненным мечом? Я — запустевшее слово, смысл которого вспорхнул и пропал в поднебесье. Я — ни к кому не обращенное слово. Тяжелы его основы, словно камни разбросаны по моей долине. Эти камни, как барашки с подмаранным мехом. А я пасу свое стадо. Темная, невыраженная жизнь теплится в каждом из них. Слово мое, как раковинка, всегда обращено внутрь себя, не растрчивает свою силу, а только ее копит — ведь нет выхода из моей

долины, все пути ведут вспять. Есть только узкие из нее воротца — ранки на ладонях ангела.

Только копит, только вбирает моя долина, ничего не выпускает наружу. Она исполнится силой и поворотит время вспять. В нее, как в чашу, стекут все сновидения мира. А сны и есть жизнь. Стекут они в мой Лимб, и останется в мире только жесткий остаток привычки.

Тут начала иссякать пятая глава. Лишь несколько капель осталось на донце.

Ты спрашиваешь, ангел: кто я? Я не кто, а что. «Кто» — это те, что в жизни. А я — «что». Я — неторопливое, неразболтанное слово. Я — истинная тайна, шепот в себя, я — слово, вывернутое наизнанку. Я — то, что замуровано в слово, повернутое к вам своими ничего не значащими задворками. Вот и угадай, кто я.

И сияла в небесах царица ночи, владычица снов, начертанная рукой ангела на потолочной балке моего Лимба.

Тут иссякла пятая глава. Началась глава шестая.

## Глава 6

Ощутил я тайну своей долины, где течет единый год и все никак не кончится, где неделимо пространство. Почувствовал я исходящий от здешней почвы дух тайны, и сердце мое потеплело.

То была тайна — не жизненная тягостная путаница, а сладкая жуть. Ее источал здесь каждый кустик, каждое деревце того хмурого леска. К такой жути приникают люди Земли в раннем детстве, мне же, заброшенному в смерть, она принадлежит вся и всегда.

Не с чем мне тут играть, нечем упиться. Разве что моей томной, сладостной тайной. Нет надо мной небес, которые все приемлют, готовых вобрать все излишнее. Где-то там, в самой вышине, за хрустальной синью затаилось милосердие. Нет в моем Лимбе выси. Там, в жизни — вышина, пространство тайны. Здесь надо мной тоже твердь, но унылая и жесткая, как захарканный потолок сортира. Тайне здесь некуда взлететь и негде укрыться. Она клокочет, как бурные воды в моем Лимбе, доходя до губ.

Все здесь обращено внутрь, ибо не к кому, не к чему обратиться. И нижней бездны тут тоже нет, нет здесь ада. Ни мук здесь нет, ни милосердия.

Снова стал кипарисом белый ангел. А из леса вылетел ворон, черный, как ночь, и уселся к нему на макушку. Сидит черный ворон на верхушке белого кипариса и разговаривает с тучами.

А ко мне подползла на брюхе старая волчица, начала мне руки лизать своим шершавым языком. До крови излизала.

И увидел я в небесах видение. Протянулось из конца в конец ожерелье из жемчужных бусинок. А нитка его — Млечный путь. Порвалась непрочная ниточка, раскатились бусинки по всему небу. А среди бусинок светлых — одна черная. Это и есть мой Лимбус. А в ней — я сам, всегда обращенный в себя. Слилась та бусинка с темнотой небес, в небесах затаилась, как неблещущая звезда.

Улетел ворон, убрела в лес волчица. Кипарис снова стал ангелом. На том закончилась глава шестая. И началась седьмая глава.

## Глава 7

Построил ангел для меня дворец, чтоб я жил в нем. Податливо пространство моей долины, сотканное из мечты, как из тончайшей пряжи. Провел он кончиком своего меча по пространствам взад-вперед и

во все стороны и построил из моих пространств хрустальный дворец.

А перед дворцом поставил фонтан. Лежит там в перламутровой раковинке спящая дева и в руках своих держит рог. А из рога сочится вода, цедится по капельке. И падает она в гипсовый кубок. Но тот кубок не переполнится вовек. Таково время в моей долине. Не буря, не вихрь, а капелька за капелькой.

Много комнат в моем дворце. Зашел я в каждую. И открывается всякая дверь в ту же долину, с той же хилой травкой, с тем же дремучим гниловатым леском. И из каждого окна видно то же. Таково пространство в моей долине.

Неизвилист сладкий мой мир, мир урожденной тайны. Нету там ни единого изгиба, чтобы было что полюбить. Он архитектурен, как застывшая музыка. Ничего там не проистекает, только цедится по капле.

И лишь одна светлая капелька у самых его врат — это белый ангел, те врата стерегущий.

Словно налили меня, как вино в мехи, чтоб стоял я там не веками, а единый век, терпким стал и пахучим. Смертью пропитался, стал до конца смертью, и уж только тогда пустят меня пойти встречу жизни.

Мысли не было в моей долине. Ни чувства не было, ни страсти, ни милосердия. Одно лишь напряжение внутрь, безысходная тягость. Я был сокровенной и хмурой душой камня. Камешка, который застревает в щелях между мигами, который замурован в оправу каждого мига. Там, между мигами, и гнездится Лимб каждого, между двумя тиками часов. Там, где нет времени, — волны воздушного тока, милосердия и страсти.

Ни дня, ни ночи нет в моем Лимбусе, вечные сумерки, когда распахнуты форточки во все миры. Но замкнуты двери в любой из них. Нет исхода из Лимба.

Обошел я весь дворец свой, зажег все свечи. Засиял мой дворец. Стал виден изо всех далей и пространств. Падал свет от дворца на все стены моей долины, плескался на них, играл тенями. Любовался я игрой тех бликов из каждого своего оконца.

И тем временем истекла седьмая глава. Булькнула капелька в гипсовый кубок. И началась глава восьмая.

## Глава 8

Гляжу я из окна дворца своего на задремавшую мраморную деву. Вся она в зеленом склизком налете. Изъедена черным грибок. В трещинках ее мраморный рог. Когда-то сыпались из него дары мироздания. Теперь только вода сочится. Сижу я и считаю капли. Одна упала, вторая. А третья повисла на кромке, так и висит, никак не капнет. И вот в ней все мое время, и весь я, повисший между днем и ночью, в сумерках моего Лимба.

В моем дворце тысяча комнат, но нет меня ни в единой. Ищу я себя по всему дворцу, но нет в нем меня. Обшариваю каждый закоулок. Пыль в горсти собираю, каждую пылинку разглядываю. Ни одна пылинка не я.

От одной только комнаты нет у меня ключа. Подхожу я к ней, ухо прикладываю к скважине. Там только ветер свищет и словно плачет кто. Там посредине трон стоит. Лежит на троне яйцо. В яйце том — иголка. В иголке — смерть моя.

Кто я, белый ангел? Я — тоска мира, распростершая крылья от звезды до звезды. Я — черный ворон, разговаривающий с тучами. У тоски нет слов. Она живет в теле тел, в своем вечном Лимбе.

Тут бы и конец восьмой главе. Но она не иссякает, ибо тоска всегда полноводна.

И я сказал еще: слушайте — я — ваш истинный язык, язык без слов. Язык без речи, а не ваш разноголосый гул. Я — темная основа всех языков и наречий. Я — тьма, побуждающая вас тянуться к свету. Я — ваша черная земля. Вы — дурашливые былинки. Я — ваше тело, тело тел — спящий младенец, парящий в небесах среди звезд. Смерд от гниющих трупов возносится в небо и очищается высями, но хранит память о своем Лимбе. Вот и угадайте, кто я.

А пока закончилась глава восьмая. Начинается девятая.

## Глава 9

Стоит в моей долине ангел, как белый кипарис. Он не причастен моей смерти, но и в жизнь меня не пускает. Он, как преграда Божьего гнева, не пускающая в милосердие Божье.

Замурован я в свою гордыню, как мураш в янтарную каплю. Но то гордыня ли или гордость? Гордыня — не склониться перед Богом, гордость — не поклониться кумиру. Но нет Бога в моем Лимбе, нет там вершин, упираются в серый захарканный потолок все мои молитвы, высей не достигают. Ведь Лимб мой — тело тел, смрадно булькающее непереваренной пищей.

Кто я? Ответь мне, белый кипарис. Я — та неутоленность, которой ты не знаешь, светлый ангел, похитивший у меня огненный меч. Мне б он не просто отягощал руку. Взмахнул бы я им — и вспыхнули бы здешние травы. Жертвенным костром запылал бы мой Лимб, единственное, что могу я пожертвовать не виденным мной небесам.

Молчалив мой ангел, нет между нами слов. Только протянуты от одного к другому серебристые нити. Ткем мы нити, как пара паучков. Связывают они нас неразрывно. Нерасторжимы мы и друг с другом, и с сумрачной долиной. И с дворцом моим о тысяче комнат. И с истекающим здешним веком. Мы с ним — отражение друг друга в кривых зеркалах. Вот кто мы такие.

Вырви нас из долины — и там останется рваная рана, истечет из нее гной мира. Едина и цельна, как камень, долина, где коротаем мы отпущенный нам век. Един и целен тот век — каменная глыба времени. Не может он истечь в моей долине. Не может непроистекающее время разрушить мой Лимбус. Оба они как камень в камне.

Невозможно прожить мой век тому, кто рожден, минуя жизнь, в смерти, как невозможно просочиться внутрь камня. Не расцветен мой век цветами жизни. Он — серая суровая глыба. Из таких вот глыб и сложен мой дворец, где моя смерть затерялась, как иголка в сене.

Тут конец главе девятой. Начинается десятая глава.

## Глава 10

Каково же тому, кто, испив жизнь до последней капельки, вошел в узкие врата смерти. Покажется ли ему моя долина мукой невыносимой? Он-то как скоротает свой век, отвыкнет от времени? Будет ли перебирать бусинки своей памяти? Из смыслов прежней жизни мастерить все новые узоры?

Говорят, в смерти нет прежней памяти. Вон там плещется река за окном. Зовется она Забвением. Вода ее едкая для всех картин жизни. Памяти образов в ней конец. Но тянутся от прежней жизни ниточки запахов. Из них можно пряхть пряжу, а потом распускать кудель.

След той земной жизни — тут и утешение, и казнь для тех, кто жизнь прожил. Мне же не дано ни утешения, ни казни, ведь нет на мне ни единого греха. Но тогда ведь и милосердия мне не будет.

Заплутался мой взгляд в моей смерти; она как серенький денек, из которого вовек не выпутаться, не дожидаться ночи, куда утоплены концы всех путей. У меня же нет пути — заброшен я в слякотный денек, в вечные сумерки.

Вот кто я, ангел,— скопленная сила, устремленная внутрь камня. Я — клад, припрятанный до тех времен, когда все размотают, когда растратятся цветущие времена. Тогда развернется моя могила, восстану я из нее во всем блеске своего тления, и времена обернутся вспять — это я вышел встречь жизни.

Пойду я по цветущему лугу. И жизнь выйдет мне навстречу — поблекшая дева в веночке из незабудок. Руку она мне протянет. Возьму я ее за руку, поведу ее в домик под белым кипарисом, что врзается в самые небеса острым кончиком. И грянет наша с ней брачная ночь. Выйдем мы с ней встречь друг другу. И сольемся с ней в вечной любви-ненависти. Грянет музыка небывалая. Сначала вступит разногolosый, расхлябанный хор а капелла, будто бессвязный говор людей. Но все стройней и упорней станут звуки, все целенаправленной и слитней. Возноситься станут в небо один за другим.

Сперва самые легкрылые, за ними — другие; басовые, бархатные ноты вспарят последними, и стройной чередой вознесутся они все к небесному престолу.

И тут развернется грань между смертью и жизнью — щелка между нашими телами. Изольется оттуда музыка небывалая, увенчивающая и жизнь, и смерть: каждый звук, зачином своим обращенный к жизни, гаснет, поглощенный смертью.

Как-то допрашивал меня любопытный ангел: кто ты — дух, демон? Ах, наивный ангел, не дух я и не демон. Я — душа камня, я — тоска мира, замурованная в оправу двух тиков стрелки. Ты не знаешь тоски, белый ангел. Ты так прозрачен, что луч проходит через твое тельце без малейшего излома. Не пускаешь ты меня в узкие воротца, чтоб не оплодотворил я жизнь своей тоской. Тут, в моей долине, она безопасна. Она, как черный ворон, опустивший свои крылья. Черные, сумрачные, угрюмые, не как твои стрекозьи крылышки. Могут укрыть весь мир черные крылья вешего ворона.

Хотел ответить мне ангел, уже всплеснул своими прозрачными крылами. Да тут истекла глава десятая. Прямо ни единой капельки от нее не осталось. Грянула одиннадцатая глава.

## Глава 11

А скажи мне, кто ты такой, ангел? Ты — моя мечта о жизни, и больше никто. Ты — мое незнание жизни, ибо ты чист и прозрачен. А меч твой — преграда Божьего гнева. А за ней милосердие Господне.

Иногда, сидя в окошке своего дворца, как царевна Несмеяна в тереме, слышу я плеск и шелест. Перевозят через реку, именуемую Забвеньем, новые души. Только они прожили жизнь, они полны страстей. Перевозит их вонючий грек, старый лодочник, напевающий вечный сиртаки беззубой своей пастью. Мечутся и тоскуют прожившие жизнь души.

Ступают они в лодку на том берегу, тугие, переполненные своей плотью. На мой же берег ступают бесплотней тени. Становятся они мне невидимы. Как тени, мелькают они по моей долине, охают в перелеске. Ох, и тяжело им в смерти! Но их век — не глыба, он и в смерти течуч. Наступает их час, падает, как бим-бом башенных часов. И раскрывает им ангел свои воротца — ранки на своих ладонях. И торжественно всплывают туда просветленные души — мириады маленьких ангелов. Падает преграда Божьего гнева, устремляются они к милосердию Божьему.

Еще угрюмей и плотней становится мой век без мелких их страстей, грешков, цыплячих попискиваний.

Тут начала иссякать глава одиннадцатая. Но нахлынула на нее десятая глава, подхватила и вдаль понесла. Снова передо мной перезревшая дева в веночке из незабудок. Снова подходит ко мне по полю цветущему. Снова руку протягивает. Я ей опять руку даю. Берет она мою руку и говорит: дай-ка я тебе погадаю. Откуда-то из воздуха достала она цветастую шаль — стала как цыганка.

Разглядела она мою руку и плюнула. Хорошо не на руку — на землю. И босой пятой растерла. Нет у тебя судьбы, сказала, мой суженый. Ладонь твоя пуста. Жизни у тебя нет, ты в смерти родился. Иди обратно в могилу.

Этим тоскливым словом закончилась одиннадцатая глава. Началась глава двенадцатая.

## Глава 12

Говорит жизнь, перезревшая девка в венчике из цветов: давай так с тобой поступим. Я колечко спрячу, а ты будешь его искать. Найдешь — твоей буду. А нет — ляжешь обратно в могилу.

Снимает она с пальца тонюсенькое золотое колечко. В травы его забрасывает. Гляжу я на эту дуру: это что ж, она и есть жизнь, для нее я оставил свой Лимб — окаменевшую мою гордыню, белый кипарис, что способен обернуться огненным ангелом? Это такой-то жизни я вышел навстречу, в кровь изодрав ангельские ладони?

Замкнулась могила. Уронила спящая дева в пустой фонтан последнюю капельку. Понеслись мне встречу времена и пространства, раскрошились глыбы моего неподатливого времени. От всей сладкой моей смерти осталась в моем кулаке одна горсточка праха. Начал я искать золотое колечко.

Под каждой травинкой его искал, в чашечке каждого цветка. А вся поляна в цветах. Желтеньких таких, вроде куриной слепоты. Нет нигде колечка. А жизнь, гнилозубая дура, нарумяненная вся, стоит тут же и смеется. Бросил я ей тогда в глаза горсточку праха. Стала она глаза тереть, слезы со слюнями по лицу размазывать.

А я гляжу — вся поляна в могильных холмиках. Нет, не ту ладонь мне подставил ангел. Не в ту ранку я протиснулся. Не той жизни вышел встречу. Не иссяк мой фонтан, не истек мой век. Камень еще крепок. Строен еще мой кипарис.

Повернулся я к жизни спиной и снова обрел мой Лимб, дворец с сотней комнат, где сколько не ищи меня, не отыщешь. Так же я в нем затерялся, как золотое колечко среди желтых цветов.

Так печально закончилась двенадцатая глава. Но началась глава тринадцатая.

## Глава 13

Сказал мне как-то светлый мой ангел: невнятны мне твои слова. Сам-то ты их понимаешь? И ответил я ему: слова мои — не слова вовсе. Ты светел, а их смысл утоплен в ночи. Лежат они на дне морском, в воде черной, как деготь. В ларчике они заперты, а ключик потерян.

Слова мои — не слова вовсе, а шаманский бубен. Выложены они вперед, как вешки, как камешки. И я по ним иду вдаль. А дальше всех та дорога, которой не знает идущий. Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идет и зачем. А я хоть знаю откуда — из мрачной моей долины, из моей смерти.

Тут снова ангел обернулся белым кипарисом.

Глянул я как-то в окно своего дворца. Гляжу — сидит человек под белым кипарисом. Не тень, а плотен. Свет через него не проходит, и не видны через него соседние перелески.

Во власяницу он одет. В руке его посох. Сидит он и кончиком посоха разгребает кучу золы. Моя ведь долина как свалка. Свозят сюда пепел со всех погребальных костров. Там и сям пепельные кучки. Ветер по долине разносит пепел. Оттого земля здесь вся серая.

Разгребает он пепельную кучку. Находит там обгорелые костяшки. Поигрывает ими, по-разному раскладывает. Выхожу я из своего дворца. Подхожу к человеку, кончиками пальцев его трогаю. Задумчив человек. Костяшками играет, на меня не глядит.

Спрашиваю я его, будто сам я ангел, задаю вопрос: кто ты? Долина ведь моя — долина смерти. Никому она не родная, чужая всем. Оттого один тут задают вопрос: кто ты? А ты кто? А кто я? Больше и спросить не о чем.

Я человек, тот отвечает. И снова играет костяшками. Так их разложит, сяк. Говорит: ребенком я любил играть в кубики. А тут у тебя одни костяшки. И поиграть нечем. Я играл, говорит, в кубики. И привык я, говорит, играя в кубики, что творение обратимо и время над ним не властно.

Тут закончилась тринадцатая глава и началась четырнадцатая.

## Глава 14

И я его спросил: так ты рожден в жизни? Ах, друг мой, тот отвечает, скажу тебе, как труп трупу — честно: как твоя долина скудна, так скудна и та долина. Здесь время — глыба, там оно — ручеек. Здесь смерть едина и слитна. Там — горохом рассыпается, мелкими бесенятами. Ты тут умер раз, там я умирал — по сотне раз на дню. Все там в трещинках мелких смертей. Так на них вся жизнь и разменена.

Думаю: и его речь как шаманский бубен. Спрашиваю: так ты рожден в жизни? Отвечает: и ты в жизни рожден. Только твоя жизнь зовется смертью. Я рожден на другом конце света. И вышел встречь смерти, шагая по временам, вертясь в бурлящем потоке. Вышел я встречь смерти и смерть встретил. А встретил ли ты жизнь?

Мутно говорил он, тяжело. И я ему сказал: но скажи, ведь музыкален тот мир? Здесь-то музыка застыла! Здесь музыка — опостылевший дворец, где сколько не ищи меня, не сыщешь. Там-то, поди, музыка разыгрывает сладкую симфонию ошибок и совпадений. Подчас сливается тот мир с мечтою, вознаграждает сполна. А то вдруг лукаво увильнет. Или вдруг ввысь взовьется скрипичными струйками. Тот ли мир не хорош? Здесь смрад один и голая степь. Там — сияющие бездны верха.

Сидит человек — в кучке праха копается, горелыми костяшками поигрывает. Молчит. Потом заговорил: чужой всем здешний твой мир — каменная глыба, вся устремленная внутрь. Но и тот мир чужой. Аж к самым губам подступает чуждость. Голову надо задирать.

Но там — небеса, говорю я ему, а здесь, глянь — захарканный потолок. Он не слушает, а говорит дальше: твой мир — глыба, а тот — хлипек и слякотен. Тут хоть гордыня твоя осеняет тебя крылом. Там же я жалок и беспомощен — ни единой разгадки мне не было дано. Ни легионьким даже пунктирчиком не очерчено было ни единого пути. И снова он замолчал. Склонил белый кипарис к нему свою верхушку. Осыпал его власяницу своей белой пылью.

Шел он по временам встречь смерти. Я же встречь жизни шел по равнине, где время иссохло, как мелкая травка. Повстречались мы в

Лимбе, беломраморном дворце, где распахнуты форточки во все миры, но наглухо заколочены двери.

Там есть небо, мой друг, начал тот. Ох, и бездонно же оно, ох, бездонно. Донышка не выглядишь. Так, что в глазах рябило, вглядывался я в тот дальний свет — допрашивал его, допрашивал, молил открыться.

И он открылся? — спросил я его.

Да куда ж открываться нескрытому. Это ж не каменная твоя глыба. Это есть неукрытейшее из всего. Это и есть пространство, в котором мы. Каждый отказ спархивал с небес, как легкое перышко. Твои смыслы утоплены в ночи. Мои — в небе. Устал я раз, и два, и сотни, сотни раз получать нет. И я задумал создать свой мир. Я ничего не знал, так ведь творцу и пристали одни догадки. Догадался я, что нет мира без прошлого. У моего дома разлеглась пара мраморных львов. Не псиной от них воняло, не смрадным дыханием хищника — источали они сладкий, трагический аромат тления. То был для меня запах прошлого — лежали два прошлых льва, а ныне символы. Символы ничего, того, что ушло без возврата. Памятник погибшим временам.

Ведь понял я, что настоящее нельзя набить всем на свете. Потому изобрел я сумеречное поле грусти, витающей вокруг жизни, ставшей камнем. Так бил он в свой шаманский бубен.

Далеко распростерлось вспять мое прошлое, лучшая моя выдумка. Далеко оно простерлось, до немислимых пределов, где угасают и мысль, и чувство, где кишит мелкая, темная жизнь. Продвигал я свое прошлое вспять, пока не уткнулось оно в камень аммонита.

Потом выдумал я будущее, простер его вперед — нежный луг, поросший яркими цветами. Простирался он до горизонта, где сходятся земля и небо. Где в свете невероятном утоплены окончания всех путей. Где беззаботность властвует. Где нет нужды творить. Где время впечатано в пространство.

На этих странных словах иссохла глава четырнадцатая. Началась пятнадцатая глава.

## Глава 15

Ах, друг мой, товарищ мой по смерти, знал бы ты глупую привычку того мира всякую щель заполнять жизнью! Ведь между сотворенным мной прошлым и мной сотворенным будущим крошечная щель и осталась. Зыбкая трещинка, вьющаяся, как змейка. Так и перла в нее жизнь — как травинка, пробивающая асфальт.

Уж лучше гордая твоя равнина, где ветер взметает смертный прах. Где царит твоя неутоленная гордыня. Где вечное настоящее властвует. Где это настоящее стало прошлым, ибо окаменело. Где оно стало будущим, ибо туманно.

Ах, как уютно твое вечное всегда! В том же мире — нет пространств настоящего. Тó, словно мембрана, вечно вибрирует под напором будущего и прошлого. Стараюсь я ухватить «сейчас», но только воздух ухватываю в горсти.

И склонился тогда над человеком белый ангел. Белой своей рукой провел по его лбу. Стер с него одну морщинку и другую. А потом снова замер, как кипарис, клином устремленный вверх.

Глыбы времени были разбросаны там и сям по всей моей долине. А я был их пастухом. Стала иссякать глава пятнадцатая, но шестнадцатая не рождалась. И человек сказал: не озарил я прошлое и не продумал будущего. Я ведь мал был и нов в том мире.

Ах, друг мой, продолжал он, друг мой милый и единственный. Повенчанный со смертью, ты не повенчан со временем. Твой удел — идти



встречь временам и уткнуться в детство. У меня же детская моя дерзость превратилась в унылый инфантилизм созревшего человека.

Теми словами он слизнул последние капли пятнадцатой главы. Началась глава шестнадцатая.

## Глава 16

Сиял мой дворец в сумерках всей сотней своих окон. Тот дворец, где нет меня, сколько не ищи. Сидели мы с человеком, неудачливым творцом жизни, в бесприютных сумерках, разгребали прах от погребальных костров.

И сказал человек, впершийся всем своим телом в мою нежную смерть, потревоживший мой постылый покой, растормошивший мою непроснувшуюся душу. Он сказал: я творил словом, но не знал имен. Именованное свершившееся — дело не творившего, а сотворенного. Я искал имена для родного, того, что омывал океан чуждости. Но бессильны те были, не напивались силой вещей, не вовлечены были в ее судьбу, не веди и не были ведомы. Они были как клейма, как бирки.

Не именовал я, а нумеровал скорей. Ваял я статуи, лишь загромождавшие времена и пространства. Так бил он в шаманский бубен.

Иногда, продолжал он, я делал вид, что равнодушен к жизни, чтоб она сама ко мне льнула и ластилась. Он ведь женственен, тот мир, где разлита материнская сила. Слово музыка на воде, случалось, играли светлые переплески моего «сейчас».

Когда же иссяк мой младенческий сон, так, скажу тебе, друг мой единственный, товарищ по смерти, — понял я, что дальше творить бессилён. Грянул миг подлинной трагедии, когда разом понял я, что я есть. Что я навек повенчан со временем. Тогда я и вышел встречь смерти.

Тут конец шестнадцатой главе. Началась глава семнадцатая.

## Глава 17

И ответил я ему: темны для меня твои речи. Как и моя речь для меня темна. Но я — дитя ночи, а ты рожден днем. Хорошо, должно быть, ты придумал ту жизнь. Не позабыл ни об одной загогулинке и завитушке. Придумал ты будущее, а не позабыл ли о смерти, гордой моей подруге, обители моей гордыни? Тогда жизнь была бы не просто дурнушка, а трагически обреченная чахоточная барышня.

Высока была бы твоя жизнь. Все бы вокруг стало хором, ты один — героем, предстоящим трагедии мироздания. Трагедии жизни, точнее, сказал он. И смерти, добавил я.

Я выдумал великую смерть — черную ночь души. Твоя бы смерть таилась в каждом твоём миге, как его сердцевина, как его суть и его тайна. Раздробил бы ты единую мою смерть на мелкие песчинки, сыпались бы они одна за другой, пока бы вовсе не иссякли. И тогда заполнил бы тебя покой до самого донца глупой твоей души.

Заговорил он. Спрашивает: скажи, есть ли сны в твоей долине? Или же вся она — сон? Гипнос и Танатос — братья, но в чем крепче они — в любви друг к другу или в ненависти? Не изгнал ли суровый Танатос легкокрылые сны из твоей вонючей долины?

Молча я стоял. Что ему отвечу? Здесь все сон и нет сна. Сновидение без сна, греза наяву. Сонная, изменчивая явь. Молчал я. Слезы ронял на нас белый кипарис. Узки были врата, в которых мы столкнулись с посланцем жизни.

И он сказал: как капнуло последней каплей мое детство — оскудели мои сны. Не стало в них буйства и бесстыдных желаний. Обжилась

в них дневная скука. И ничего он больше не сказал. Не стал рассказывать свои сны, видно, запустевшие, как моя долина. Где бесстыдные страсти — не могучие деревья: их пригнуло к земле. Стали они хилыми и больными, как вон тот гнилой подлесок.

Тут тихо стало в моем Лимбе. И травы не шуршали. И деревья не стучали ветками. И канула глава семнадцатая. Началась другая.

## Глава 18

И сказал я ему: а любовно ли ты творил тот мир — творенье в творении? Так ведь бездонны там, у вас, небеса, и они полны до краев любовью. Здесь-то что мне полюбить — хилый тот перелесок? облезлую волчицу? ангела, скрывающего от меня узкие врата?

Ведь и вошел ты в тот мир, не как я в свой, — а любовью родных душ. Любовью ли был сотворен сотворенный тобой мир? Или творился он холодно, не любовью, а жалостью только порой. И не к миру жалостью, а к одному себе.

И он сказал о своем: только движением тела мог проникнуть я в будущее, мирским жестом — не силами ума, ни души. И, помолчав, потом он заговорил дальше: только сотворил я мир, любовью ли, жалостью, как он стал мне непослушен. Творил я его своими детскими страстями, куда подмешана и любовь. Но сотворенное страстями послушается ли ума?

Своим умом я хотел выдумать счастливый мир, светлый мир детства. Но кропотливо созданное еще отчаянней тянет развеять в прах — как сгусток своей муки. Ох, друг мой единственный, как невыносима скука творенья! Только предсмертность каждого мига давала мне силы жить.

Вот и он о смерти, подумал я. Кто же скажет мне о жизни? Не разменивают ли они попросту в том мире великую смерть — черную смерть души, долину, осененную крылом Танатоса, на мелкую разменную монету?

Спросил я его: надо ли мне идти встречь жизни? Пройду я весь путь, как корабль, идущий против ветра, прочитаю первую главу последней? Что написано в первой главе, скажи, друг мой единственный, посланец жизни?

И он сказал: первая страница чиста, как первый вздох. Первая страница и пишется последней.

И тут иссякла восемнадцатая глава. Началась девятнадцатая.

## Глава 19

Как пара шаманов, били мы в свои бубны. Подпевал нам гнилой перелесок. Подвывала волчица, пришедшая из своей чащи к водопою — напиться из реки Забвения. Столкнулись мы с посланцем жизни в узких вратах, и не разойтись нам вовек, ведь ни один не посторонится. Нахлестнули друг на друга два пенных вала и замерли окаменевшей бурей.

Вот я расскажу тебе, единственный мой друг, страшную сказку, мой мертвый сон, сон без движения и без исхода, который можно исходить из конца в конец. И он не имеет развязки. Он — не символ чего-то, он — всему основа, и все иное — лишь его метафора.

Тогда, ты помнишь, пролилась на меня кровь отрока. Проникла капелька сквозь поры камня к самой его сердцевине. Сохранил, сберег камень капельку живой крови. Напитала она мою сонную жизнь.

Стал алкать крови угрюмый камень. И жизнь того отца стала моей воле подвластна, причастна моей вечности и зависима от нее.

Приводил он к камню и скот свой, и людей своего племени. Пронзал он грудь их, взрезал их чресла острым с меня сколком. И становился я причастен жизни через пролитую кровь.

Взвел ветер поземку — погребальный пепел запорошил нам обоим глаза, припорошил волосы. Захватил тот человек мою шею крючком своего посоха, к себе пригнул. И сказал он: не надо о крови, друг мой единственный.

Но кому еще рассказать один мой сон, который я исходил из конца в конец и не нашел из него двери. Ибо моя ночь — навсегда.

Оттолкнул я от себя того человека. Выпал из его руки посох. Стал змеей. И змея уползла в травы. Зашелестел подшерсток земли. А потом все тихо стало.

И спросил я его: скажи, друг мой единственный, а, может, не услышали мы голос архангельских труб, ты — увлеченный жизнью своей, я — своей смертью? Вот теперь мы оба в мерзости запустения, и все воды теперь горьки, как полынь. И оба мы с тобой — два всадника. А от тебя о шую скачет жизнь. А ко мне о десницу смерть при-мостилась.

Глянул тот человек ввысь. Уперся его взгляд в грязный потолок. По нему скользнул. Нашарил луну, ночную красавицу, обведенную пальцем ангела. Упорен стал его взгляд, словно высматривал он на луне родные души.

То было так, ибо он сказал: свое создание они нам поднесли, как дар, а мы его загубили, дети ночи. Неслышными шагами мы ушли от сотворенной яви, ушли от их мира и тайно сотворили свой. Да нет, мы его не таили. Он ведь не штуковина, он — игра, а не игрушка. Они лишили нас теперешнего, мы их — будущего. Ни к чему нам их игрушки, как не понять и им наших игр.

Мы привыкли играть без игрушек, что передают из века в век скудное однообразие времени, пространства и мысли. Придет час, и стану я лунным жителем. И полюбит меня тот, чьей родной душой стану я в том отдаленье. Полюбит за так, пожалеет незадачливого творца. Да еще и за то, что не навязывал я ему свое творение.

А творение есть ли, спросил я его? Выглядывал ведь я в узкие ворота и видел в вашей жизни одни руины.

Пылают, он мне ответил, погребальные костры. Вздываются ввысь язычки света. Тянутся они к небу. Не знала молитв наша душа. Так пусть будет мертвое наше тело той жертвой, что приносим мы небесам. Нечего нам им принести. Разве что смрадный дым. Ну, еще суетливые язычки пламени, тонко протянутые ввысь. Развеется смрад, останется пепел. Взрастет новое на наших истлевших костях.

Жизнь наша, сказал он, взяла у смерти ее силу и траурную прелесть. К небесам тянутся, земля же всегда с тобой. Рок, небесный утоплен в беззвездном небе, земная же судьба — наша опора. Узки врата жизни, врата смерти всегда распахнуты. Сжата правая рука ангела в кулак. Левая его ладонь всегда раскрыта. В том мире всегда неуют и тревога, ведь если и закрыты небеса — всегда разверсты могилы. Так странно говорил человек тот.

Обернулся он к смерти, я же к жизни обратился. Жизнь, просил я, дай мне хоть единый миг, хоть искру, хоть проблеск тебя. То вымалывал я у истинной жизни. Не у царицы же могильных холмиков, а у той, что веет ласковым ветром, а сама невидимая.

Ни у кого не выпрашивал я подарков. И сам никому не дарил. Что подарить в моей долине — разве что горсточку праха, печальную луну, тоскливый вой облезлой волчицы?

Тут стала заканчиваться глава девятнадцатая и вся вытекла. Началась глава двадцатая.

## Глава 20

Ах, смерть моя, так обращался я к моей жизни, ты могучая птица — ворон, разговаривающий с тучами. Как высоко ты могла бы поднять меня, будь небеса в моем Лимбе. Тут же небо низко — рукой его достанешь. Только ангел мой — белый кипарис — и есть вся высота моей долины.

Если бы ты, жизнь моя — смерть, дала бы мне хоть маленький проблеск света, знаешь, что бы я сделал с ним? Обволок его в кокон так, чтобы вовек он себя не растратил: ведь блеск наружу напрасен — свет внутрь навсегда сохранится.

О, как бережно нанизал бы я каждый миг на нить, тонюсенькую, как паучья пряжа. Собралось бы таинственное ожерелье жизни. И пересчитывал бы я взад-вперед каждую бусинку. Россыпи мигов даешь ты, жизнь моя — смерть, каждому болвану, пускаешь перед каждым шутихи прозрений и проблесков. Мне же дала ты единый кус времени, замуровала меня в угрюмую глыбу. Как мне из нее выйти тебе встретить?

Давай-ка и я расскажу тебе сказку, сказал мне тот человек. То было, когда я всю жизнь расточил и растратил, творение свое смахнул на пол — так оно опостытело мне. Облекся я тогда в эту вот влашняницу. Посох себе срезал, вон тот, что уполз змейкой. Тогда пошел я по дороге без всякой цели.

Навстречу мне идет старичок. А вдали — сияет город. Как думаешь, спрашивает старичок, сколько там праведников? Подумал я, прикинул, пересчитал на пальцах. Говорю: все там праведники. Тогда, говорит старичок, сейчас провалится он в бездну. Дунул — и нет города. Не сияет он вдали. А вместо него — яма.

Пропал старичок, а я стою, словно соляной столб, не могу двинуться.

Говорю тому человеку: я твою сказку слышал. Ну что ж, он мне отвечает, беру свое добро, где плохо лежит. Где хорошо, тоже беру. Подошел я к яме, туда заглянул. Лежит там весь городок, но обожженными глиняными фигурками — человечки, домики. Игрушечным он стал, для детской игры.

Тут глава двадцатая почти закончилась. Но успел человек сказать еще слова. Говорит: так остался я на земле один человек. Остальное же — моя многоликая тоска, суетливая моя тревога.

Тут кончилась глава двадцатая. Началась двадцать первая глава.

## Глава 21

Равнина моя подвешена, как хрустальный гроб к небесам. Подвешена она на золотых цепочках. Тонких, но прочных, однако ж. Поддувают ветры в ее донце, и она раскачивается среди пустых, не ухоженных мной пространств, словно люлька, поскрипывает.

Облака плывут не сверху, а снизу. Подумал я: не в чужой ли сон я попал? Сны ведь в ночных небесах летают стайками. А мы в ночи бормочем и гулькаем, приманиваем сны. Вот отпорхнет от стайки один, сядет к тебе на грудь, прильнет к сердцу и его согреет. В своем сне и ужас сладок.

А тут, может, приманил я чужой блуждающий сон. В чужую смерть окупнулся. Из чужого же сна не выпутаться — так и будешь блуждать

в сумерках. Пропитаешься весь мутью чужой души, надышишься смрадом чужих непереваренных страстей. Ведь, если б то был мой сон, моя долина, моя кара, был бы он мне сладок. Был бы я в своей долине крупен, а так катаюсь по ней, словно бобовое зернышко. И все ж не втиснуться мне в узкие воротца — ранки на ладонях ангела.

Заглянул я туда как-то. А там, будто котельная, — трубы, трубы. Надо земляным червем стать, чтобы втиснуться в жизнь, в нее ввинтиться. Немы мои небеса, не раздастся оттуда голос: встань и иди встречь жизни. А может, ввысь устремлена моя долина, может, она — словно карта-черва. Вот ведь кипарис мой верхушкой своей указывает вверх, и устремлены туда же стрельчатые окна моего дворца, а он ведь и есть все мое пространство. Может, мне туда и надо идти — вверх, чтобы выйти встречь жизни?

Спящая дева роняет из рога по капле в глиняную чашу. Что тут значит время? Оно тут — неделимая частица вечности. Но ведь тут время вызревания чего-то. Что тут зреет? В долине моей, моем Лимбе?

Ты спрашиваешь меня, кто я, белый ангел. И я отвечу, что я — вечность, вмурованная в каждый миг. Я — вечность, заключенная в сердцевину мельчайших частиц пространства. Скажи, кто я, мой белый ангел?

Здесь конец главы двадцать первой. Началась двадцать вторая глава.

## Глава 22

Ветер поддувал в днище моего гроба, поскрипывал он на золотых цепочках. Был он тайной мира. Был он от меня тайной. Слову он не поддавался, не был ему подвластен. Только в ритм его качков можно было войти. Ритмом заморозить — приручить тайну.

А тот человек на глазах становился бесплотен. Тот, кто и в своей смерти был телесен, вдруг стал истаявать, как льдинка. Пар от него шел, тянулся к потолку, как сигаретный дымок. И он становился все прозрачней и прозрачней.

И я подумал: а тот был ли вовсе? Был ли наш странный разговор? Или от своей тоски я его придумал? Ведь как легка грань между бывшим и небывшим! Попробуй отдели то от этого в моей долине, где время стало камнем.

Растаял тот человек, словно льдинка. И я опять стал волен и безымянен.

Тут начала иссякать глава двадцать вторая, но замешкалась и пока не иссякла.

А человек тот истлел, выпал из его руки посох, опала его власяница и легла на землю. Приподнял я ее, а под ней одни кости лежат — нет того человека. Хочу я радости, а вечно вляпываюсь в мертвечину. Хочу так распахнуть веки, чтоб все звездное небо ссыпалось в мои глазницы, но только пустые глазницы черепа распахнуты всегда, только в них обживается природа, только в них живут небеса. Свищут ветры в пустых глазницах черепа, выдувают оттуда время.

Тут конец главе двадцать второй. Началась двадцать третья.

## Глава 23

А все-таки скажи мне, ангел, чей сон я приманил? Какого демона или духа растревожил? Ведь тяжела мне моя долина, чужой для меня этот сон. Слова мои для меня невняты. Фу, какой дрянной сон!

Я знаю, как выпутаться из земного сна, хоть и тяжелого и зануд-

ного, но своего. Надо изогнуть свое тело и из него вывинтиться. Разорвать его паутину, как это делает муха. И тогда погибнет надорванный сон. Унесет его вдаль, как облако. Ведь без тебя он беспомощен и хил. Только бы из него вывернуться, как змея выворачивается из своей шкуры.

Но тот сон, о котором я говорю, называется смертью. Он вечен, этот сон, и плотен, как камень. Вымышлен он каким-то древним демоном. Он из тех снов, что правят жизнью. Тут уронила спящая дева в фонтан еще капельку.

И я отчего-то позабыл все слова. Одно только слово выпорхнуло из моей груди, как птица. То было слово «грусть». Вырвалось оно из моей груди, как вздох облегчения.

Считается грустью моя долина, исходит из нее тоска по смерти и сумеркам. Исходит из нее вожделение к жизни, невесте моей, с которой мы повенчаны.

Распахнуты в моем дворце форточки во все миры. Все их я познал, но не действием, а как запахи. Мне знакомы запахи всех миров. Не пора ли мне прийти в жизнь, в ее оскудевшие вконец пространства, хотя жизнь и стала лупоглазой дурой, а люди все попрятались под могильные холмики.

Если нет уже жизни, то пускай хоть смерть властвует на ее опустевших просторах.

Тут бы и конец двадцать третьей главе. Но нет, я еще сказал: пусть же затеряюсь в пространствах жизни, словно пустоглазый череп в траве. Пусть незабудки прорастут в моих пустых глазницах. Пусть поселится там молчаливое время. Пусть омоет весь мир мои глаза без зрачков. Века так будет лежать мой череп, затерянный в разнотравье.

И сказав это, я замолчал, ибо закончилась глава двадцать третья. Началась двадцать четвертая глава.

## Глава 24

Тысяча комнат в моем дворце. И все распахнуты. Обошел я все, но себя в них не нашел. Одна только, маленькая, замкнута на замок. Нет у меня от нее ключика. Унес его черный ворон, что сидит на кипарисе и разговаривает с тучами.

В ту комнатку сцезены все ночи до единой. Самая их гуща — непроглядный мрак. И когда будет жизнь растрочена до полушки, двери той комнатки сами распахнутся. И все, что там, выйдет в мир сквозь узкие врата. И тогда весь мир станет ни от кого не укрываемой тайной.

Ох, и опостытели мне вечные сумерки. Здесь копится только тоска. Не растекается она — негде ей тут растечься. Все здесь становится плотным, как камень.

Тут белый кипарис снова обернулся ангелом. И он сказал мне: дурень ты, дурень, вперился ты в свою смерть, вцепился в нее, как собака в кусок мяса. Далась она тебе, дурню. Сам ты сказал, что сны летучи. Так примани из стайки самый легкокрылый.

Выдумал ты, что скрываю я от тебя врата, а у меня их нет вовсе. Тут ангел раскрыл свои ладони и мне протянул. Чисты были ладони ангела, не было на них ранок. Затянулись кожей узкие врата.

И ангел сказал: нет вопроса без ответа. Ответ в нем как золотая сердцевинка. И вот ты уже по ту сторону врат. Шагая по сумеркам, вышел ты встреч жизни. Сам ты уже стал ангелом. Распахнулся гроб, подвешенный к небу на золотых цепочках. И душа из него выпорхнула, как белая голубка.

И так, словом «голубка», закончилась двадцать четвертая глава. Началась двадцать пятая.

## Глава 25

И тогда вонзил белый ангел свой меч в землю. А меч был огненный, потому запылала мелкая травка. Закурилась сперва дурящим дымком. А потом занялась, запылала.

От нее занялся и гнилой лесок — шипел и потрескивал, фыркал еловыми иголками. Вышла из него подпаленная волчица, псиной воняя и паленым волосом. Бросилась она в реку, называемую Забвение, и там навсегда пропала.

Загорелся мой дворец о тысяче комнат. Ух, каким костром запылал! Пал красный свет на стены моего Лимба. По низкому его потолку замечалось пламя — то выгорали мои пространства, гроб мой полыхал.

Тут и рухнул дворец, рассыпавшись искрами. Белый кипарис горел к небесам. Ровно горел, без вспышек и сполохов. Вился над ним черный ворон, каркал жутко.

И закипела вода в реке, называемой Забвение. Поднимался пар к потолку, капельками оседал на потолочных балках. А потом капали те капельки наземь, исчезали с шипеньем.

Только фонтанная дева все дремала среди пожарища. Так и роняла воду из гипсового рога. А мое тело сгорело дотла, избавился я от его страстей. Чист стал, как тот ангел, прозрачен, как тот. Мое тело стало из какой-то легкой материи, совсем невесомое. И выросла у меня за спиной пара крыльев.

Не то чтобы я стал ангел. Но что-то летучее. Может быть, какой-то демон или дух.

Когда же сгорел весь Лимб, превратился в пепелище, тогда воспарил мы с тем ангелом, словно пара голубков. Разом обрели небо.

И тут закончилась двадцать пятая глава. Началась двадцать шестая.

## Глава 26

В моем Лимбе не было небес. А тут неба-то вдоволь. Тяжел был мой камень — тело тел, куда устремлялась внутрь вся сила моя и мысль. А тут сразу стало много неба. И бытие стало легко, и податливы стали пространства.

Как мотыльки, вились мы вокруг пожарища. Пылал подвешенный к небесам кленовый гроб. Раскачивался он на тонких золотых цепочках. Ветер огонь раздувал. И виден тот пожар был отовсюду, изо всех миров.

Догорел гроб и вниз рухнул. Летел он, как огненная комета. Кувыркался он и сыпал искрами. Дрогнула земля, когда он пал на нее. И оказался я свободен, вошедший в узкие врата.

И не обрел я имени. По-прежнему был безымянен, но теперь я был легок. И был я среди податливых пространств. В свежем и необтрепанном мире я очутился. До всего тут было рукой подать, верней, взмахнуть пару раз крыльями. Любое место тут было рядом.

И еще тут витали вокруг дети воздуха — тоже легки и безымянны. Так их было много, что не дашь ведь каждому имени. Если и на острие иголки их поместятся мириады.

Так легка была их жизнь, так они все были прозрачны, что, казалось, все равно им — быть или не быть вовсе. Века и века быв камнем, сколько я скопил легкости. А теперь растрачивал ее весело и бездумно. И тут все не истекал единственный век. Но он не залег камнем, а был рассеян в воздухе. Мерцал золотой пылью.

Суетливые те существа — мои братцы — вечно двигались, туда-сюда перелетали. Не нашлось для каждого из них имени. Потому не были они

пригвождены словом к единственному мигу. Так, летали, порхали, один в другого перетекали, менялись обликами и названиями. Названия ведь были не их суть, а что-то вроде накидки, не лик, а личина. То, что укрывает не раскрывая.

Когда давали имена, все они от дающего попрятались, стали играть с ним в прятки. Попрятались в деревьях, в реках и озерах, в камнях, как я. И потому они остались безымянны. Когда кончились все имена, оставили они убежища и все воспарили в небо. И вот я среди них парю.

И ангел мой рядом, но оставил он свой огненный меч и потому стал от других неотличим. Мы были в небе, а под нами была земля. Красивое такое место. Все там внизу зеленело и цвело. В необтрепанном том мире всегда была поздняя весна, на границе с летом.

И там, внизу, был камень, камень скал. Но скалы там были не суровы и не грозны, не одухотворены тайно угрюмой жизнью, всегда обращенной внутрь. Да тут и вообще-то ничто себя не таило. Все расстрачивало себя легко и простодушно.

А скалы те были вроде оперных декораций. Изящные и как игрушечные. Таков был мой новый сон. Сон про ангела. И тот ангел был мной.

Тут закончилась двадцать шестая глава. Началась двадцать седьмая.

## Глава 27

И не тоска здесь царила, как в том моем Лимбе. Разве что легкая такая, невесомая тревога. И она делала небесную жизнь еще слаще. Там, внизу, среди трав, где-то таилось урочище слез небесных. Скопились небесные слезы в маленькое озерцо. От него и шла тревога, невидимо витала над здешним простором.

Было прозрачно соленое озеро до самого песчаного дна. Но вода солонка до горечи, хоть и прозрачна.

Сладок был день наш, летучих сынов воздуха. А вечера были протяженны. Размазывали они по небосводу предзакатную печаль. Но это для того, чтобы другой день был еще слаще. А ночей тут почти и вовсе не было. Так, черная какая-то капелька, невидимая глазу граничка. Закат плотно прилегал к рассвету. А зазор был капельный — трещинка на асфальте.

В Лимбе моем, заветной долине, была одна смерть — едина, цельна и величава. Тут была одна жизнь, а смерти не было. Легка была жизнь, нами не выстраданная. Там-то одно страдание и было. Тем и тяжелей, что без мук.

А тут одно небо, как поместилище и знак нашей легкости, наших крыльев. И оно бездонно — лети ввысь и ввысь, все равно останешься в поднебесье. Там вопрос упирался в стены, здесь же воспарял ввысь и ниоткуда не отзывался эхом. К кому воззвать из бездны небесной? Кого возблагодарить за легкость и вечную жизнь? Но мы не знали ответа.

Там, внизу, в прежнем моем жилище, тайна была, как камень. Здесь же сокровенна была прозрачность. Поглядишь на тех сынов воздуха — крылышки у них стрекозиные, тельце воздушное, все насквозь видны. Но и они сокровенны, и они тайна.

Как скапливал я легкость в тяжелом, как камень, своем мире, так они своей легкостью скапливали угрюмую тайну. Как тянуло меня ввысь встречу жизни, так тянуло их вниз — припасть к земле.

Что обрел я, обменяв свое подземелье на выси? Остался я при тайне сокровенной, слитной и единой. Ох, как томит эта единственность тайны, необходимость ее оглаживать и ласкать, как жемчужную бусин-



ку. Обменял бы я ее, гладкую и мутную, на извилистый мир земли. Там тайн нет, хоть и целый ворох загадок. Там небо высоко, и туда не взлетишь полетом. Зато снизу вверх можно на него любоваться. Сам ты не проникнешь в небеса, но зато туда взлетит твоя молитва. Приникнет к Божьему Престолу, и капнет сверху вниз небесная слезинка. Прямо в озеро небесных слез.

Тут конец главе двадцать седьмой. Началась двадцать восьмая глава.

## Глава 28

Подумал я, витая в небе: стоило ли менять то на это, коль из ловушки вечной осени попал я в вечную весну? Если из западни вечных сумерек угодил в вечный день? Стоило ли менять то на это? Дробил я свой камень, холил и пестовал свое отчаянье. Проспал я архангельские трубы. И вот пала крышка гроба и взлетел в небеса мой вольный дух. Затерялся в голубиной стае.

Что мне в этом? Не все ли равно, вечная ли тоска или безысходный расцвет, бесплодная надежда. Так думал я и произносил слова вслух. Но был их смысл для меня темен.

И подумал я: здесь небеса всегда. Здесь я приобрел привычку к небу. Там привык я к смерти. Тут привык к небесам. К их вечной незамутненности. Нет тут ни единой грозовой тучки, клочка напряженной мути, что вот-вот разрешится свежим ливнем. Там — единое тело тел, тут — единая душа душ. А я где? Обшарил я все здешние пространства, обошел новый мой дворец. И вновь не нашел себя ни в единой комнате. Ну что ты будешь делать?

Там главы кончались вдруг. Здесь вытекали медленно и плавно. И так же неторопливо являлись следующие. Я уж услышал плавный шаг главы двадцать девятой. Но она не торопилась, хотя и не медлила. И вот что я увидел, взглянув с небес своих на землю: стоит в травах золотой трон. Сидит на нем человек, зовущийся Адамом. Тот, что давал имена ангелам, но ускользнули от него ангелы.

Сидит он, поигрывает скипетром. Там сияет алмаз чистейший. И сам он, как драгоценность, сложен из сверкающих камешков.

Глядел я с небес на Адама. Оттого глава двадцать девятая замешкалась и пока не дошла до меня.

Так вот, Адам. Как изделие ювелира, сложен он из разных камешков. И все они сверкают на солнце. Сам он неподвижен, словно и не жив. Но плещутся в ограненных камнях лучики. И кажется, будто живет он. Живет буйно, весь сверкает и переливается.

Но стоит ведь встать Адаму со своего трона, как разрушится его искусная цельность. Рассыплется он кучей стекляшек. Его тело было не телесно, а как драгоценность и роскошь. Если встанет он со своего трона, то так он высок, что достанет небо макушкой. Но то будет миг один.

Так, в ожидании другой главы, смотрел я на Адама. Но не дождавшись, крылья свои раскинул и полетел по пространствам. А кишки те пространства не только ангелами, а еще и снами их и видениями. Те перелетали от одного к другому, как стаи голубков. Что было таить прозрачным ангелам, да и как утаишь? Тельце-то их — один воздух, все виды насквозь.

Слетались их видения в стайки, друг с другом переговаривались. Но не словами, а птичьим пересвистом. У самих-то ангелов нужды друг в друге не было, но, встречаясь в полете, мы приветствовали друг друга. А привет наш был всегда тот же: что, брат мой, спрашивали, хорош ли мир? И отвечал другой: дивно хорош, мой братец. А тот спрашивал: как

спалось тебе, братец? А в ответ: вольно спалось и просторно. Витал я в высях, и мечта моя вилась со мной рядом. Так и летали мы с ней наперегонки. И первый говорил: ну, тогда прощай, братец. И улетал от него.

Но ангелы, надо сказать, не все были, как один, и не все, как люди. Иные были с птичьими суетливыми головками. Были, как крылатый лев или как бык с крыльями.

Хотел я еще сказать нечто, но закончилась эта глава. Началась другая.

## Глава 29

И я сказал: я умер из смерти и взамен получил воздушную жизнь. Мой камень был сер и внутри, как снаружи. Тут же все многоцветно. Синь неба густа, трава зелена до боли в глазах, а цветы роскошны.

Только вечер, тут протяженный и вязкий, только он делал краски мягче. Затуманивались немного игрушечные горные лики — там у нас были гнездовья. Как орлы, мы рассаживались на каждом выступе, прикрывали своими крыльями голову, задумывались о чем-то. И тогда почти невидимая в сумерках грусть от одного к другому перепархивала серой птахой, перелетала по изъеденному сумерками пространству.

Тревожились дети воздуха, вскрикивали, всплескивали крыльями. Им различим становился шепот, доносящийся из занебесья. Невнятный и нежный, прост он был, тот голос, но тревожил простодушных детей воздуха невозможной своей глубиной. И ласкал он, и к чему-то звал — к тому, что и не происходит в легковесных наших просторах.

Ах вы, ласковые сумерки, тревога по иному! Нам бы так всю жизнь прожить в податливой сини, где до всего рукой подать — пару раз взмахнуть крыльями. А тут небеса зовут, наднебесье. И голос-то их как ков — арфа, нежнейшие колокольца. Но тревога на самом их дне, ведь небо — твердь, а не одно пространство полета.

А нам бы всю жизнь, бесконечную, где нет смерти, прожить в том густо-синем просторе, ничего не ведая, ни о чем не заботясь. Синь его простирается из конца в конец, в глубь всех времен. Вон там вон — исток, теряется он в голубой дымке. А вон, в другую сторону, там исход. И он тоже утоплен в синеве.

О чем же думали сыны света в волшебных тех сумерках, когда одна звезда всходила на небе?

О том в другой главе. А эта уж истекла до капли.

## Глава 30

Так вот: только в сумерках они думали. Днем же все их мысли рассыпались из их нехватких горстей. О слезном дне озерце, где вода горька, но на ней отражены небеса превыше их полета?

Слушал я слово занебесья. И не различал я в нем тоски, там грусть одна, но нет там отчаянья. О том ли мы думали, что напрасен наш полет и бессмысленна наша радость? Может, и о том, но не удерживали ни единую мысль наши полупрозрачные тела. Все тут было легко. И все было тяжело в прежнем моем склепе. Окаменела там страсть, залегла камнем. Здесь же любую мы отвевали своими крылышками.

И наутро подлетал я к своим братьям со все тем же вопросом. Что, спрашивал, не хорош ли мир? И кто-то отвечал, всплеснув крылышками: дивно хорош, братец мой. И я говорил ему: ну, братец, лети дальше. И сам улетал.

Так витали мы не одну вечность, пахтая воздух своими крыльями.

Но и ангел не совсем прозрачен. И он — не один воздух, а жизнь, хотя и невесомая. Нечто мы утаивали все ж и от небес, и один от другого. И вот накопилось укрытое. И хватило его, чтоб из зародыша вызрел зачаток времени.

То было, как снесенное нами яйцо. Высиживали мы его, присев на уступы в сумерках. Крупное было яичко, как страусиное. И билась жизнь в белом яйце, жило там время. Время трагедий и сладкой боли. Жили там все времена. Ведь смахивали мы с небес пылинку тяжести каждым махом своих крыльев. Вот и скопилась жизнь во времени, а небеса остались вовсе чисты.

Проклонулось время из яйца острым своим клювиком. И вышел оттуда темный туман. Поднялась пыльная буря. Солнце стало красным, жарким стало, так, что обжигало перья. А потом осела пыль. Глядь, уж нет внизу ни цветов, ни трав. Стала внизу пустыня. И Божий гнев над ней витал.

И тут уж конец главе тридцатой. Началась тридцать первая глава.

## Глава 31

А птенец тот совсем уже расколупил скорлупку. Вышел он из яйца — нелеп и страшен. Когти у него острые, а клюв железный. Разлетелись от него тут же дети воздуха кто куда. Одни упорхнули в дальние выси. Это из самых легкокрылых, любимейших мной. Другие далеко не улетали, отпорхнули в сторонку, подальше, и уселись на гребне бархана. И я был среди тех.

И сказал я: невесть где рождается зыбь прошлого, и маленькие волны все накатывают и накатывают на то, что есть сейчас. Битва прошлого и настоящего — она и есть музыка мира. И сказав так, я сам своих слов не понял.

А пока вот что было: снял над пустыней Божий гнев. Усохли мы все от жара и почернели. Стали носиться над песками с тревожным визгом, как летучие мыши.

И руки наши окрепли, и ноги. Напали мы на птенца. Тот отбивался своим железным клювом. Но мы все равно его до конца расковыряли. А затем унесли каждый свою частицу и зарыли в песок. Зарыл и я. А место пометил крестом из прутиков. И потом полил из слезного пруда. Того, к которому слетались мы прежними сынами воздуха, перед долгими здешними сумерками, чтоб напиться горечи. Потом зацвел тот крест.

И тут капнула глава тридцать первая последней слезинкой. Началась тридцать вторая глава.

## Глава 32

И я сказал: потом разбрелись по пустыне сыны воздуха. Разбрелись они ногами, не на крыльях улетели. Ведь одолела их бескрылость. Но даже была и приятна обретенная тяжесть. Только, случилось, во сне мы вверх взмывали. Ведь в пустыне нашей ночей было вдоволь.

Избрали мы для жизни пустыню — горький плод нашей утаенной тоски. Она мала была на земле, та пустыня, горстка песка. А вокруг нее простиралась наша тоска разнообразно и красиво. Торжественно даже. В горы и океаны, в равнины и степи она обратилась. Но ветер налетал на пустыню. Песок разносил повсюду. И ко всему была припешена частица пустынной горечи. А в морях вода была горька, как небесная слеза.

Я ж носился над пустыней, как дух ее. Упивался я новой своей

свободой и торжествующим отчаяньем. Смерть познав и воздушную вечную жизнь, я обрел времена, и были они мне сладки. Я от каждого пустыню берег. И так прошли века.

И вот как-то увидел я человека, раскинувшего свои пестрые шатры прямо на границе моих просторов, моего победного одиночества. Вон явился он, сын века сего, а искони он враг детям воздуха. Посягнул он на горький плод моей пустыни, век длившейся моей смерти и жизни моей, длившейся век. Странно он был похож на собеседника моей смерти. И, как тот, лезет в самую сердцевину моего отчаянья.

И приступил я к нему. И тот отпрянул от меня в страхе. Видно, так дик был и неукротен мой пустынный облик. Пал он на песок ниц и голову прикрыл шелковым покрывалом. И сказал я ему: зачем тебе, человек мира сего, моя пустыня — чаша, полная горьких моих страстей? Отцеженный мрак темной моей смерти и светлой жизни? Так спросил я его и сказал: мной, а не тобой она выстрадана — сколько витал я в легких высях, сколько жил в угрюмом камне. Нахлебался я вдоволь свободы и верха, и подземелья. И вот выстрадал я свободу земную — пустыню своего одиночества. И над ней витает Божий гнев.

Человек тот откинул чуть свое покрывало. Глазом одним в меня взгляделся. Хотел сказать нечто. Но тут закончилась тридцать вторая глава. Началась другая.

### Глава 33

И я сказал ему еще: нахлебался я высей и всех их пережег в горячую пустыню. Раздробил я свой единственный камень на эти вот самые песчинки. Плоско лежат пески. Но жар их — к небу. К самым вершинам и превыше их. И землю прокаляет Божий гнев до самого ее нутра. Так вбит, сказал я, кол в самую ее середку, пробивает он насквозь и небеса, и землю. То-то она — вертикаль, которой я и в помине не знал, витая в срединном небе. Туда она поднялась, куда не заносили меня мои слабые крылья.

И сказал я ему: опостытели мне мое среднее поднебесье, невыстраданная, оттого куца свобода, и подземелье мое без страданий и мук. И вверху, и внизу была со мной не жгучая любовь, сродни ненависти, не жгучая ненависть, которая сродни любви, а так, негреющее некое чувство, неглубокие теплота и прохлада.

Если и не высказан срединный мир моих прежних высот, так уж весь обмерян моими крыльями сверху донизу. И мир низа я обмерил своим телом, как могильный червь.

Но тот, откинув шелковое покрывало, сказал мне: но ведь и мир земли моей укрощен повседневными трудами, затуманен серенькими буднями. Вот потому оба мы с тобой в пустыне, ты живешь в ней, а я к тебе пришел. Затем, что оба мы знаем: лишь тогда выдаст мир свою тайну — она ж тайна и небесная, — лишь тогда выдаст тайну душа, когда подвергнешь ее и мир мучительной казни. Да, тогда лишь раскроет свои недра душа. А там ведь бездна и небес, и муки. Когда казнишь ты ее, испепелишь в печке огненной пустыни, тогда, как пронзенный копьем воин, она кровавым сгустком выплюнет главное в себе.

И на этих словах конец тридцать третьей главе. Началась глава тридцать четвертая.

### Глава 34

И я сказал: остановись же, ты, безумный. Зачем тебе пустыня — дивный сон моих невысоких взлетов. Я ведь, должно быть, и сам себе приснился, а ты во плоти. Я, может быть, только легкий отблеск жиз-

ни, а тыходишь в мой сон весь целиком — не одной мыслью и страстью. Заплутаешься ты в пространствах чужого сна. Сгоришь на костре моей пустыни. И весь род твой. И упрямо как-то лежал путник, головы не поднимал, не снимал с нее шелкового покрывала.

И я сказал: привык я тут жить среди духов, которые были чисты, а сейчас почернели. Но сами они всегда безымянны и не дают имен. Не было у меня имени ни в смерти, ни в жизни, потому был я свободен. Не преградой для меня были самые узкие врата. То ведь — лишь ранка на ладонях ангела.

И я сказал: не затем ли пришел ты, чтобы дать мне имя? А значит, приговорить меня к истории, значит, обречь меня на смерть глубже моего Лимба. Развеешь поле моих трагедий и сделать меня героем, пригвоздив к одному ускользящему мигу.

Заволновались, загулькали почерневшие мои братцы на гребне бархана. Стали крыльями размахивать, визжать и подпрыгивать.

И я сказал: для меня в имени всегда звучит отзвук последней ноты. Последний тот аккорд несется встречу мне из дальнего будущего. Того совершенного будущего, что укрыто покровом, который — погребальные пелены. Не достигнет его взгляд. Только ухо разве его различит, тень последнего звука. Того, что напityвает имя, делает его подлинным именем. И не именем просто, а именем имен. Так сказал я путнику.

Тут глава тридцать четвертая начала иссякать. Но я сказал еще: слушай, ты, странник горизонтали. Тебе ведь вся земля открыта. Изъезди города и страны на своих повозках, раскидывай свои шатры в благодатных долинах, среди простора степей и где хочешь. Сделай яркими и укрась свои будни, чтоб стали они так же пестры, как твой расписной шатер. Помолись в кумирне всякого народа, который ты встретишь в пути. Пустыню же ты мне оставь, нахлебавшемуся до одури и смерти, и жизни. Некому тут молиться. Солнце тут жарит всюю. Сожжет мигом деревянного болвана, а кумир золотой расплавится, словно в тигеле, оставив дужицу невыносимого блеска.

И слизал я последние капли тридцать четвертой главы. Сказал: здесь тот царит, кто без лица и без имени, без тела и сущности. Довериться здесь можно только самой пустынной пустоте. Солнцу, приклеенному к зениту.

Тут начинается глава тридцать пятая.

## Глава 35

Лежал тот путник в горячем песке. Слушал меня с вниманием. А то и вовсе не слушал. Приполз тут в пустыню сфинкс. Своими лапами распушил пески. Поднял бурю. А потом лег и, как камень, замер недвижим. И врос он в песок. Не задал сфинкс вопроса, и я забыл о нем до поры.

И сказал я путнику: у тебя, говорю, города и веси, млечные у тебя реки с кисельными берегами, весь сладкий морок жизни день ото дня. Строй города и храмы. Разрушай их, если хочешь. Оставь же пустыню тому, чья душа подлинно запустела, кто ее выстрадал своим полетом и своей смертью. Не потревожь чужого одиночества, раскинувшегося вон до того горизонта. Ну, а уж коль хочешь ступить в пустыню, приди смиренным и один. А тащишь ты за собой повозки, полные чад и домочадцев. Их ли желаешь ты предать грозной судьбе детей воздуха? Весь народ твой метнуть в печь огненную?

Поднялся с земли путник, откинул рукой свое покрывало. Белое лежало оно на песке. Угрюмый он стоял, в песке ямку проковыривал босым пальцем. Стелились позади него долины и земли народов иных.

Сам же он был пастух, кочевал он всегда. И вот, все пройдя, дошел он до самой пустыни. Впереди его — печь огненная. А там живут смуглые ангелы, и кругляши перекаати-поля носятся туда-сюда, туда-сюда. И небо над пустыней. А к нему солнце приклеено навек. К самому зениту. А позади его лежал путь назад.

Но взглянул тогда путник на ту пустыню, что вверху простиралась. Там, в небесной сини, вился оставшийся легкокрылым сын воздуха. Вился там ласточкой.

И он сказал слова. Но то в главе тридцать шестой.

## Глава 36

И теперь он мне сказал: уйди-ка с дороги моей, темный ангел, солнцем обожженный. Это он мне так сказал. Выстрадал ты пустыню своим полетом. Высидел ты ее, как яйцо из сокровенного мига смерти. А мы к ней шли чередой будней. Шли мы к ней по дороге будней, мощенной булыжником. Гляди — ноги в кровь разбиты. Взглянул я на его ноги, а те были кровавы.

Он сказал мне: пережгли вы в себе сладость и небес, и смерти. И вот осталась одна пустыня, ровное место, где пылает Божий гнев. Приготовили вы нам питье рождения и смерти. Вспахтали свет дневной и темень ночную своими крыльями. И теперь сочится туман из чаши, напиток которой горек. И хлебать из нее детям века сего.

Дурень ты, дурень. Опять меня дурнем зовут. А он сказал: дурень ты, не разглядевший в небесной выси, за глубокой той синевою, великого виночерпия. Из его чаши испить бы нам вина. Нам с тобой вместе — мне, сыну века сего, и тебе — глупому ангелу.

И было слово того путника верно. Так было ясно мое небо, что до темени. И не видел я в той прозрачности, в той мгле непроглядной, великого виночерпия, хоть и взлетел я до самого поднебесья. А в смерти своей столько думал обо всем, что успел измыслить тысячу тысяч миров. А о Том не знал и о Нем не думал. Странник же учуял Его, к земле припав. В каждой былинке чуял благость и грозную силу. Туда он пришел, шагая по камешкам будней, куда не заводила меня моя праздничная жизнь в воздухе.

И он сказал: в смерти вы смерти не знали. А в жизни не знали вы жизни. Вольная ваша мысль и безмянное чувство ни того, ни того не ведают. Вот вам и пустыня — юдоль гибели. Что еще могли вы придумать, летучие мудрецы. Мне ж в пустыне нужен не песок, а небо, что над ним. Останется тебе твоя пустыня. Позволь же забрать мне мою.

Вверх завернет горизонт, и туда я войду с чадами своими и домоладцами. И волю мои взойдут ввысь, шагая медленно, вытягивая за собой повозки со скарбом. И взойдут туда с бляньем мои барашки. И тогда обживем мы небеса. Придешь ты к нам, черный ангел, туда придешь, в небо. И обмоют мои служанки ноги твои, смахнут пыль с твоих перышек. Отдохнешь ты от двух сошедшихся на горизонте вечностей. Обретешь будни вместо вечных твоих праздников, все равно — жизни или смерти.

Так говорил путник, и слово его было мне непонятно. Хихикали тоненько, попискивали усевшиеся на бархан мои чернокрылые братцы. Не чаяли они себе будней. Смеялись над путником. А сфинкс молча лежал. Олицетворял он загадку. Потому был лицом суров. Непроницаем был его женский лик, и лапы недвижимы — в песок вросли.

А путник тот руками взмахивал. И снова он говорил: не дрогнет наше сердце, людей века сего, когда ступим мы в пустыне твои пространства. Не вскрикнет в тоске ребенок, не испугается женщина. Ни единый барашек жалобно не заблеет.

Не вам одним, но и нам — путь к смерти. И ступим мы в вами выстрадавшую пустыню, где до неба рукой подать. И будет царить в той пустыне, вымечтанной неукротимым вашим духом, век сей.

Дерзок был путник. Не воцарится в пустыне век сей. В веке этом воцарится пустыня. Так я думал, но не сказал ничего путнику.

Закончилась уже тридцать шестая глава. Началась тридцать седьмая.

## Глава 37

И сказал он мне: ищешь ты всегда праздники. Вместо праздника смерти получил ты полет и его бездумную легкость. Вышел ли ты тем встречь жизни? В самом ли деле поднялся выше, когда взлетел? Выйдешь ты навстречу жизни, когда плюхнешься в будни. То и будет восхождением вверх.

Пространства твои, все равно жизни твоей или смерти, и не пространства вовсе. Не простор, а твоя иссушенная мысль, небогатая твоя душа, не ведающая о великом виночерпии. Жил ты не в жизни, а в одних символах. Настоящее твое — лишь символ того, что было, того, что будет. И та вечная твоя смерть — не более твоей окаменевшей мысли. И небеса твои не для взлета, а для порханья.

И подумал я: и вот расточил я свою мысль, и стала пустыня. И оглядел я пески. Не устремлялась пустыня никуда. Не рекой была, а раскачивалась, как море. Поскрипывала моя люлька, подвешенная в пространствах. То была не тайна цели, а тайна покоя и затишья.

И тут вырос путник. Головой небо достал, а ноги его ушли в песок от его тяжести. И корчился он, как если бы поджаривали его пятки на подземном огне.

И кричал он такие слова. Говорил: сгорим мы, да, в печи огненной. К небесам возгорим. И чада мои, и домочадцы. По свету я плутал, и вот пришел я в просторы твоей мысли. Костер разложили вы, черные ангелы. А жертва, где она? Не тела же ваши, без плоти. А сухая ваша мысль — словно сухие полешки. Подбросишь их в огонь — весело они полыхнут. Но пламя будет сухим, без живой вони и смрада.

Так говорил путник. И еще он сказал: по чередке будней пришли мы в твою пустыню. Пришли во плоти, а не одной мыслью. Вот пришли мы и плоть свою принесли. На костер мы возляжем.

Так говорил он, и бурчало его могучее чрево. А потом он снова сделался мал.

И он сказал: что грозишь ты мне своей пустыней, черный ангел? Знаю ведь, что пески настойчивы и дух ваш неукротим. Неумолимо протянется та пустыня на восток и на запад. Заберут медленные пески у детей века сего их города и веси. Пустыня будет царить в мире. И витать над ней Божий гнев.

А что мне земля, он сказал. Нет у меня земли. Вон, гляди, — горсть одна. Раскрыл он руку и показал горстку праха.

Тут закончилась глава тридцать седьмая. Началась тридцать восьмая глава.

## Глава 38

Хотел я ответить ему, но застряло слово в гортани, как вишневая косточка, и я молчал. А он был в суете, в каком-то раже свою кудрявую голову вскидывал, руки тянул к небесам. И он говорил: знай, черный ангел, что раскинем мы пестрые шатры средь наших скучных песков. И мы своей смертностью обременим ваши души. Не крылья ва-

ши, не ваша мысль, а жалость к нам вознесет вас превыше ваших прежних высот. Вместе войдем мы в мир слаще пустыни, слаще каменной вашей смерти и легких высот. Не выстрадали мы — то все выстрадаано за нас.

Подумал я, стоя перед тем путником, что нет у меня сил идти встречь жизни. Что, может, это она сама вышла мне навстречу. И я ей протяну свою тоску, как засохший цветок, что завял между страниц непрочитанной книги. И будем мы с жизнью повенчаны.

Уже криком кричал безумный странник. Пальцем он махал перед моим носом. Нежно бляели его барашки. Женщины его рода колыхались среди желтых барханов, как присевшая на пески стая птиц. И тут взлетели ввысь почерневшие сыны воздуха. Они сны навевали своими темными крыльями на беззащитных детей века сего. Махали они крыльями, как птицы. Взвихрили и подняли они пустынные пески. Припорошил песок глаза тем людям. Разбрелись по шатрам смуглые женщины, звякая в сумерках звонкими браслетами. Детский гомон умолк.

Лишь смахнул песок с ресниц вечный путник. И стали его глаза, как родник, чисты. И в его глазах я увидел себя впервые. Наши небесные выси не отвергали ничего, все принимали благодарно. А в долине нашей так были беспечны воды, что ничего не хранили, как детская память. Тоже и озерцо слез небесных, которые и есть детские слезинки.

В глазах того увидел я себя, грозного ангела, крылья раскинувшего крестом. Подивился я отваге того путника, отчаянной его тяге к моей пустыне. Смирненно опустил я крылья, всю пустыню ими укрыл. И закопошились в моем подшерстке миги истинного времени, как блохи. И я подумал, что я — хранитель времени, пустынный дух. Позабывший дух, до которого нет никому дела. И мне нет дела ни до кого.

И я подумал: был я камнем, умел покрывать твердой оболочкой любой миг. Делать его единственным и драгоценным. Каждый миг для меня, драгоценный, замкнутый и округлый, и есть мой Лимб, мои выси и моя пустыня. Равен каждый вселенной. Не выбраться ни из единого, как нет выхода из округлого пространства, где конец неотличим от начала. Нет там верха и низа. Не прям ни один путь.

А тот сказал: гляди мне в глаза, черный ангел. И черный ангел явился в моих глазах — тот, кто поселился издавна в ночных глубинах моей души. Впервые ты с собой встретился на блестящей радужке моих глаз, как мы с тобой встретились на краю пустыни. В поколеньях наших скопилась земная горечь, слезы небес прожгли насквозь наши души.

И я сказал вслух: неужель и в земных путях столько ж горечи, как в надземных высях?

А он сказал: ты говоришь мне, чтобы поворотил я назад, но что за спиной? Ровные ряды могильных холмов, череда погребальных курганов. Толкает меня в спину все отчаянье моих предков, тоска визгливых погребальных плачей. Вижу я только землю, вспученную мрачными курганами. Ведь поселился в моих глазах черный ангел.

Так он сказал. А был он вонючий пастух, почти нагой. Опирался он на крючковатый посох.

Так закончилась глава тридцать восьмая. Началась тридцать девятая глава.

## Глава 39

Оставь себе, он сказал, свой невысокий полет. Он, как легкий, таинственный отпечаток на тяжелых скрижалях, след от ангельского крыла на земном камне. Влечь мне и роду моему каменные глыбы по пустыне времени, к уходящему горизонту. Дай мне войти в твою пустыню,



черный ангел. Меня жаждет выстрадавшая тобой пустыня. Меня, от века устремленного к смерти. Погляди-ка вокруг — пылают кусты Божьим гневом и Милосердием Божьим.

Взглянул я на пустыню. Ни единый куст не пылал. И вовсе там не росли кусты. Песок один без конца и края. И черные мои братцы летают, как мошки.

И он сказал: взгляни в небеса, ангел. Сплетаются образы небесные в единый лик, благой и грозный.

Взглянул я в небо и лика там не увидел, ни тучки ни единой, ни облака. Синь-синева одна, пространство отвергнутого мной полета.

На колени пал смуглый путник. Тот, кто нарушил мир моей пустыни верещаньем своих несмазанных кибиток. Руки он тянул к пустому небу, измеренному взмахами моих крыльев. И на зов его, как пот, проступила на моей коже моя темная, сокровенная жизнь. Излился мой сон в запустенье его сна.

Взял я тогда горсть песка, в его глаза бросил. И его сверкающие глаза замутились. Стал там мой образ маленькой точкой, а потом он совсем пропал, спрятался в сумерках его души. Прилег на песок вечный странник и заснул наконец.

И тут ожила пустыня без людского глаза. Только сынам света, застенчивая, она дарила свою красоту. Пески играли, как морская рябь, малые смерчки вились по песку желтыми змейками. Ею очарованные, глядели на нее сыны воздуха. Лица их и одежда становились белы.

Тут конец главе тридцать девятой. Началась сороковая глава.

## Глава 40

Спал на песке курчавый пастух. Откликнулась моя душа на зов пустых пространств его ночи. И теперь уж я вошел в его сон. Лежал он на песке, и шел от него пар. Это его сновиденья вокруг него витали.

И вот что снилось страннику. Что сдавил он черного ангела своими руками. У того-то руки были слабы, но сильны крылья. До рассвета они бились, и так ночь за ночью. Потом, пришла ночь, сломал он ангелу бедро. И тот убрел в пески, припадая на ногу, ни единого следа он не оставил.

Теперь раскинулась перед пастухом пустыня — вольна и таинственна. Ни единого следа, все песок затянул. Только прозрачные сыны неба перелетают с куста на куст, как эльфы. Там и сям в пустыне озера небесных слез. Горьки они, солонь, не один город в них канул. Спину его ломило от нежных объятий ангела, будто они и сейчас нерасторжимы. Словно сплелась тоска небесная с земной тоской.

И, проснувшись утром, увидел странник, что стоит перед ним каменный ангел. Полет его замер. Сокровенная жизнь сквозь поры не сочится. Говорил мне путник, руки ко мне простирал, но был я словно мертв. Только в сумерки его души проникло мое слово.

Тогда пошел странник в глубь пустыни. И за ним — его пестрые шатры. Верещали несмазанные оси, женщины позвякивали браслетами на запястьях. Дети гомонили, блеяли бараны. И ветер летел за ним, заметал следы. Ушел странник в пустыню и там пропал. А я стоял каменный, как сам себе памятник. Запечатлен был я навек. А тот был только быстрый промельк жизни. Ушел он в пески и навсегда пропал.

Тут закончилась сороковая глава. Началась сорок первая.

## Глава 41

И вот, когда ушел курчавый странник и канул он в пески, стала подлинно пуста пустыня. В пустоте своей была она совершенна. Совершенна в своем затишьи. А я диким стал и почернел, как негр. Как

некая птица, летал я от бархана к бархану. А за мной — мои братцы стаей. Они стали мелкими, как мошки.

Никто не тревожил наш покой из непустьного мира. Обходил пустыню всякий. Одни вонючие козлы забредали, звеня бубенчиками. То была жертва мира пустынным духам, моим черным братцам. Копила моя пустыня свой жгучий яд, вселенскую отраву. Бурлил поверху Божий гнев, милосердье укрыв в сердцевине. В небо я смотрел по вечерам и утрам. Не было там лика, который угадал курчавый странник. И не к кому было мне воззвать из бездны. И кусты в моей пустыне не пылали.

Суровая была жизнь, угрюмая, как выглядывающие из песков кончики скал. Такая же жесткая и колкая. Жаркая, как пустынный ветер. Медленная, как неторопливые барханы.

Медленно иссякала пустыня, по песчинке роняя в стеклянную горловину. Сделалась наша страсть, легкость наша и сокровенность полудремотой. Устали мы песок сгребать в песчаную кучку, чтоб пустыня была пустыней и цвел вне ее непустьный мир.

И сколь ни был я терпелив, я устал от пустыни. Но о том в сорок второй главе. Ибо иссякла глава сорок первая.

## Глава 42

И вот то бывало, когда я уставал от пустыни. Взлетал я на своих крыльях, перепончатых, как у летучей мыши. Взмывал я вверх. То бывало ночью, и были спящими пески. И тогда я улетаю в непустьный мир. Все там было мелко. Жизнь и вовсе какая-то муравьиная, припавшая к земле.

Городки были маленькими. Крошечными там, внизу, были домики, церковки, башенки. Люди и вовсе почти невидимые, копошились, как вошки. Но все я различал с высот, ночью мое зрение становилось острее. Ведь не слепило меня уже пустынное солнце, смирялся Божий гнев. С луны стекал свет медвяный. И я становился бел, как призрак.

И вот так взлетал я и летел к непустьной жизни. Летел я, крыльями не шурша, парил без шороха над тихими городами. Заглядывал я в окна домов, прилепившись к карнизу клейкими лапками. Заглядывал я в земной уют. А потом я падал камнем в веселье города. Щедр был я, темный ангел, дух пустыни. Я дарил подарки, ненужный хлам моего устремленного к смерти бытия. Я обучил людей картам, хиромантии и блуду. Прихрамывал я на ногу, покалеченную курчавым странником. И вместе с ватагой студентов срывали мы плащи с ночных прохожих. Ах, ты, моя милая ночь земная, пространство проказ, а не муки!

Но моя темная душа оставалась пустынна. Пузырилась земная радость, пузырилась, в воздух взлетали пузырьки. И там они лопаются, как шутихи. Сердцевина души моей оставалась темна. Там была смерть, там была жизнь, и там была пустыня.

И вот я сам взмывал, облепленный пузырьками радости. Как черный голубь, я, который в ночи не виден, садился на острые шпильки церковей. Приклеивался я липкими лапками и так долго сидел.

И сны вытекали из каждого городского оконца. Полупрозрачные лунного цвета призраки парили над крышами. И я подумал, что вновь я там, куда истекают сны мира. Что вновь я среди видений, а не внутри жизни. И подумал я: что ж, я виноват, что пришел я тогда, когда жизнь мелка, в то невыносимо дрящееся и цельное, как камень, время — время вызревания колоса?

Задремали творцы, и они безвольны. Виденья их творят новую жизнь. Виденья их созидают и рушат. Сами же они во сне. Сражается.

мир мечты с твердым камнем. Одолеет мечта твердый камень, раздробит его в песок — и станет пустыня.

И звезды небесные перед моими глазами витали, как песчинки. Бледные девы ходили среди созвездий, собирали звезды себе на венок. Призрачный музыкант спрятался в ветках дерева. Он пикировал на скрипке, и была звуками полна ночь. Разыгрывала она великую симфонию ошибок и совпадений.

Тут конец главе сорок второй. Началась сорок третья глава.

## Глава 43

И я сказал: неприкаянный дух, не ведал я мудрости века сего. Тут подул ветер, раздул мой плащ и прикрыл им небесные звезды. Плутали в ночи сны века сего. Друг сквозь друга пролетали, менялись именами. Заблудились они в ночи. Приклеивались они к моим цепким лапкам.

Сидел я на колком шпиле, где поместятся еще мириады ангелов. А я был один. Только гипсовые фигурки святых, одна за другой, всходили ввысь — поднимались они на купол — небесную чашу.

И я сказал: слышу я в ночи, как зовет меня пустыня. Как стонет она, как она мается. Зов ее услышишь на самом дне и глубочайшего сна. Оттого стонут и мечутся дети века сего, заброшенные в свой уют, как я в звездное небо. Вся ночь та полна зовом пустыни. Только она, безводная, утолит жажду моего духа.

Так я это сказал высокопарным слогом и улетел в пустыню.

Тут закончилась сорок третья глава. Началась глава сорок четвертая.

## Глава 44

И я летел через ночь. Городки подо мной мелькали, как кичливо распустившие хвост павлины. Впивались храмы в небо шипами. И сны в вышине парили. И шепот молитвы истекал из каждого оконца, сокровенной ночной молитвы, когда отмаливаем мы грехи дня. Отмаливаем мы грехи дня самой светлой и легкокрылой из всех молитв.

И взлетают те под купол единственного храма. Перешептываются там, как стайка ангелов. Шушукуются ночные молитвы, меняются чистыми словами, обнимаются они, вторят друг другу. Шепотом полна ночь. Таинственна она, и она — мать мира.

Но меня-то манит пустыня, где солнце навсегда приклеено к зениту. И оно — Божий гнев. Только в той пустоши бурлить моей гордыне, только там рождаться моему смирению. Там, где смрадные козлы позвякивают своими бубенчиками. Где песок зыбучий. Ступишь на зыбучий песок — и пикнуть не успеешь, не скажешь молитву, как пропал и нет тебя.

И вернулся я в пустыню и увидел, что так же замерло над ней зыбучее время. Оно так же пространственно и так же мертво, ни вперед, ни вспять оно не течет. А оно раскачивается, как барханы. И все пути там возвратны.

И я сказал: вот он, образ вечности, вечности моей, избранной мной и возлюбленной. Не колкий она шпиль, не запечатленный миг. А обжигаемое, но все не обжитое пространство. Не пирамида оно, а сфинкс. Такова она, моя вечность.

И я еще сказал: пустыня, она — ловушка для обуйных гордыней ангелов. Прямо был путь курчавого путника, того, что зачал историю в схватке с ангелом. Отчаянной была его жизнь, устремленная к смерти.

Моя же не стремилась никуда, и в смерти, и в жизни пребывающая. Какая смерть во времени, ставшем пространством, какая там жизнь?..

Так я сказал. Потом подождал, пока стихнет эхо, и сказал еще: лечу я на крыльях, и тянет меня к земле тяжесть моего бессмертия. Тяжелей она каменных скрижалей. Я так сказал и в который раз уж подвинулся странности моих речей.

И тут проплыло надо мной облако. И оно сделалось драконом. Опустился дракон на пески. Одну песчинку он ухватил и потом опять улетел в небо.

Тогда я подумал: будет прилетать ко мне дракон и одну песчинку всякий раз с собой уносить. И вот как бы то ни было долго, но ведь закончится в пустыне песок. Не станет в ней песка, тогда обнажится вечная земная порода. Та, которой ангел и человек равно причастны.

И я подумал: замрет тогда время, но уже не песками, а скрижалями без единого знака. Только с легким отгиском ангелова крыла. Окаменеет мой полет, тоска станет вещью, твердой станет, как скала, и неподвижной немучительно.

И только я так подумал, вновь спустился с неба дракон. Лапами по песку заскреб. Когтями на нем сделал глубокие борозды. А потом стал лик его, да не лик, а мерзкая его харя, стал лик его изменяться. Стал он на моих глазах делаться девой, красоты невиданной. Кости драконовы трещали, жилы его рвались. Тщился он стать красотой.

И вот уж я к нему простирал руки. Коснуться его хотел. Но порвалась его кожа, слизью и сукровицей запузырилась. Завонял он, стал смраден. А потом кожа с него сползла, мясо расклевали птицы. Осталась одна голая кость.

И я подумал: примерещится же такая дрянь. Но не для одной красоты нет у нас слов, то же и для ужаса. Только сказки мы можем рассказывать нашим невыросшим душам.

Глядел я на обглоданный драконий костяк и думал: вот так и слезут с земли почвы. Будет один голый камень. И покатится он по вселенной, как тщета трудов.

И тут иссякла глава сорок четвертая. Началась сорок пятая глава.

## Глава 45

И я подумал: прежде музыка не тянулась ввысь, ибо небеса были ниже. Нет, тянулась она ввысь — как мы протягиваем руку, чтоб достать низкий потолок. Теперь же, извиваясь, она рвется ввысь и еще подпрыгивает. А то и просто по земле стелется.

И подумав так, я забыл о музыке, ведь пустыня была тиха. И еще я подумал: нет величья в непустынном мире, где жизнь мелка. Прежде-то была она так сильна, что вступала в схватку с ангелами. И жили та и эта нераздельно, в схватке своей и в любви стиснув друг друга. Теперь меж ними граница, что не переступишь.

И все ж, я подумал, прорастет пустыня в веке этом. Прислушайся — и услышишь ее медленное вызревание. Взмахнем мы с братцами все разом крылами. Начнется тогда наступленье песков. Перейдут пески ту границу, где повздорили мы с кучерявым путником. То мы выйдем встречу жизни. И пустыню принесем на своих крыльях.

Придет в мир тяжелое усилие нашей свободы. Падут империи, похоронив под собой мечты поколений. Детские наши мечты тех времен, когда каждый из нас — ангел и каждый — своеволен, они воцарятся в мире. И обретет он, хоть на миг единый, кровавую свободу.

Ужасной будет та мечта, что мы вымечтали, когда любой был вольный ангел, столь беззаботный, что забывал он воззвать к небесам.

К кому же и воззвать из бездны ранних лет? Голос, чистый, будто колокольчик, облетит хрустальный купол и пустую еще землю и сам же себе отзовется. Не справиться миру с детской мечтой. Как, если она до слова? Вот тогда и погибать царствам, раскинуться пустыне из конца в конец. Там другая жизнь и родится.

Я сказал: вышел я встречу жизни и уперся я в самое ее начало. Нет пути дальше. Прислушайтесь к темному ангелу.

Тут конец сорок пятой главе. Началась сорок шестая.

## Глава 46

И вот непустынная жизнь сделалась плоха. И я ждал уже, что в пустыню мою станут приходить люди. Хоть она и пуста, но все ж проще и внятней мира.

И тогда, думал я, отброшу я огненный меч, дам им войти в мои ранки. Не стисну их в объятьях, а просто пушу в пустыню. Открытой она для всех стала, распахнутой на одной из страниц, как ненаписанная книга. Только ветер ее чистые листья перелистывает. Чего туда не впиши, как ветер подует — сразу опять чистый лист. Ни страсть, ни мысль свою там не оттиснешь. Будет лист всегда бел.

И вот гляжу я с верхушки бархана: три старца по моему белому листу идут. Идут друг за другом вслед, а не рядом. Выбирают путь, словно идут по тропинке. А тропинок ведь нет в пустыне. И словно белое облако над их головами вьется — то их седые волосы. Будто дым костра курится.

Идут они легко, почти и не касаясь песка ступнями, но все ж касаясь слегка. А взор их, мне показалось, словно клок грозовой тучи, там отразился и потом застыл. И я слетел со своего бархана, им в глаза заглянул. Только тогда и понял, что их взор не суров, а весь вперен в небо — глаза под веки зашли, и сияют вперед одни бельма. Таковы были старцы.

Встал я перед ними — встрепанный ангел, с глазами, обведенными бессонницей. Но старцы, бормоча нечто, беззвучно бурча себе под нос, сквозь ангела прошли и дальше идут. Тогда я вновь перед ними встал. Руки свои выставил вперед. Прошли они сквозь воротца на ладонях ангела и дальше идут. Так же и третий раз становлюсь на их пути. Прошли они сквозь меня, не заметили. А руки их были и ступни в мозолях. И морщинисты были их лица. В морщинке каждой — беда мира. И много тех морщин.

Взлетел я вверх, обиженный ангел, как курица, по пескам попрыгав. А когда вверх взлетел, рассыпал я по земле то ли смех свой, то ли свой плач. И тогда пустыня содрогнулась от того шума. Вздрыгнули барханы и осели, заструились мелкими струйками.

А братцы мои подумали, что я зову их. Сразу они налетели тучей, махонькие, как мошки. Не вьются они, а уж мечутся — так полет их стал тревожен. И налетели они на старцев. Налетела та мошкара на старцев тучей. Стали разгонять их старцы, руками лица прикрывают. Но все ж не отводят глаз от неба. В небо глядят. А во взгляде их — тайна. Поглубже еще, чем тайна пустынная. Невыносимы были глаза их. Так что мошки опять по пустыне рассеялись. Стало страшно сынам воздуха, ибо не мудрей они, чем дети века сего.

Тут и конец главе сорок шестой. Началась сорок седьмая глава.

## Глава 47

А я стоял дурак дураком посреди пустыни. Старцы прошли сквозь меня три раза и вдаль уходили. Я подумал: что взгляд их ищет так упорно в небе, отчего отводят они его от зыбучих песков, отчего не

скользит он по бархатистым барханам? Что в небе ищет, которое еще пустыней, и оно молчит?

Отмахнулись старцы, как от надоедливых мошек, от легкокрылых детей воздуха и дальше идут. И я подумал: вот взглянули бы они с такой же упорной силой в мои глаза. Может, тогда б развеялась моя пустыня. Может, сад расцвел бы там, где она была. Вдруг поднялась бы она в небо, как воздушный корабль. Всплыла бы тихо и медленно. Поддул бы ветер в ее днище. И уплыла бы она в небо, ни единой песчинки не просыпав.

И тогда б навеки канула моя беспредметная свобода, а моя своеправная, ни к чему не привязанная любовь обрела свою благоуханную розу. Поглядел я вслед старцам, а потом вновь взлетел и сел на спину сфинкса.

Я подумал: из каких миров приполз ты в мою пустыню? Вынырнул ты из чьего ночного ужаса? На что ты намек? Кому ты загадка? Тоже ведь ты летун. Вижу я за спиной твоей малые крылышки. Махонькие такие — поднять ли им эту каменную глыбу? Лежишь тут, как тайна пустыни и пустынная тайна. Врос по брюхо в пески. А я на твою спину присел. А в ответ сфинкс ничего не сказал — лежит, молчит, не задает загадок.

Тут закончилась глава сорок седьмая. Началась сорок восьмая глава.

## Глава 48

Тут опять налетели на старцев сыны воздуха, как предзакатная мошкара. Бросил один старец с досады наземь свой посох. Тот стал змеей и уполз в пески. Ударил другой старец своим посохом в землю, и оттуда потекла вода. Ручей по пустыне потек, тоже змеей извиваясь, и в песках вдали замер, ушел в пески.

А третий старец свой посох бросил в летучих детей воздуха. Те — кто куда разлетелись. А посох тот взлетел высоко и обернулся птицей. Не скачущей какой-то по пескам куропаткой, а малой певуньей, словно прилетевшей из леса. Запела она, как не поют в пустынном мире. Беззатобно она запела. Спев песню, улетела в небо.

Тут взъерился каменный сфинкс, загреб лапами. Так своими когтями песок загреб, что застонала пустыня, мучаясь. А потом и вовсе уполз прочь из пустыни. Невесть куда, в глушь чьих-то снов. Куда-то и старцы ушли, в песке затерялись.

Тут конец главе сорок восьмой. Началась глава сорок девятая.

## Глава 49

С тех пор заболела моя пустыня. Стала хиреть и чахнуть. Сгинул сфинкс. И перестала пустыня быть тайной. Стала она невнятным хаосом без разгадки.

Пески были прежде спокойны — зыбились они теперь, пучились. То тревожила их змея, в них живущая, — оживший посох старца.

И точила пустыню снизу вода. Прежде сух был песок, облачками взметался. Теперь стал он тяжел. Сражался песок с водой, с родником, что забил из следа старцева посоха. Пили воду пески, ее в себя сосали, но песок делался мокрым, и вот уж ветер не мог пошевелить ни песчинки.

А птица та пела по утрам, и в ночи она пела сладко. И я сказал: все иссякает. И величайшая пустыня, придет миг, ссыпется последними песчинками в горловину часов. И тогда ей придет срок затаиться под

цветущими почвами. И там ей жить, как сокровенному величию жизни.

Уйдет она в ночь и там затаится, как хищник. Спрячется она в темной чаше. А ночью, когда все люди заснут и будут призраки летать по воздуху, белы, как луна, вот тогда проснется пустыня. В ночи она будет бдить.

Вон, погляди, скажет проснувшийся в ночи витающему в воздухе голубому призраку, — выгибается городская брусчатка. Ибо почва под ней некрепка, она зыбится тайно. То проснулась пустыня.

Выгнутся тогда мостовые, закачаются колоколенки, тренькая колоколами, как бубенчиками. То проснулась мать наша — вечная пустыня, вымечтанная сынами воздуха.

И вот раскачиваться начнет мир туда-сюда. Поскрипывать будет люлька, подвешенная к звезде. Припорошит пустыня глаза людей своим песком, и они уснут.

И я подумал: окажутся люди в пустыне. Обретут они легкокрылую судьбу детей воздуха. Станет каждый творцом и каждый гением. И разомкнутся угрюмые будни, до всего будет рукой подать.

Сидел я на верхушке бархана и так думал. И я подумал еще. Подумал, что будет их сон глубок. И пуст он будет, и высок, и бездонен. И придет в тот сон легкими шагами и что было, и что будет, и то, чего нет в этом мире, не будет и не было. Но только все преображено будет в волшебной ночи. Все неузнаваемо и странно. И будет не к кому воззвать из глубины своего сна, когда предан ты темным страстям и порывам к свету.

И вот тогда придут к тебе в сон, в истинное пространство бытия, родные тебе души, что навечно канули в небо. И ты будешь разговаривать с ними. Они тебе расскажут, что могут, но будут утоплены в ночи концы их слов. И ты выырнешь в день, ничего не поняв. Но вся твоя жизнь будет тому разгадкой.

Я подумал: некому помолиться в глубинах ночи, черны там небеса. Там непобедимы твои страсти. Только днем ты все отмолишь. Шарахнутся тени от утреннего луча, и день тебя всего выбелит. Останется лишь дымка сна на твоих глазах. И оттого таинственными будут дали.

Так я думал, глядя, как хиреет пустыня. Как смеркается мой сон, сон мой про ангела, который был мной. И сон был, как все сны, нелеп, и был он странен. И вещим он был, как все сны.

Здесь конец главы сорок девятой. Началась пятидесятая глава.

## Глава 50

Я подумал, что узка ночь — черная жемчужина. И подумал я, что тесно в ночи своевольным снам. Вот они на цыпочках уходят в мир, и там они прячутся в каждом темном закоулке. Узок сон, а сновидения просторны. Переполнена чаша сна, и сновиденья плещут через край. В жизнь они текут, воды те точат явь. Как притаившаяся змея, тревожат будни.

И взлетел я над пустыней. Сел на высокую горку, каменный пик, земной зуб, зуб ее мудрости. И я глядел оттуда на пустыню и непустынный мир. Увидел я, что то и это стало одним, уже нет проведенной моим мечом границы. И нет уж границы между жизнью и смертью, между жизнью и мыслью. Нет различья между землей и небесами. Пришли на землю небеса, и земля ушла в небо.

И сказал я: мир полон снами, правда сна царит в мире — воля наших свободных страстей. А затем нашим снам мир станет не в пору, тогда раскатятся царства детскими кубиками. И воплотится в нем невоплотившееся, в этом чужом нам мире. Зато он родной нашим снам. Время копить сны, время снам сбываться.

И ночь тогда пришла в пустыню, что до того не бывало. Пришла она из непустынного мира, крылья свои вверху распростерла. Ведь нет уж мира иного, чем пустыня. Ведь стал тот мир еще загадочней пустыни, еще напряженней и глубже. Смотрел я внутри новорожденной ночи — обнявшись, как влюбленные, парят среди звезд легкие виденья детей воздуха и страстные демоны будней.

И полна была ночь детского плача, ибо стала жизнь невиданно огромна. Сияло внизу озеро слез небесных. Капали в него капли редким дождиком.

Некому молиться в глухой ночи, из самой бездны сна. Но вся она, эта бездна, — молитва.

А потом ночь прошла, пришло снова утро. Тогда и закончилась глава пятидесятая. Настала пятьдесят первая.

## Глава 51

Крылья мои окрепли, и я поднялся выше туч. Ох, и хилой же стала моя пустыня, просто кусок дерьма. Там и сям — проплешины. Ушел из нее тревожный покой, а вместе с ним все величие пустыни. Я, тучи пронзив крылом, выше туч поднялся, и увидел я, что стал невеличав пустынный мир. Зато величье пустыни утекло все в непустынный мир, и стал тот велик. Серьезными стали его страсти, и подлинными — добро. Страшны стали его угрозы, и бесконечна — милость. Бушевали страсти в непустынном мире, ставшем пустыней.

Спустился я тогда с неба на горный пик. И налетели отовсюду дети воздуха. Уж иными они стали — не мошкара, а опять белы ликом. Одеты все в атлас и шелк — полыхают синим, зеленым и красным. Они тоже на мир посмотрели — испугались они земных безумств, но и тянуло их к ним неистово.

Отвели они тогда взгляд от мира, вознесли его в небеса. А в небе тогда собиралась гроза, ведь, как не стало пустыни, не стало над ней и синего неба. Обступили горку нашу тучи. Их шелковые наряды, как драгоценности, на сером переливались. Они вышли, как на праздник, а небеса грозны, и грозны земные страсти. Те внизу — бурлят и клочут.

И среди багровых страстей только одно внизу голое место, махонькое, как младенческая ладошка. На том месте три пустынных старца присели. Рушник они положили на землю. Там положили хлеба по ломтю, а воду они в горсти держали.

А рядом рос куст. И пылал тот куст легким пламенем, все не сгорая. Язычок огня к небу тянулся. Вот он и весь жар пустыни. Остальное же холодным стало, как заледенело.

Ели старцы хлеб, водой его запивали. Сами-то сыны воздуха питались одной манной небесной. Подсыхали облака от солнца, становились они хрупкими и ломкими. А затем, сталкиваясь, крошились крошками и осыпали пустыню, как снег, безвкусные, едва медвяные.

И я сказал сынам воздуха. Но то в главе пятьдесят второй, ибо нет уже главы пятьдесят первой.

## Глава 52

Я сказал сынам воздуха: пустой и величавой стала жизнь, которая внизу. И теперь уже нет нужды в вымечтанной нами пустыне. Нет нужды и нам хранить пустыню. Там, внизу, поглядите — все стали крылаты. Вон там, глядите, внизу порхают дети века сего, как эльфы, перелетают они с цветка на цветок. Порхают они среди страстей зем-



ных, летят они от одной к другой страсти, как бабочки летят на огонь. Неведомые им чувства им в крылья поддувают, и так они летят. Все они стали младенцы и преданы дословесным страстям. Нет у них слов молитвы, но сами они — молитва.

И я сказал: а мы же выросли, братья мои, сыны воздуха, вызрели мы в своей смерти, в небесах и в пустыне. Истекла пустыня по песчинке, и нет уже песка. Обжили мы время, как пространство. Прожили мы миг за мигом всю пустыню, как пятерней ее обмеряли. Уж не дети мы, сыны воздуха. Оставим нижнее поднебесье, ведь сыны века сего станут новыми ангелами.

И я сказал: вышли мы встречу жизни, но ее не повстречали. Потому нечего нам оставить детям века сего. Разве что след ангельского крыла, оттиснутый в небе. След — тот же самый, впечатанный в тяжкие скрижали, — сны, которые мы навевали детям века сего своими крыльями.

А меня спросил сын воздуха. Стоял он, одетый в багрянец, и словно ветер его одежду развевал, но — каменный ветер, который ничего шелохнуть не в силах. Куда идти нам сейчас, куда нам теперь лететь? Так он меня спросил.

И тогда закончилась глава пятьдесят вторая. Началась пятьдесят третья глава.

## Глава 53

И вот спросил меня летучий братец, куда идти нам от бурлящей сном земли.

И я сказал: не к детям нам идти и не за детьми. Тихим шагом уйдем мы от чужих снов. Мы уйдем в сон неведомый, не рассказанный еще. В тот, который ничего не символ, ничего не знак. Который только он сам и вовеки веков.

Стояли передо мной летучие братцы. Они меня слушали. А я им еще сказал: пойдем мы не за детьми, а за старцами. Смотрите вон: там, внизу, на земной проплетине, они уж трапезу закончили, смахнув хлебные крошки с подолов. Из горстей они попили, маленькую одну капельку отдав песку, которого уж и нет почти на земле. Ветер последние горстки повсюду разносит.

Стояли передо мной братцы и слушали. Крыльями не взмахнув, не шелохнувшись, стояли. Одежды их были раздуты каменным ветром. А потом встали старцы с земли, раскидали последние крошки птицам. И стали они потом подниматься в небо.

Не крыльями возноситься, а подниматься по воздуху, как по лесенке. Так шаг за шагом они шли. Тут небеса раздались, и весь воздух стал светел. И пришли к сынам воздуха слова небесные. Загомонили они, загулькали, стали говорить непонятные им слова. И слова те к небу поднялись, взлетели выше туч.

И тогда вдруг видят сыны воздуха, как спустилась с небес лестничка. Мы на нее ступили и пошли вверх вслед за старцами, тоже мы пошли шаг за шагом в небо. И так все выше и выше уходили. Идем мы все выше и выше. А впереди старцы идут. Пятки у них все в мозолях. А каждая ступенька лестницы, ох, как остра. Идут они — каждая ступенька впечатывает им в ступню кровавый шрам. Вот так они идут. С пяток их кровь капает, нам одежды марают, стекает по крыльям. А потом капает она на землю, и там из крови той вырастают цветы.

А мы за ними легко идем, ведь нет у нас тяжести. И кровь из нас не прольется — одна сукровица. Ведь те старцы живы, а мы собой выдуманы. Они — жизнь сама, а мы тем старцам приснились.

Вот идем мы, вверх идем, шаг за шагом. Один сын воздуха идет —

он светел. За ним — в небе почти не виден, он голубого цвета. Другой, за тем — зеленый, как земная зелень. А за тем идет ангел, который красен. А за ним уж я иду и сам не знаю, каков. Так гуськом мы идем, и шли мы долго. Скорбь была в сердце нашем, а лица — веселы. Ведь идем мы в небо.

И вот уж дошли мы до прежнего поднебесья. Хотел я крыльями махнуть, но не подняли меня крылья. Поскользнулся я на ступеньке и чуть вниз не упал. Те братцы, что за мной шли, меня своими руками поддержали. И тогда дальше мы пошли в пустыню небесную от земных пустынь.

И вот уже в самые небеса вошли, в синее вошли по пояс. Нахлебались мы синевы небесной. И тайна, что все мы внутри себя несли, как черную бусинку, почти уж и не мучила нас. Стала не так она черна, но она вовсе не исчезла. И тогда ущербная наша свобода расправила крылья, но никуда не упорхнула от нас, на ладони осталась.

А старцы наши совсем ушли от нас ввысь и там пропали. Только кровь по капельке капала на наши крылья. И мы все выше шли.

Тут конец главе пятьдесят третьей. Началась пятьдесят четвертая глава.

## Глава 54

Так шли мы молча, и небо молчало. Слово, может, и дрянь, но тяжело без него совсем. И небесная музыка не звучала. Верней, звучала, но так была тиха, что нам не слышна. И вот тогда запел песню ангел, который синего цвета. Запел он песню неба, и ее звук был сладок. Тогда запел песню ангел, который зеленого цвета. То была песня земли, и ее звук был нежен. Потом и красный ангел запел песню. И страстен был ее звук. Тут и мы, другие, подтянули вразнобой, кто как умеет. Поднимались мы вверх ступенька за ступенькой и пели. То громче пели, то вдруг пели тише. И разное наше пенье стало хором. И само оно славилло то, что превыше нас,— тайну небес, в которую мы уходили.

И перед тем, как войти в небо, свесился я с лестнички, наклонился к земле и сказал: каждый, кто творит, жаждет Евангелия, а может создать лишь апокриф. Могут быть его образы могучи, но нет в них простоты и нет несомненности, которая только у одной истины.

И еще я сказал: и все письмо мира, друзья мои, это одни апокрифы. Красиво они переливаются на солнце осколками единой истины, сложенными в красивый узор. Солнце на нем играет, и кажется, будто он живой.

И я сказал еще: а может, и сам мир — всего лишь апокриф. Он красив, могуч и богат. Всего в нем вдоволь, чтоб наслаждаться и мучиться. И в нем простор для всего возможного. Гордецам не под силу Евангелие.

Тут ветер подул, заколыхалась лестничка, я чуть вниз не упал — туда, где шестстели страницами распахнутые апокрифы. Но я за ступеньки руками ухватился и пошел вверх, где сияло Евангелие. И были узеньки его врата.

Тут конец главе пятьдесят четвертой. Началась пятьдесят пятая глава.

## Глава 55

И успел я сказать еще слова прежде, чем совсем ушел в небо: удивительны пространства нашего неуютного мира. Тот мир и есть странность, он и есть чуждость, а небеса просты и всем родные. Жизнь на земле странна. Смерть не глубже жизни. И она всем чужая.

Зажать бы тот мир земли, сказал я, в кулачке, чтоб он стал мал. Слить бы все апокрифы в одно Евангелие. И малый тот мир протиснуть в ранку на ладонях ангела.

Затем я посмотрел наверх. И увидел я, как входит в облака ангел, который зелен. Потом тот, что голубого цвета, сам стал небом и облаком. И красный ангел, полыхнув одеждой, вошел в небо. Я один остался на лестнице. Ветер ее раскачивал. Поскрипывала она, как подвешенная к звезде люлька. И притягивала меня земля, и тянуло меня небо. И я не знал, что делать.

Тогда я сказал: главное в мире земли не разнообразие его и не заманчивость, не крошки маковой дури — а обреченность его, зерно смерти.

И еще я сказал на самый конец. Я сказал: апокриф не веселит душу, а он только тревожит. Предадимся же на волю рождающегося Евангелия. И вот так сказав, я ступил в небо и пошел уже в небе. Был мой путь вечен.

Тут конец главы пятьдесят пятой. Началась пятьдесят шестая глава.

## Глава 56

А что ж, ты спросишь меня, после нас осталось? Небо, вон, осталось, перепаханное нашими крыльями из конца в конец. Оно влажно, там живут дожди. А значит — ожидай урожая. Поднимутся страсти людские к небу, и там они будут посеяны, как семена. Что-нибудь, глядишь, там и вырастет. А нет, так привидится, померещится.

Сами мы ушли, но пространство своей мечты мы не унесли с собой, а там, глядишь, потом что-нибудь и обживется. Все ведь вниз стали ангелы, все творцы и все дети. У всех сон и животворящ, и смертелен. Те, кто родились сейчас, поднимутся еще по лестничке. И там, в небе, мы все обретем друг друга. И родные души, ушедших прежде, спустятся с луны. Мы будем и с ними вместе. И не будет тогда слов, а будет одна музыка.

А что ж, ты меня спросишь, потом было с землей, где каждый стал ангелом, бабочкой, эльфом? То загадка и тайна. Да и молчит о том мой сон. Сон ведь и есть сон, что с него взять. Прозорлив он бывает? Да, бывает. Вот только где и когда... Что в нем прозорливо, а что шелуха? Где в нем смрадно дышат бездны, а где живут небеса?

Много в нем морока и лишнего. Тянется образ сна к своему сокровенному, но, не дотянувшись, виснет в просторе. А то еще подхватит его небесный дракон, унесет в замок на горе и там его укроет. И будет томиться он там век.

И вот последнее, что я увидел, уходя в небо: летит Земля, голубая жемчужина. Объяло ее голубое же небо. И лелеет ее, как дитя. А на ней живут младенцы, эльфы и ангелы. И тут сон оборвался, как кинолента.

Конец главы пятьдесят шестой. И начинается глава пятьдесят седьмая. Она последняя.

## Глава 57

Вот такой мне был сон про ангела. Странен и прихотлив, но не больше, чем другие сны. Он не как река тек, а все раскачивался, самому себе вторя. Он как море и как любой из снов. Напитан он временем, от него промок. Временем, когда гибнуть царствам и возрастать новому.

Пытался я его толковать так и сяк, но никак не получилось. О чем он, собственно? Да ни о чем. Случаются сны поживей, со страстями, с кровью, с чудесно преображенными буднями, со страхом, с похотью. А того нет в моем сне про ангела. Просто что-то примерещилось. Прозрачный образ, взмах крыла. А потом опрокинешься в пустую ночь, и все тут.

И здесь конец.

1990—1993



# Дилан Томас

## ПАНОПТИКУМ

### Новелла

*Дилан Томас (1914—1952), один из лучших английских поэтов XX века, писал также замечательную прозу. Проза его похожа на сны — те, что запоминаются после пробуждения, но оставляют проснувшегося в недоумении. Особенно это относится к циклу новелл, посвященному Долине Джарвиса, откуда и взята новелла «Паноптикум».*

В маленький валлийский городок приехал паноптикум; и случилось так, что в день приезда исчез зритель. Хозяин пришел в бюро по трудоустройству и спросил, нет ли на примете смышленного паренька, который хорошо говорит по-английски? Однако все смышленные ребята знали только валлийский; а у приезжего юноши из Бристоля была заячья губа. Так и отправился хозяин к себе на квартиру ни с чем. А Елеазар в это время сидел на берегу и читал книгу. Хозяин его увидел и спросил:

— Как улов?

— Я не рыбак, — отвечал Елеазар по-английски.

Хозяин тут же принял его на работу.

Был поздний вечер; последний любопытный ушел из шатра... Хозяин сосчитал выручку и удалился, оставив Елеазара одного в темном восковом царстве... Елеазар собрал в ведро окурки; затем вытащил из кармана суконку. С трепетом стер он пыль со стройного тела Гайаваты; с трепетом обмахнул бледные щеки знаменитого убийцы Тихони; с трепетом обтер восковую шею Цирцеи...

— А моя левая нога? — спросил Гайавата.

— А моя верхняя губа? — спросил убийца.

— А мое правое плечо? — спросила Цирцея.

Елеазар в изумлении уставился на восковые фигуры.

— Слышишь, мальчишка! — сказал Гайавата.

— Слышишь, мальчишка! — сказал Тихоня.

— Слышишь, мальчишка! — сказала Цирцея.

Елеазар огляделся кругом. До выхода далеко. Никуда не убежишь.

— Протри ногу! — сказал Гайавата.

— Протри губу! — сказал убийца.

— Протри плечо! — сказала Цирцея.

С трепетом обтер Елеазар мускулистую ногу; с трепетом провел суконкой по губе над оскаленным ртом; с трепетом стер пыль с воскового плеча...

— Теперь совсем другое дело, — сказал Гайавата. — Ты уж извини. Мне много пришлось побегать — вот и требуют ноги заботы...

— А я целый день грозно скалюсь, — сказал убийца. — Шутка ли.

— А я всех обольщаю, — сказала Цирцея. — Правда, чары мои уже ослабли; да и плечо не то, что прежде. Мне прокусили его в Абердере...

— Как же, тот вечер я хорошо помню, — сказал Гайавата. — Мне тогда еще надели на голову старую шляпу.

— А я помню вечер, — сказал знаменитый убийца, — я тогда маленький был — воткнул няньке в ногу иглу. Большую иглу, штопальную.

— А я помню, — сказал Гайавата, — гонялся за Миннегагой по

стремнинам. Она ужасно сердилась, что я зову ее Смеющейся Водой...

— А я помню Язона,— сказала Цирцея.— Глаза у него зеленые, точно море...

Елеазару вспомнить было нечего. Первый страх у него прошел, появилось дружеское любопытство.

— Скажите, пожалуйста, а хорошо быть восковым? — вежливо поинтересовался он.

— Еще бы,— сказал Гайавата.— Лично мне жаловаться не на что. У воскового человека много преимуществ. И почти никаких забот. Можно не бояться увечий. Самая острая стрела не страшна: в любой лавке купят воску и залепят рану. Я не устаю удивляться: почему так мало людей понимают преимущества восковой жизни?

— А что скажете вы, мадам? — спросил Елеазар у Цирцеи.

— Что я скажу? По-прежнему тянет обольщать. И по-прежнему мне снятся те заклятые глаза — зеленые, как море...

— Убийство как призвание...— начал Тихоня.

— Мой друг Генри Лонгфелло...— начал Гайавата.

— История обольщений...— начала Цирцея.

И вдруг они все разом умолкли.

Елеазар двинулся на цыпочках дальше в глубь шатра.

— Послушай, Елеазар...— раздался голос. Это был восковой орангутан.

— А? Что? — встрепенулся Елеазар.

— Жизнь — тайна, — сказал орангутан. — Человек рождается на свет. Спрашивается, для чего? Для того, чтоб умереть. А иначе и быть не может: человеческое тело бrenно, и кровь не может вечно струиться по жилам...

Елеазар пошел бы дальше своей дорогой, но орангутан поднял руку:

— Постой. Теперь сравним человека из плоти с человеком из воска. Все служит благополучию воскового человека. Сперва мастер изготовит его умело, не причиняя ни малейшей боли; потом его поселят в чудесном водонепроницаемом шатре или в огромном здании, где все отвечает требованиям гигиены; о его туалете будут постоянно заботиться; и главное, он всегда в центре внимания! Человек из воска имеет полную возможность изучить натуру своего бrenного родича. Сколько лиц принимает за день к моему лицу, сколько вижу я глаз, сколько слышу речей!.. Восковой человек не подвержен изменениям — невозмутимо и беспристрастно взирает он на человеческую комедию.

— Сэр,— сказал Елеазар,— вы говорите очень хорошо для обезьяны...

— Эх ты, наивность...— сказал орангутан.— Я принял восковой облик лишь два дня назад. А до этого я был здесь зрителем.

— Скажите, а вы не чувствуете холода? — спросил Елеазар.

— Ни холода, ни жары, ничего.

— И голода не чувствуете?

— Ни голода, ни жажды. У меня вообще нет чувств. Нет желаний. Счастье мое вечно.

Елеазар снял пиджак и брюки. И сказал:

— А ну-ка, подвиньтесь...

На другое утро хозяин снова пришел в бюро по трудоустройству и спросил, нет ли смышленного паренька.

— И еще учтите, работа требует бережности. К нам только что поступила новая дорога фигура.

— Какой-нибудь исторический персонаж?

— Да нет, — отвечал хозяин. — Валлийский друид в длинной белой рубахе.

*Перевод с английского Д. Псурцева*

---

---

Юрий Соловьев  
СВИДЕТЕЛИ ГЕКАТЫ

\* \* \*

Князь Одоевский раздувает зеленый огонь  
в своем Одоеве, прячется одвуконь  
в камышах, утверждая, что это — объезд  
подвластных крестьян и разных таинственных мест.

Князь Одоевский перепутал слова, все книги съел,  
был на острове Патмос — князя варили в котле,  
и князь состарился, перепел перепел,  
и пришла старуха гадать ему по золе.

Тебе, говорит, князь,  
не путь, а коновязь,  
ты дальше стогов не лязь,  
а сиди, распутывай вязь.

Я вчера с петухом сошлась,  
а под утро змеем снеслась,  
и по мне что князь, что язь,  
что под мышкой серная мазь.

Эх, не масть, думает князь,  
да откуда взялась эта мразь,  
эта изморось да роса,  
да плешь, что изъест леса...

А старуха ему твердит —  
зуб один, да прочно сидит,  
что гранит, что хризолит,  
что монах, что содомит...

Не грусти, что состарился, князь —  
на тебя разевают пасть...

Князь Одоевский блюл посты,  
по утру подстригал кусты,  
парк вгоняя в голландский вкус...  
Говорил, что сам он индус,  
что живет девятый век,  
что друг его — царь Ватек  
и, когда они с ним умрут, —  
не зарюют их, а сожгут...

\* \* \*

Едет, едет кошка верхом на зайце,  
она глаза отводит всем, кто ее видит,  
полная луна над нею сияет,  
полная луна топчет ей дорожку.

На поляну выскочил верховой заяц,  
травы на поляне вровень с дальним лесом,  
Кому трава приходится славною кумою —  
не выходит ночью, не встречает кошку.

Погоняет ловко, светит глазом зайцу  
всадник хвостатый, куст укропа в лапе.  
Тихо, ветер дремлет, прах не подымает —  
проезжает кошка через лес дремучий.

Реку переплыла, по селу промчалась,  
вылетает в поле, как заправский рейтар,  
не закаплет дождик, не чихнет младенец.  
На колючем поле исчезли заяц с кошкой.

А дальше в деревню клубок покатился,  
беленький клубочек, маленький да ловкий,  
кто б к нему ни вышел — любого подденет,  
а и побежишь — все равно догонит...

\* \* \*

Нам несносны наши латы,  
и святыни нам не святы,  
мы — свидетели Гекаты,  
лобежденные в бою.  
Обескровленные тени,  
незаплаченные пени,  
в ночь не запертые сени —  
ждем владычицу свою.

Что приходит с темнотою,  
награждает немотою,  
неизбежной пустотою  
пролетает над землей.  
Знахарь ею тело лечит,  
серебро под воду мечет,  
или куму кум перечит,  
накурившись коноплей.

Все мы в зеркало отлиты,  
свиты, лунные гоплиты,  
плечи сдвинуты, как плиты,  
тлеют тусклые мечи.  
Корень водного ореха  
да осиновая вежа —  
меж лопатками прореха...

— Знахарь, знахарь, полечи...

\* \* \*

Плесень из болота выползла на камни,  
теплится, как в плошке пламя, дня остаток,  
высекает темень тайное кресало,  
волоком луна проползает тут же.



За стволами в чаще волк вечерний вьется,  
выменем-волынкой воет, выскользает  
из-под зорких зенок призраков, гнилушек,  
от огней болотных. Бредит в пляске бором.

Чинопочитаньем он не занят, чаще  
читится черный росчерк серебра в граните  
древних скал, но в чаще — чисто, шелестят лишь  
лапы еле слышно по бестропным плешам.

Где замшел песчаник, там, где повилика  
пеленует племя ласковых волнушек,  
волк в льняных лощинах вслед за лунным светом,  
словно за добычей, рассекает воздух.

Блещет желтый жернов, желтый нож и остов —  
волчий зуб под беглой, белой луною.  
Волк ее догонит, легкий волк вечерний,  
украдет, утащит в пасть пустых проталин...

\* \* \*

Неживая влага недужных рук,  
незаконная вязь у недужных снов,  
ты забудься, забудь запереть засов  
и проснись на первый совиный звук.

Влага капля за каплей сомкнется в слог,  
он совьется в тропу, в перепутье пут.  
Пронесут. Не спрашивай, что пронесут —  
пронесется вопрос в переборе ног,

в перестуке капель и звоне подков,  
в скрипе спиц на колесах в густых лесах.  
Ты ищи себя в чаще, в чужих глазах,  
в молчанье или в обрывках слов.

Не в полных словах затаился ты,  
не сеть глаголов — устав камней.  
Прячься, иль с первым лучом костеней,  
иль черной ночью сочти черты

на еле видных стволах дерев,  
на еле слышных всхлипах птиц,  
на лицах стариц, отроковиц,  
захлебнись сединою, вмиг постарев.

В неживых пространствах найдется нить,  
змеем, корнем выползет на ладонь —  
и корчуй, изводи, разводи огонь —  
нежить в нетях, но нынче тебе не жить.

\* \* \*

Страшны языковые времена.  
Я раздвигаю корешки — и вижу  
расплавленные буквы и слова,

меж бездною и бездной — только сеть  
еврейской азбуки или германских рун,  
или глаголицы неведомой крючки,  
черты и резы. И зеленый страж  
двенадцати архангельских ворот  
не смотрит в мою сторону. Вхожу  
в замшелое и сводчатое лоно  
Великой Матери. А дальше — ничего,  
безмолвие, ни тьма, ни океан,  
а просто — словно бы «не бысть ничтоже»,  
как в летописи в некий год пустой.  
Все так. Закрытые глаза и пустота  
перед сетчаткой, позади сетчатки,  
пустой и бесконечный коридор,  
который и не коридор, и кончились слова,  
и мрак, и свод обрушился, и мне уже не выйти:  
ни к языкам, ни к временам...



---

---

# Алексей Шишкин

## ШАГ ИНОХОДЦА

### Рассказ

Небо вздулось над городом — огромный лилово-желтый пузырь. Под его пленкой город задыхался в своих испарениях.

Раскаленная солнцем улица, тянувшаяся вдоль высохшего бассейна «Москва», была пуста и безжизненна. Только здание Музея в ожерелье зеленых газонов, точно мираж, оживляло унылую картину асфальто-каменной пустыни.

Провинциалы и иностранцы, что всегда толпятся летом в столице, измученные жарой, отупевшие за день, вышаркивали из дверей уже готового закрыться Музея, расслабленной походкой брели в свои отравленные зноем гостиничные номера. Вдоль ограды лениво прохаживались два милиционера, с нетерпеливым остервенением дожидавшиеся конца смены. Рубашки липли к их потным телам, пот застилал глаза. И потому не разглядели они, как навстречу покидающим Музей последним посетителям по каменным ступеням легко поднялся человек — по виду иностранец, он и для иностранца выглядел нелепо: черный короткий плащ, черная бархатная шапочка, узкие панталоны и туфли с изящными коваными пряжками.

Под гулками сводами Музея, где не бывает ни зимы, ни лета, где не меняется ни время года, ни время суток, человек бесшумно проскользнул мимо дремавших у резного распятия сторожей, подумав: чем не римские воины, что решили отдохнуть на Голгофе и разыграть в кости хитон распятого Христа?

Человек остановился в тени колонны у входа в большой зал. Зал был пуст. Дневной свет, сочившийся сквозь стеклянную крышу, расплывался белым пятном на каменном полу — но по углам незримые пауки уже ткали паутину сумерек: как саван, покрывала она статуи средневековых королей, ажурное литье готических гробниц — будто силилась повторить неповторимый узор вечности, и поглотить ее, и похоронить в себе.

Светлый нимб таял на остывающем камне. В сумерках пересек человек зал и остановился перед медной табличкой, на которой узнал свое имя. Величественная статуя всадника возвышалась перед ним. Тьма, как плесень, разъедала точеный контур литых доспехов, но еще ясен был профиль лица, надменно и упрямо смотревшего поверх головы коня.

Пришедший впился взглядом в это лицо: даже в бронзе оно не стало холодной маской, а выражало такую волю и непреклонность, будто само заставило металл подчиниться себе и послушно повторить свои черты. Стоявшему внизу даже показалось, что лицо медленно повернулось к нему и тяжелый взгляд всадника придавил его к каменным плитам пола. Человек вздрогнул, но глаз не отвел. «Кондотьер Коллеони, — прошептал он, — вас дано уже нет. Вы — прах. . .»

Ему ясно вспомнился день, когда он отлил эту статую. Это было вечность тому назад, ибо теперь для него, Андреа Верроккио, всегда была вечность. Иноходец, приподняв копыто, застыл перед ним. О, уже и тогда каждое мгновение он мерил шагом вечность! Бронза панцырем одела его круп и бока, мертвый металл сковал волнистую россыпь

тривы; но сотворенная в печи плоть жила — вилась, играя, жилка на лбу коня, билась в ней — да, билась, согревая холодную твердь! — живая кровь, ядрами перекатывались под кожей мускулы, морщина гладь литья на изгибе шеи. Андреа Верроккио обошел статую, погладил шею коня: да, подумал, пожалуй, ты не хуже, чем тот конь, что стоит в Сан-Джованни Латерано у папы. Прислушался: на канале кричали гондольеры. Далеко над морем в нежно-голубом шелковистом небе еще тлел янтарный рубец заката. Неужели, подумал он, это все, что мне удалось: догореть и погаснуть, как закат, и оставить после себя — что? Немые статуи и холодные гробницы? Бронзовые подобию живых и мраморные — мертвых? И кого будет помнить мир, глядя на эти камни и куски металла — Коллеони и Фортегверра? Карающий меч земной и грозный глас небесный? Один умерщвлял чужую плоть, другой — свою. А кем был среди них он сам, Андреа Верроккио? Творцом лошадиных голов и хвостов, что не поднялся в своем искусстве выше конского копыта, — уж если какого-то Веллано из Падуи здесь ценят больше!

Он повернулся к коню и опять обошел его, словно обошел сам себя и оглядел со всех сторон. Вся жизнь его явилась ему бронзовой статуей, и эта статуя была последней среди тех, что он мог бы увидеть на своем надгробии — и его-то сейчас он видел. Неужели вся эта бронза, в которой творил он жизнь, была лишь надгробием для той жизни и для него самого?

А зачем тебе надгробие, подумал он, если с тобой и живым-то не считались; если живую голову хотели отрубить, то уж бронзовая она никому не нужна. Ни Лоренцо Великолепному во Флоренции, ни сеньории в Венеции. Они — власть, для них твоя жизнь мало значит. Они могут все, кроме одного, — они умеют рубить головы, но приставлять их они не имеют, они могут убивать, но воскрешать они бессильны, даже прославлять себя они заставляют других. И здесь им нужен ты, чтобы их власть увековечила себя твоими руками. Ну, а после им и головы твоей не жаль — ступай, Андреа Верроккио, под топор.

Но вправду ли ему тогда собирались отрубить голову или только грозили? Коллеони уж отрубил бы. Наверное, всю жизнь он служил Господу лишь тем, что убивал всех, кого Господь создал по образу и подобию своему, — только смертью мог быть измерен путь его в этом мире. Но сам он, кондотьер Коллеони, не умрет. *Vita eterna\**. Бронза станет телом и кровью его.

Андреа Верроккио помнил его лицо. Гипсовая голова кондотьера уже давно была готова для отливки, и Андреа частенько смотрел на нее в мастерской, чтобы понять, по чьему образу и подобию создан Коллеони. Чьим было это лицо, как глухое забрало спасавшее его душу от соблазнов милосердия к грешной плоти братьев во Христе? Лицом грозного Судии в день гнева или беса в круге первом ада? Древнего бога войны или легионера, истреблявшего первых христиан в катакомбах? В огне сладострастия каких чресел было зачато это тело, не способное, похоже, само к продолжению жизни, но способное к уничтожению ее? Может, в нем еще бродила спесь, распиравшая когда-то грудь римских патрициев, и кондотьер уподобил весь род человеческий толпе своих рабов, которых он мог просто убить или отдать на съедение муренам? Или его воинственный дух будила кровь тех, кто прошел Галлию, препоясал Альбион валом Адриана и попирал калигами землю Голгофы в час, когда каждый, как мог, умывал руки?

Глядя на гипс, Андреа только сейчас понял, что бронза — слишком

\* Вечная жизнь (лат.).

мягкий металл для статуи Коллеони. За годы бесконечных войн кованые доспехи намертво вросли в его тело, став плотью от плоти его, и душа кондотьера, наверное, уже давно истлела в этом живом гробу, для которого смерть еще не нашла места в мире усопших, а жизнь была лишь служанкой смерти в мире земном. Вечным памятником кондотьеру был бы его собственный закованный в сталь труп.

Наползавшая ночная тьма уже ложилась черной тенью на гипсовое лицо кондотьера — будто смерть совершала обряд рукоположения над верным своим апостолом, чтобы на службе у всякой власти был он мудр, как змий, но никогда не стал бы кроток, как голубь. Андреа посмотрел в залитые мраком глазницы — два бездонных колодца, куда свет жизни так и не проник. Врата ада. «И вот кого я должен обесмертить». Слова, не сказанные им вслух, прозвучали в глубине сознания, как приговор самому себе. Будто суд над ним вершил этот идол власти, в жертву которому отказался он принести свое искусство! В жертву той силе, что неколебима, как камень, но не может камни обратить в хлебы, что не воздаст Богу Богово, но себе требует кесарева, что не врачует чужих ран, но жаждет исцелиться этими ранами.

И Андреа вспомнил своего Христа в церкви Ор Сан-Микеле, и Фому, влагающего персты в рану Ему. Иисус с улыбкой обнажает измученное тело, чтобы этот слепец исцелился от неверия Его кровью. Не уподобилась ли сеньория Венеции этому слепцу?

А разве сам он, Андреа Верроккио, не пытался, обнажив свои раны, вложить в них собственные персты и персты своих учеников? Леонардо и Перуджино, они в нем не сомневались. Зато он усомнился, кровоточат ли его раны, когда увидел, как пишет Леонардо — этот мальчик будто прикоснулся своей кистью к его незрячим глазам, чтобы они, наконец, прозрели. Тогда тоже был Иисус: Крещение — для братьев Валломброзы. В соприкосновении кисти и холста, как в таинстве непорочного зачатия, рождалась беззащитная плоть Христа. Над ним — жилистая рука Иоанна, рука Предтечи, ей суждено окропить водой чело Иисуса, но не суждено обратить воду в вино. Не твоя ль это рука над его челом? Не твоя ли кисть, как та неплодная смоковница, породила лишь бескровное землисто-коричневое тело мученика, безжизненное, как вода Мертвого моря?

Краем глаза Андреа следил тогда, как у его ног Леонардо в левом углу холста написал своего ангела. Счастливое дитя — бледно-розовый румянец щек, поцелуй первого луча денницы. Как он оказался здесь, в пустыне среди аскетов? Сверху сурово глядел Иоанн — морщинистое лицо, пергамент Ветхого Завета, скрижали мученичества древних пророков, и рядом, у ног его — этот херувим, равнодушный к догме и мукам плоти. Грაციозный поворот головы, нимб темно-золотых кудрей вокруг чела, лебединый профиль, детский восторг в глазах. — Пустите детей приходите ко мне и не препятствуйте им. — И вот он пришел к тебе, а ты оказался не достоин развязать ремень обуви его. Оставь теперь, ибо так надлежит тебе исполнить правду твою. Твой удел — мед и акриды, а он соберет пшеницу в житницу. Дерево узнают по плодам его. Ты вышел рано, до звезды, и собирал камни во тьме. Он обратит камни в хлебы. А ты вернись к своим статуям и надгробиям — эти камни хороши как они есть. Тебе не придется насыщать ими толпы голодных.

Где же он теперь, подумал Андреа, сильнейший меня? И вспомнил: в Милане у Лодовико Моро. «Леонардо из Флоренции — инженер и художник». Говорят, он собирается отлить статую Франческо Сфорца огромной величины, двенадцать локтей. Да, повыше моего Коллеони. Чем больше власти имел при жизни, тем больше бронзы на тебя истратят после смерти. Глупцы, они хотят спрятаться от времени в куске

металла, как улитка в раковине, и думают, что переживут свой прах. Глыба бронзы, отлитая по фигуре мертвеца, — такой же гроб поваленный, только вывороченный наружу и выставленный напоказ. Посмотрите, каков покойничек! Лучше, чем в жизни! Никому не грозит, голов не рубит, да и сам не смердит. Водрузили бы лучше на пьедестал пушечное ядро и поклонялись ему — вот создатель всех империй, в нем начало и конец всякой власти. Короли приходят и уходят, ядро пребывает веками. Неужто Моро думает, что восемьдесят тонн бронзы обесмертят его род? Если французы займут Милан, они перельют эту статую на ядра, которые полетят в Моро. И круг замкнется. Смерть сына таится в бессмертии отца. Поистине власть — Сатурн, пожирающий своих детей. Аминь. Леонардо, мой мальчик, нельзя служить двум господам, когда ты сам себе господин и судья. Что тебе Сфорца? Что Моро? Забытые слова на могильном камне, которые прочтут лишь потому, что их начертала твоя рука. Но разве для того ты пришел в этот мир, чтобы создавать надгробия и склепы? Разве для того ты родился, чтобы ваять идолов?

Глядя на камень, лежавший рядом, Андреа подумал и о том, что мертвое изваяние равнодушно к людской славе и суете, но лишь одно оно останется последним свидетелем забытой славы и суеты и вполне заменит собой человека. Люди слабы и бывают не похожи сами на себя, но став холодной твердью, они всегда остаются самими собой и становятся даже лучше. Каменные властители надежнее живых — то же величие, та же слава и та же твердость — когда-то изменявшая им при жизни на радость врагам и завистливым сатрапам, теперь она дарована им навечно. Наверное, и всю мощь их власти мог выразить лишь камень да еще мертвый металл. Камень статуй, замков, крепостных стен, подземелий и могил. Золото растащат, как мыши, жадные наследники, корона послушно увенчает чужой череп, оружие заржавеет, но камень — не изменит никогда. Он всегда будет рядом, как смерть. Андреа вспомнил могилу Теодорика — о ней давно забыли бы с тех варварских времен, если бы не огромный камень, лежавший сверху. Никто сейчас не знал, как он был поднят на такую высоту, — то ли его вознесла дикая прихоть германских кровей, чтобы возвыситься над прахом Рима, то ли вассалы в страхе перед мертвым уже господином погребли его под этой глыбой, думая, что в ней воплотилась вся тяжесть земная, которая не даст ему встать из гроба. Но и теперь казалось — будто из тьмы небытия готский король все еще грозил живым: никакая земная тяжесть не сравнится с тяжестью его власти.

А может, все они сотворены из камня, а не рождены женщиной, подумал Андреа, и похожи на те покрытые плотью, но мертвые кости, к которым взывал пророк Иезекииль? Может, их мучает холод породившего их каменного чрева и они так легко проливают чужую кровь, чтобы согреть ею свою каменную плоть? И хотя бы всякому камню придать свои черты, чтобы окружить себя своими подобиями и повториться в камне, ибо в людях им повториться не дано? Каменное семя не дает плодов. Наверное, власти и нужны люди в каменном обличье или камни в образе людей. Разве не грозил Иоанн фарисеям, что Господь Своею властью может воздвигнуть из камней детей Аврааму? А вдруг та угроза сбылась, и дети Авраама разбрелись по свету и стали править людьми? И Иисус не ошибся в Своем лучшем ученике, ибо сказано в Писании: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют?»

Камни, камни. . . После Рима остались только камни, но и тот, кто разрушил Рим, стал добычей камня. И блудницы, и неверные жены, дарившие свое тело лишь за взгляд, были отданы камню и заживо замурованы в башнях и стенах, чтобы истлеть в могильных объятиях

этого последнего в их жизни любовника, которому они уже не могли изменить. Камни съели людей, а люди упорно пытались оживить камни. Вот, например, Донателло. Это в его руках холодное чрево мрамора вдруг исторгло жизнь — так когда-то неплодная Елизавета родила в пустыне. И из глубины веков явился Аввакум, и воззвал к жителям Флоренции устами Цукконе со стен кампанилы Санта-Мария дель Фьоре. Лысый череп, иссушенный аравийскими ветрами, голый, как та пустыня, где ему предстал Господь. Под флорентийским солнцем полированный мрамор блестел, будто сочился пот, увлажняя иссохшую в забвении плоть пророка. В спекшемся мозгу расцветала увядшая когда-то мысль. Говори же, говори, чтоб ты лопнул! Он пришел издалека, дух, победивший тленье. Время протекло сквозь него, как песок, не исказив его лик, и, как песок, рассыпались перед этим ликом догмы фарисеев и лжепророков, поклонявшихся бессловесному камню. Аввакум молчал, презирая ересь идолопоклонства. И теперь он восстал из тьмы тысячелетий до Рождества Христова, и десница мастера даровала ему голос, вложив его язык в уста человека. Будто сорвана была пятая печать со Священной Книги, и немые, как камень, души заговорили.

Кому же из них дана была новая жизнь? То ли праведная кровь древнего старца согрела камень, и он ожил, как жезл Аарона в пустыне. То ли Керикини обрел глас пророка и встал над суетой и тленом, вечно взывая к гражданам Флоренции, дабы не поклонялись они кумирам каменным, литым и всяким иным и не приносили жертв идолам в обличии человеческом.

Наверное, ты бог, Донато, подумал Андреа, если твои камни живее самих живых. Бог в своем искусстве и Божий раб в земной юдоли. И тебе нашлось место под камнем в церкви Сан-Лоренцо. И тебя иссушило время, как твою Магдалину, изъеденную до костей червем старости, — прах, переживший себя в куске дерева, увековеченный твоей же рукой. Ты все мог, творец бессмертия, ты пробуждал для жизни косную твердь, но кто теперь воскресит твой прах? Кто вспомнит твое имя, глядя на полубезумное черное лицо Гаттамелаты — будто на нем запеклась вся та кровь, что лилась по мановению его руки? Разве шевельнутся его губы, знавшие лишь вкус чужой смерти, этой его единственной страсти из всех страстей человеческих? Может, и отлит он вовсе не из бронзы, а из крови своих жертв? Ее хватило бы на множество статуй. Но разве может стать бессмертным тот, кто не рожден при жизни? Власть рубить головы — это власть мертвеца над грудой черепов. Даже боги мертвы без человека, лишь он создает их образ, дарит им плоть, и кровь, и красоту. Тем, кого никто никогда не видел. А вдруг их и вовсе нет? Нет грозного Судии и агнца, как нет вечной жизни и воскресения? Есть только «Венера» Боттичелли, «Благовещение» Леонардо, «Распятие» Донато? И нет храма на небесах, а есть только Санта-Мария дель Фьоре на земле, есть небесный свод, который создал Брунеллеско? Но что тогда земная власть? Лишь страшный призрак, что боится света жизни и прячется от него в камне и бронзе? В надгробиях и статуях? Но нет статуи без ваятеля. Нет храма без зодчего. Я создал Коллеони, я обессмертил жалкие кости Фортегверра. Я могу сотворить кумира и низвергнуть его. Мне хотели отрубить голову, чтобы я не отнял у них то, что им дал — мои дары, которые одни стоят больше, чем вся их власть и слава. Как они боятся, что смерть откроет их наготу, убогую наготу мертвецов, казавшихся живыми в сиянии власти. Нищие во славе своей, нищие во прахе. Не бойтесь, я не лишу вас последнего подаяния, я не отниму у вас величия ваших гробов. Пусть мрамор скроет от жизни то, что никогда не было жизнью. Вы исчезнете там, где кончается путь всякой плоти. И напомнят о вас лишь мои камни.

Он встал, вдруг ощутив всем телом холод наступившей ночи. Вокруг плотным саваном сгустилась тьма, и показалось, что из этой тьмы на него глядели лица всех тех, кто прошел перед ним угрюмой чередой. Герцоги, кондотьеры, кардиналы — они вершили суд над жизнью, пока сами не оказались на суде смерти и вечности. Они глядели на него, они взывали к нему — грешники у врат ада, на который сами же себя обрекли: им все еще казалось, что силой искусства он, Андреа Верроккио, сможет погасить адское пламя, сжирившее их души, пламя, которое не дает света.

— *Ite, missa est\**, — прошептал Андреа, повернулся и исчез в ночи.

---

---

---

\* Ступайте, месса закончена (*лат.*).



---

# Артур Макен

## IN CONVERTENDO

### Рассказ

*Литературный поденщик, газетный репортер — и автор рассказов, без которых любая антология английской прозы нашего века выглядит неполной; студент-недоучка — и знаток средневековых рукописей; адепт Черных искусств — и сторонник Высокой Церкви. Все эти ипостаси непостижимо слились в Артуре Макене (1863—1947). На протяжении многих лет он был членом «Герметического Ордена Золотой Зари» — странной организации, оставившей след не только в истории европейского оккультизма, но и в истории английской литературы: с 1906 по 1912 год руководителем Ордена был Уильям Батлер Йейтс, в «Зарию» входили Брэм Стокер — автор знаменитого «Дракулы», Олджернон Блэквуд, Чарльз Уильямс, Р. Тодд, а также мрачно известный Алистер Кроули. Кельтизм и христианство здесь были переплетены с отъявленным сатанизмом, что случалось в тех эзотерических обществах, где проявлялась тенденция предпочесть идеал Сверхчеловека идеалу Сына человеческого.*

*В 1908 году Макен закончил свой роман о Граале, названный им в первом издании «Орнамент в зеленом» (любопытно, что у многих авторов, принадлежавших к «Заре», со странной настойчивостью повторялся мотив Священного Грааля). Работая над романом, писатель опубликовал и ряд новелл, персонажем которых выступает Амброз Мейрик — главный герой романа. «In convertendo» — одна из таких разработок. Для нее весьма важна дантовская символика, на которой, собственно, и построен рассказ. Название его можно перевести с латыни и как «В процессе превращения», и — «Вспять» (термин, встречающийся в алхимических текстах, когда адепты «Королевской науки» рассуждают о том, что «путь вверх и путь вниз — один и тот же путь»).*

В конце концов, Амброз Мейрик поспел-таки к отходу пресловутого поезда Люптон—Бирмингем. Поездку эту он предвкушал уже несколько лет, тоскуя по древней земле отцов и изводя душу воспоминаниями — лишь бы не дать образам Гуэнта поблекнуть и кануть в прошлое, — но сейчас, когда отзвучал гудок паровоза и поезд медленно тронулся вдоль платформы, он с удивлением обнаружил, что столь чаемое исполнение желаний оставляет его почти равнодушным. Что-то холодное и трезвое было в той радости, с которой проводил он глазами железнодорожный мост — а ведь когда-то, еще мальчишкой, он простаивал на нем часами, устремив взор к западу. В памяти всплыл тот день, когда земля багровела, словно охваченная пламенем, и сердце его — как и душа, и тело — отозвалось щемящей болью — почти на грани обморока и смерти; и вспомнилось, как предстало ему тогда виденье горы — возродив, вернув силы, — как ветер вдохнул тогда в него новую жизнь. Как же нелепо, подумал Амброз, что вопреки всем устремлениям своего существа, вопреки собственной вере, он перестал ежедневно полагаться на милосердие чуда, хотя оно было ему явлено, — чуда, которое должно было бы хранить его, как талисман, дарованный в вечное обладание, и служить прибежищем и защитой от всякой слабости, отчаянья, отвращения к жизни, напоминая ежечасно, что мир этот не навеки отдан во власть сил тьмы. Он осознал всю трудность великого Акта Веры, который должен совершаться изо дня в день,

вновь и вновь — твориться лишь неослабным напряжением воли — а иначе — пропасть, падение в черную бездну бессмыслицы и отчаяния, которую большинство живущих прикрывает словами «мир не столь уж плохое место, если только к нему соответственно относиться». Какой простой символ веры: «не столь уж плохое место», как легко им прельститься — того не осознавая, не идя, вроде бы, ни на какие уступки — молчаливо соглашаешься с ним вопреки собственным убеждениям — если только ты не привык твердить их как непрестанную молитву. Зная иное — и лучшее, — удостоившись неоспоримых свидетельств, которые пришли из глубин сердца и из внешнего мира, — ты все так же продолжаешь верить — словно нет ничего естественнее такой веры, — будто человек жив хлебом, получаемым из рук булочника, и мясом, получаемым из рук мясника, — и все прочее меряешь той же мерой. Покуда поезд уносил его на юго-запад, Амброз решил, что все это требует пересмотра, и на будущее следует каждый день напоминать себе: пища души твоей — не мясо и хлеб, а таинства и чудеса.

Но последний год его жизни был отдан тому иссушающему и сопряженному с чувством страха процессу, что зовется Путем через Чистилище\*. Пройти через это необходимо — но приходится поступаться всем, что питает и смягчает душу, — ибо речь идет, скорее, о недостойном и темном, чем о пронизанном светом и исполненном сострадания. Амброз на мгновение испугался — а не слишком ли низко склонил он голову в этом храме ложных божков Люптона, — пусть праведны были его побуждения — но ведь пытался же он с симпатией слушать проповеди Доктора. А что за курс читал тот в последнем семестре! Главный упор делался на то, чтобы внушить слушателям: нельзя жить, словно в отдельном купе, отгородившись от мира непроницаемыми перегородками. Жизнь невысказима без взаимосвязей, и все в ней одинаково — и бесконечно важно, а посему к играм и школьным занятиям следует относиться столь же серьезно, как и к трудам и исканиям зрелых лет.

«Не поддавайтесь заблуждению, — вещал проповедник воскресным утром с церковной кафедры. — Уже сейчас мы живем в Вечности. Здесь, в Люптоне, за партой и на площадке для игр, на футбольном поле и в классе — каждое действие исполнено вечной значительности, ибо оно формирует ту или иную черту характера, а он будет нашим вечным достоянием».

В итоге вся суть этих проповедей сводилась к следующему. Юноша, желающий в грядущей жизни стать записным оратором, чьи речи внушают доверие и пользуются успехом, уже сейчас, не откладывая, должен приступать к решению стоящей перед ним великой задачи.

«Помните, — возглашал Доктор, — мы живем не в эпоху темного Средневековья. Среди нас нет тех, чье призвание — стать духовником капризного и деспотичного правителя. Никому из сидящих в этом зале не придется употребить свой дар государственного деятеля на разработку мер, направленных против вольностей народа, ничьи таланты полководца не будут востребованы ради беспощадного подавления и порабощения населения какой-либо страны. Мы не в темном Средневековье. Возможно, кому-то из вас в будущем суждено стать прелатом. Однако современный епископ — лишь формальный наследник средневековых иерофантов.

Ибо призваны мы служить Господину, который увенчан короной невидимой... Запомните же раз и навсегда, что завоевание популярности, в истинном смысле этого слова, — цель благородная и достойная, более того — благороднейшая из целей. Ведь кричала же толпа в Иерусалиме «Осанна!» Он сострадал и сочувствовал *большинству* — простые

\* Намек на алхимическую операцию кальцинирования, когда путем прокаливания вещество избавляется от летучей субстанции (примеч. перев.).

люди радостно внимали Ему... Пусть же послужит нам сие напоми-  
 ние и предостережением: служение наше — не ради группы избранных,  
 не ради узкого круга потомственных аристократов, как бы ни были  
 утонченны их запросы и изысканны вкусы. Мы призваны служить  
 большинству, тем, кого называют «простыми людьми». К ним обращены  
 наши речи, и среди них взыскуем мы популярности».

При воспоминании об этом рассуждении — и других, ему подоб-  
 ных, — Амброз вздрогнул и рассмеялся. Нет уж, достаточно он наслу-  
 шался всяких глупостей, пришло время навсегда оставить Люптон — и  
 его пути. Все, связанное с колледжем, уже казалось бесповоротно при-  
 надлежащим прошлому. В конце каникул придется еще раз туда вер-  
 нуться и пройти через все необходимые формальности. Но, как бы то  
 ни было, с Люптоном покончено — покончено с его тупой рутинной, само-  
 довольным ханжеством, с наводящей тоску педантичностью, претензия-  
 ми на роль некоего центра, вокруг которого и вращается мир — все это  
 минуло и прошло. Так в сознании остается воспоминание об утоми-  
 тельной и пустой пьесе, которую случайно довелось увидеть — и поско-  
 рее хочется забыть. Вся эта мертвечина, с которой связано столько  
 горечи и бессилия, боли, попыток вырваться, — теперь позади, а впереди  
 — Земля Желания, конец, и цель — Завершение.

Когда поезд достиг Херефорда, Люптон и все воспоминания о нем  
 изгладились из сознания Амброза. Пора изгнания прошла, он возвра-  
 щался домой. За окнами поезда мелькали величественные холмы — и  
 не было сил противиться нахлынувшему потоку чувств. Он не знал точ-  
 но, где проходит граница между графствами, но один вид этой местно-  
 сти заставил его сорвать с головы шляпу и восторженно приветствовать  
 родную почву Гуэнта. Земля этого края говорила с ним невыразимым  
 языком природы — и все существо Амброза откликалось на ее призыв.  
 То был день великого праздника, и истинной звучали слова: «*Montes  
 exultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium*»\*. Легкая дымка  
 облаков, словно вуаль, смягчала солнечный свет; все вокруг было зали-  
 то чудесным золотым сиянием; прозрачная гладь речных потоков игра-  
 ла тысячей отблесков — листья на деревьях ликующе танцевали в по-  
 рывах западного ветра. Амброз смотрел на все это, и во взгляде его  
 светились восторг и страсть, ведомые разве что влюбленным. *Qui con-  
 verti petram in stagna aquarum: et rupem in fontes aquarum*\*\*.

Пребывание в земле безводной и каменной закончено; вот по  
 склону горы стремительно сбегает ручей, что берет свой исток в самом  
 сердце скалы, и Амброзу показалось, что он слышит журчание вод, их  
 радостное пенье. А вот и знакомое ущелье, ведущее в эту девственную  
 страну — край неумолчно бормочущих родников, укрытых зеленой лес-  
 ной тенью, край пурпурных полей вереска, мир золотистого, пахучего  
 дрока и скальных громад, при виде которых вспоминаются магические  
 круги друидов. Когда-то он поднимался по этой тропинке вместе с от-  
 цом — сколько лет прошло с тех пор, — тогда целью их восхождения  
 была древняя святыня, стоящая на вершине горы, и колодец, выкопан-  
 ный когда-то неким святым в давние-давние времена.

Ручей убежал вдаль; несколько миль его русло и железнодорожная  
 колея тянулись параллельно. Амброз не мог оторвать глаз от чистого  
 искрящегося потока. С тех пор, как он покинул Гуэнт, ему доводилось  
 видеть лишь гниющие сточные каналы, называемые реками и ручьями  
 лишь в силу привычки: в окрестностях Люптона даже неоскверненные  
 нечистотами воды были грязны и мертвы, словно им приходилось течь  
 через безжизненное уныние осенних полей. А здесь взору Амброза

\* Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы (лат.)

\*\* Тот, Кто превращает скалу в озеро и камень — в источник вод (лат.).

предстал струящийся хрусталь, поющий «Laetare»\*, стекая с холма в долину. Редкие тихие заводы на пути ручья были подобны сияющей тьме, а рябь на его поверхности отсвечивала чистым серебром — словно закат, играющий на пиках гор. Казалось, великая алхимия Бога превратила суровые, неприступные скалы со всеми их мрачными тайнами в эту ослепительную радость бегущей воды.

Слева от дороги показался Холм Явления Михаила Архангела — странная гора с плоской, словно срезанной ножом вершиной; когда-то — до прихода «Черной Женевской Ведьмы, ввергающей в Ад тела и души людские» — она служила местом паломничества. Говорят, раньше пробирались сюда пилигримы, проведавшие о свершившемся чуде — поодиночке поднимались они по крутому глинистому склону, чтобы помолиться в Часовне Архангела, — но теперь на месте древнего храма стоят одни лишь руины, и густая ясеневая поросль скрывает их от досужих взоров. Может, в поклонении этой святыне и надо искать объяснение загадочной поэме Морвана, называемой «Торжество Ясеня».

Амброз проводил взглядом ясеневую рощу, растущую на вершине холма. Мерное качание могучих деревьев оживило в его памяти древние строки, чья изошренная ритмика служила каноном для многих поколений бардов, — но никому из них не удалось превзойти Морвана. Непостижимым образом тот соединил в своем творении аллитерации, и рифмы, и ассонансы — и утверждали поэты, что строки эти внушены чудом, ибо поистине велики «порыв и вдохновение», вызвавшие их к жизни, а саму поэму иногда называли «Великим Заклинанием Морвана». В ней представлены все деревья и злаки, состязающиеся за честь править в лесу:

Лишь восстала заря над тем лесом в Кэрхи  
И окрасила алым меж деревьями тени,  
Роза рекла — ее речь сродни ангельским хорам:  
«Среди деревьев лесных я прениже всех,  
Я сокрыта тенью, от глаз я прячусь,  
Пребываю в неизвестности и пренебреженье —  
Но в собрании этом короны взыскую — внимлите:  
Род веду я от Розы Великого Сада,  
Меня узрят в горних святыне,  
Скрыта в сердце цветка моего Тайна Тайн,  
Ароматами Рая овеена я, что напомним  
Об утраченном царстве...»

Орешник бахвалится тем, что ветви его служат пристанищем «птицам, поющим во славу Господа»; Вяз кичится своей магической силой; Дуб — своим царственным величием, пронесенным через столетия; Белый Терновник есть «сияющее обиталище Мерлина»; Тис отмечен «почетным местом близ алтарей святых»; ни одно дерево лесное не забыто в поэме — кончается же она прославлением Ясеня, которому и достается высшая честь:

«Страж святыни Верховного Ангела я,  
Слава Князя Небес мои ветви ожгла,  
Предводителя Ангельских Ратей я зрил,  
Архистратигу верным я был слугой,  
От досужих глаз скрыв его приход.  
Михаил Архангел заступник мне  
Перед Высшим Судьей в притязаньях моих».

\* Радуйся (лат.).

Поезд уже обогнул подножье Холма Михаила Архангела, а Амброс еще тихонько бормотал последние строки поэмы. Пассажир, вошедший в Херефорде, нервно покосился на юношу и поискал глазами шнур звонка — не пришлось бы звать на помощь — мало ли что может натворить столь странный попутчик. Амброс поймал этот взгляд и усмехнулся нелепости ситуации: рассказывай он всю дорогу сальные анекдоты вместо того, чтобы вспоминать древние строки, джентльмен в углу счел бы его очень милым молодым человеком.

С щемящей тоской следил он, как исчезает вдаль горный склон, поросший ясеневой рощей, колеблемой порывами ветра, — а в памяти его всплывали истории о тех, кто во времена «темного Средневековья» искал уединения около святыни. Прежде, чем удостоиться лицезрения «пламенеющего образа Великого Архангела», давшие обет три дня и три ночи проводили в молчаливой сосредоточенности молитвы — восхищенные, так говорит легенда, прочь от земли воспарившие до небес и достигшие «Райских состояний», так что когда вновь спускались они потом в долину, возвращаясь в лоно мира сего, то подобны были тем, кто побывал на Островах Блаженных, ибо благоухали их одежды небесным ароматом и источали сияние светоносное.

Поезд неся дальше — через тучные и благодатные луга, через дикие заросли, через волнующиеся под ветром поля пшеницы, мимо белых фермерских домиков — и вот Амброс уже видел вдаль знакомые очертания гор. Суровой громадой возвышалась знаменитая скала Миррид Мора — и можно было различить стоящий на ее вершине Дом Крэдока, чьи стены сияли в лучах заходящего солнца. Сердце Амброза сжалось при мысли о сокровище, что покоилось там — о Священной Чаше, укутанной сверкающим парчовым покровом и недоступной взорам простых смертных. Будто только вчера преклонял он колена перед святынями святынь и созерцал образы бессмертных существ, явленных ему в хрустальном зеркале Благословенной работы. Вновь предстали перед ним Золотой Лес, оглашаемый волшебным благовестом, святыня Замка Корбеник, вознесенная над землей превыше гребня девятого вала, и святые Британии, плывущие по Морю Фей к Авалону. И, будто в неясном тумане, видел Амброс конус горы, заслоняющий горизонт, густые леса у ее подножья, белесые стволы Буков, неровным кольцом окруживших Дом Крэдока, — ибо взор его застили видения чудес, когда-то воочию представших ему. И ему чудилось, словно некий голос воззвал к нему с вершины горы, — ему хотелось вновь пасть на колени перед Чашей и еще раз погрузиться в созерцание образов, возникающих из ее глубин.

Но вот Дом Крэдока скрылся из глаз — и лишь неприступная стена Минидд Маэн вздымалась к небесам, а далеко на юге виднелась высоко поднявшаяся над землей и морем скала Твин Барлум, обдуваемая ветром, который пьянит, как вино. И, откинувшись на спинку сиденья, Амброс спросил себя, как же достало у него сил вынести это затянувшееся изгнание, эту изматывающую тоску. *Facit sumus sicut consolati. Venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos\**.

Но еще больше Амброза поразило, что за сострадательная воля хранила его в этой обители глупости, где пришлось ему жить, куда вошел он ребенком, беспомощным и беззащитным, и был так одинок и заброшен. Как так случилось, что он не погиб, не стал «практичным» человеком, одним из тех, кто с нетерпением ждет, когда будет можно приступить к некоему великому деянию — например, занять место в палате общин? Сколько юношей его возраста уже кипели энтузиаз-

\* Мы как бы утешились. Приходящие же придут с ликованием, неся свои снопы (лат.).

мом во имя Человечества, начали прикидывать все выгоды и награды, которые может принести им ревностное и бескорыстное служение той или иной клике — и восторженно смотрели на юного Хасли, который только недавно кончил Люптон, но уже успел дважды переменить свои убеждения и, несомненно, войдет в состав следующего кабинета министров, хотя ему едва исполнилось тридцать лет. Сколько юношей, под воздействием торжественных увещаний Доктора, уже обзавелись полезными знакомствами, которые могут очень пригодиться в будущей жизни, способствуя осуществлению их желаний. Свершить в Мире нечто Благое. Как же удалось ему ускользнуть из этой сточной ямы, вырваться из-под опеки этих наставников и бежать общества этих юношей — как удалось ему не потерять навеки душу свою?

*Перевод с английского А. Нестерова*

---

---

---

---

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

---

---

### Луи Повель ГОСПОДИН ГУРДЖИЕВ

Фрагменты из книги

Георгия Ивановича Гурджиева (1877—1949) называют величайшей загадкой XX века. Похоже, что загадка эта никогда не будет по-настоящему разрешена. Немногочисленные сведения о первой половине его жизни смутны, двусмысленны, противоречивы. Биографы Гурджиева расходятся во мнениях по вопросу о его национальности: был ли он греком, армянином, курдом или грузином? Один из английских резидентов на Тибете в начале нашего века утверждал, что настоящая фамилия Гурджиева—Дорджиев, что он был руководителем царской разведки в этом высокогорном регионе и, более того, воспитателем и наставником далай-ламы Тхубдана Джамцо, вместе с которым бежал в Монголию после вторжения англичан на Тибет. Утверждают, что там же, на Тибете, Гурджиев познакомился с Карлом Хаусхофером, «отцом геополитики», одним из основателей «Группы Туле», тайной организации, сыгравшей значительную роль в разработке «магических» основ идеологии Третьего Рейха. Из книги в книгу переходит непроверенный (да и как его проверишь?) слух о том, что именно Гурджиев внушил Хаусхоферу и, через его посредство, самому Гитлеру мысль о том, чтобы взять свастику в качестве символа национал-социализма. Более объективны сведения о том, что Гурджиев был соучеником Сталина по тифлисской семинарии...

Так или иначе, Гурджиев снова объявляется в России в 1911 году, где встречается с известным скульптором Меркуровым, который знакомит его с представителями московской и петербургской интеллигенции, интересовавшимися магией и оккультизмом. Самым незаурядным учеником Гурджиева той поры был, бесспорно, Петр Демьянович Успенский, уже получивший известность благодаря своей книге «*Tertium organum*», в которой были подытожены результаты его собственных изысканий в области «тайных наук». Лишь после смерти Успенского, в 1949 году, вышла его работа «В поисках чудесного» (или «Фрагменты неизвестного учения»), где внятно излагаются основы доктрины Гурджиева и некоторые факты из его биографии. Доктрина эта представляет из себя фантастическую смесь традиционных истин, вульгарно-материалистических догм и собственных измышлений, приправленных черным юмором в духе Моллы Насреддина. Человека как такового Гурджиев считал живой машиной, сонным и пассивным автоматом, лишенным и намека на свободную волю: «Современный человек живет во сне; во сне он рождается и во сне умирает». И, само собой разумеется, у него нет никакой души, а следовательно, и надежды на загробное существование, пусть даже печальное и проблематичное. Человек должен сам «выработать» в себе душу путем ряда психосоматических упражнений, совершаемых

под руководством «гуру», духовного наставника, уже успевшего сбросить с себя оковы сна. В практическом плане «работа» Гурджиева с учениками включала в себя многие элементы искусственного достижения экстаза, известные в дервишестве, дзэн-буддизме, тантрических школах Индии. Это, прежде всего, отречение от своего призрачного, сонного «я», беспрекословное подчинение воле учителя, «священные» пляски, совместные трапезы, сопровождавшиеся обильными возлияниями, постоянная готовность безропотно переносить любые внешне нелепые выходки наставника, «расшатывающие» рутинное сознание ученика, выбивающие его из наезженной колеи. Нарочитая двусмысленность, страсть к мистификации, «навешивание лапши на уши» характерны не только для поведения Гурджиева в обществе, но и для его собственных сочинений («Встречи с замечательными людьми», «Рассказы Вельзевула своему внуку»), переполненных сотнями неологизмов, путаных сюжетных ходов, многозначительных намеков.

И, несмотря на все это, у него всегда не было отбоя от учеников. Ни в России, откуда он после октябрьской революции бежал на Кавказ, ни в Европе, особенно во Франции, где он обосновался в двадцатые годы. Ошарашенная событиями первой мировой войны, разочаровавшаяся в прежних духовных ценностях европейская интеллигенция металась в поисках новых ориентиров, хватаясь, как утопающий за соломинку, то за марксизм, то за фрейдизм, то за учения индусских махатм. А Гурджиев предлагал этим отчаявшимся людям все, что они только могли пожелать: и обретение души, и постижение истины, и подлинное бессмертие, и, наконец, просто возможность общения с себе подобными в стенах основанного Гурджиевым «аббатства», где за одним столом сидели никому не известные бродяги-эмигранты и представители художественной элиты.

Французский писатель, издатель и журналист Луи Повель, автор прогремевшего на весь мир бестселлера «Утро магов», познакомившийся с Гурджиевым уже после второй мировой войны, собрал десятки свидетельств о Гурджиеве, относящихся к европейскому периоду его карьеры. Он старался быть объективным: неумеренные восторги одних сменяются скептическими отзывами других, в результате чего перед читателем «Господина Гурджиева» (так называется книга Повеля) предстает достаточно объемный и достоверный образ этого и впрямь «замечательного» человека. Кроме того, в книге как бы сам собой прорисовывается социальный и психологический фон целой эпохи со всеми ее противоречиями, метаниями и парадоксами. Гурджиев так или иначе принадлежит истории нашей отечественной культуры, является одним из ее неожиданных порождений, и поэтому — при все возрастающем интересе к наследию Гурджиева в России — нам будет небесполезно познакомиться с выдержками из компиляции Повеля. Хотя бы затем, чтобы не бросаться очертя голову ни в хитроумные тенета, расставленные самим кавказским «магом», ни, тем паче, в сети новоявленных «наставников», «пророков» и «гуру», которые сейчас, как известно, целыми выводками рыщут по России.

## РАССКАЗЫВАЕТ ДОКТОР ЯНГ

Во время своих лондонских лекций Успенский рассказал о некоей примечательной личности по фамилии Гурджиев, который создал нечто вроде собственной системы танца. Успенский знал его еще по Москве, потом встретил в Константинополе, уже после революции. По свидетельству Успенского, Гурджиев много путешествовал по Востоку: побы-



вал в Туркестане, Монголии, на Тибете, в Индии, изучив эти местности в совершенстве. Особенно его интересовал быт восточных монахов. Он знал множество практикуемых монахами физических упражнений и религиозных танцев. Глубоко исследовав воздействие подобных движений на человеческую психику, Гурджиев собирался применить свои познания на практике, создав школу, где бы одновременно преподавались монашеский тренинг и то самое учение, которому посвятил свои лекции Успенский. Последний заверил, что Гурджиев, в данный момент проживающий в Дрездене, уже успел подготовить группу инструкторов, способных обучить и теории, и практике гурджиевского учения. Успенский уверял, что в окружении Гурджиева много выдающихся артистов, врачей, философов, в основном из русской эмиграции.

Гурджиев и сам побывал в Лондоне, если не ошибаюсь, два раза. Чувствовалось, что это противоречивая личность, но в целом он производил благоприятное впечатление, хотя некоторых, особо робких, привела в ужас его гладко выбритая голова, одного этого хватило. Поначалу планировалось организовать Институт в Лондоне, что оказалось неосуществимым из-за трудностей с визами. Помог парижский Институт Далькроза, предоставивший для занятий свое помещение на улице Вождира, правда, временно, на срок летних каникул. Именно тогда, точнее — в августе 1922 года, к Гурджиеву присоединилась большая группа англичан, включая и меня.

Ну и в путь — занятия начались. Ни разу мне не приходилось видеть таких странных упражнений. Но иными они и не могли казаться, ведь главная их цель — сломать инерцию, разрушить телесные привычки. Да к тому же предались мы им, возможно, даже с излишним пылом, потому и затрачивали чрезмерно сил и энергии. Чтобы понять суть этих упражнений, достаточно вспомнить одну игру, в которую всем нам наверняка приходилось играть в детстве. Вспомните: надо было ухитриться одной рукой круговым движением поглаживать себя по животу и одновременно другой — слегка похлопывать по макушке. Для многих это почти непосильная задача: движения неуверенные, поглаживания с похлопываниями постоянно путаются, а под конец становятся и вовсе хаотичными. Чтобы научиться производить столь различные движения одновременно, требуется незаурядная воля. Именно такого рода были наши задания, да некоторые еще и не из двух движений, а из четырех, причем каждое в своем ритме. Любое из них требовало исключительно напряжения, долго их было не выдержать, что и доказывало, сколь инертно наше тело. А значит, преодоление этой инерции — важнейшее условие «пробуждения».

Пока занятия проходили в Париже, еще одним нашим делом, важнейшим после упражнений, было изготовление костюмов для публичных показов: когда Институт будет создан, мы начнем выступать с упражнениями и танцами. Гурджиев оказался превосходным закройщиком. Он раскраивал ткань, а ученик должен был ее расписать и сшить вручную. Но это еще не все — тщательно изготовлялись металлические украшения, застёжки, кушаки и прочий самый разнообразный реквизит. К примеру, балетные туфли или русские сапоги. Короче говоря, от учеников требовалось множество умений. А не умеешь — научись. И приходилось не только приобретать необходимую сноровку, но, что греха таить, преодолевать собственную лень, а то даже и отвращение к данному занятию. Ведь овладение «ремеслом» тут было не целью, а поводом. Главное же, как и в упражнениях, — борьба с самим собой. Вот этому тяжелому труду мы и посвящали тринадцать-четырнадцать часов в сутки. Перед нами стояла единственная задача — преодолевать трудности, совершать усилия. Завтракали мы наскоро, зато обеды были обильными. Подобная совместная работа с людьми, говорящими на самых разных языках, порождала исключительную потребность в таких

вещах, как «возврат к самому себе», «неидентификация», «безучастность».

Сотоварищи вызывали во мне противоречивые чувства. Вопреки утверждению Успенского, познаний в психологии и философии они не обнаружили. Ну что ж, я успокаивал себя тем, что пока все они — машины, потому все делают «машинально». Что за разница — более совершенна машина или менее? И все-таки до конца я так и не избавился от сомнений. Они просто не могли не возникать, когда мне случалось прислушаться к непрерывной болтовне иных дам, которые вели между собой уж чересчур «машинизированные» беседы. Но особенно пристально я приглядывался к врачам. Их было двое. Один из них смахивал на самодовольную козу. И я никак не мог поверить, что эта личность способна «пробудиться», достичь высших духовных состояний. Второй, огромного роста, с пронизательным взглядом и монгольскими чертами лица, производил впечатление гениальности. Впоследствии мне пришлось убедиться и в его пронизательности, и в гениальности. Кроме них группа состояла из русских, армян, поляков, грузин, был даже один сириец, а также один русский барон с супругой и некто, именовавший себя офицером царской гвардии. Ныне он стал парижским шофером и немало преуспел на новом поприще. Повторяю, что о сотоварищах, как и о «работе», у меня сложилось противоречивое впечатление. Однако я постоянно себе твердил: я сделал выбор, мое место здесь.

Наконец Гурджиев учредил Институт и приобрел подходящее здание — замок в окрестностях Фонтенбло с огромным парком и чуть ли не ста гектарами леса, получивший название Монастырь Нижних Лож. Раньше он принадлежал г-же Лабори, вдове г-на Лабори, адвоката Дрейфуса. Хотя в замке с начала войны никто не жил, в нем везде, за исключением служб, сохранилась мебель. Парк одичал. Четверо русских храбрецов и двое англичан, включая меня, поехали туда пораньше, чтобы все подготовить к приезду остальных. Поехала с нами и г-жа Успенская, взявшая на себя обязанности поварихи. Мы должны были прибрататься в этом замке с привидениями, придать хотя бы чуть более пристойный вид его руинам. Расчистили сплошь заросшие сорняками аллеи, отмыли огромные рамы главной оранжереи, которой предстояло стать мастерской. Вкалывали изо всех сил. Наконец приехала основная группа в сопровождении толпы новообращенных: все — англичане. С одним из них, г-ном Ореждем, покойным издателем журнала «The New Age», мне пришлось делить спальню. Помешалась она в службах, куда ссылали учеников, намеревавшихся задержаться в замке. Лучшие же спальни, предназначенные для почтенных гостей, находились в части замка, прозванной Риц (разумеется, теми, кто не принадлежал к числу почтенных гостей).

Гурджиев мгновенно развил бурную деятельность. Крепкий каменный дом тут же превратился в русскую баню, для чего пришлось углубить пол на десять футов и сделать его водонепроницаемым. Баком для воды послужила старая цистерна. Раз — и превосходная баня готова. При деятельном участии самого Гурджиева, который почти в одиночку выложил пол плитами. Но это, если можно так выразиться, гарнир. Основное блюдо — постройка помещения для занятий. Участок, где расположился средней руки аэродром, пришлось разровнять, используя только кирки и лопаты. Адская работа. Потом поставили на попа рухнувший каркас бывшего ангара. К счастью, обошлось без несчастных случаев. Стены мы обшили снаружи и изнутри досками, между досок натолкали сухих листьев, а потом замазали их раствором, из которого древние иудеи делали кирпичи: они перемешивали глину с очень мелко нарезанной соломой. Всего и осталось, что разжечь печи — стены тут же высохли и затвердели. Крышу покрыли просмоленным войлоком, прибавив его деревянными рейками. Половину нижней части здания занима-

ли окна. Когда стекла были вставлены, мы разукрасили их разнообразными узорами и рисунками, что создавало удивительный световой эффект. Земляной пол утрамбовали катками. А когда и он подсох от жара печей, его устлали матами и уже поверх них разостлали роскошные ковры. Стены обили восточными тканями. Соорудили сцену — собственно, обычную эстраду. По стенам в два ряда расставили кожаные кресла с подушками на сиденьях. Первый ряд — для учеников, второй — для гостей. Между ними — низенький барьерчик, нечто вроде магического круга, и узкий проход.

Я так подробно описываю данное сооружение, чтобы вы могли себе представить, как нам пришлось потрудиться и что именно это был за труд. Использовались самые простые материалы, значит, постоянно приходилось что-то выдумывать. От каждого требовалась исключительная изобретательность, а подчас и не меньшее терпение, так как большинство работ было невыносимо нудным.

Изрядно потрудившись на строительстве от восхода до заката, мы собирались по вечерам в гостиной замка и делали упражнения, что, как правило, продолжалось за полночь. Нередко после занятий Гурджиев опять нас отправлял на строительные работы и мы трудились до двух-трех часов утра при свете прожекторов, прикрепленных к балкам. Мы никогда заранее не знали, во сколько нас отпустят спать. Все было так устроено, вернее, так расстроено, чтобы постоянно ломать привычку. У нас появлялись все новые обязанности — Гурджиев завел коров, коз, овец, домашнюю птицу, мула. Но стоило тому, кто ухаживал за живностью, втянуться и начать получать от своего занятия радость, как ему тут же давали другое задание. Только так — ни минуты покоя.

Разумеется, все это прекрасно развивало приспособляемость и укрепляло волю. Случалось, что нам за неделю удавалось поспать всего три-четыре часа, а бывало, что и один. Дни напролет приходилось копать, рыхлить землю, возить тачку, пилить или рубить деревья; нередко наутро так деревенели руки, что пальцем не пошевелишь. Попробуешь сжать кулак — так пальцы сами распрямляются с сухим треском. Занимаясь медитацией во время ночных бдений, мы попросту засыпали. Постоянное недосыпание чуть не привело к большому несчастью. В одну из ночей очень усердный русский, твердо решивший «пробудиться», занимался тем, что привинчивал болтами балки. Сам он сидел на пересечении горизонтальной балки с вертикальной, примерно в двадцати футах над землей. Вдруг вижу — он ухитрился там заснуть. Хорошо, что Гурджиев успел взлететь по лестнице и поддержать его. А то одно неверное движение — и он мог бы разбиться.

Среди интеллектуальных упражнений, которые мы выполняли на вечерних занятиях, были так называемые примеры. Давались такого типа «равенства»:

$$2 \times 1 = 6 \quad 2 \times 2 = 12 \quad 2 \times 3 = 22 \quad 2 \times 4 = 40 \quad 2 \times 5 = 74$$

и предлагалось найти закономерность, при помощи которой получались искомые результаты. В данном случае к первому произведению следовало прибавить 4, ко второму — 8, к третьему — 16 и так далее.

Или, к примеру, надо было мгновенно понять сообщение, переданное азбукой Морзе. Отстукивалось оно на фортепьяно. В результате все мы превосходно изучили азбуку Морзе. Или еще: читалась цепочка из двадцати слов, после чего надо было их повторить в том же порядке. Двое русских так хорошо натренировались, что могли повторить полсотни слов, не перепутав их порядка. Самостоятельной ценности каждое из этих упражнений не имело, но все вместе они развивали внимание и способность сосредоточиться.

По моему предыдущему описанию Института можно составить о нем лишь приблизительное и неполное представление, поскольку я еще не рассказал о его главном герое — Гурджиеве. Хотя события развивались совсем не так, как я ожидал (уже сам зал для занятий был каким-то странным, иноприродным, что ли), тем не менее в первые полгода я старался подавить или умерить зревшее во мне чувство протеста и ничему не удивляться. Вот какими соображениями я руководствовался: во-первых, подобный протест я считал «машинальной» реакцией на занятия, следовательно, грош ему цена. Ну а потом, возможно, я ждал, пока чаша моего терпения переполнится, тогда уж вспышка произойдет сама собой. Да и было увлекательно, всегда неожиданно, постоянно менять род своей деятельности, слепо повинаясь приказу Гурджиева. Правда, причины нашей готовности ему подчиняться я так и не мог понять до конца, и это меня тревожило. Мне казалось, что иногда ко мне, как и к другим, применяют некий род гипноза — оттого, видимо, мне и удавалось так легко справляться со своим критическим настроем. Воздействие гипнотизма на моих собратьев в глаза не бросалось. Да ведь Гурджиев и сам по себе был ярчайшей личностью — человека столь своеобразного мне еще никогда не приходилось встречать. Безусловно, он обладал множеством самых разнообразных умений. Да, поистине замечательная личность. Для меня как для психолога встреча с ним была выдающимся событием в жизни. И я твердо решил разгадать заданную им загадку.

Пришел день, и во мне все же зародилось противодействие его влиянию. Тут-то мне и пригодились все мои предыдущие наблюдения. А многие из них свидетельствовали, что каждый из посвященных в большей или меньшей степени подвергался гипнотизму.

Как-то Гурджиев собрался купить автомобиль. У многих это вызвало шок: бессознательно они опасались вторжения обыденности в их особый, необыденный мир, который они только что обрели. Но они еще и догадывались, что Гурджиев не умеет водить, — и догадка подтвердилась. Значит, надо научиться. А учиться, как прочим, для Гурджиева недостаточно. Некоторые посвященные, включая нескольких образованных англичанок, были уверены, что он должен повести машину, так сказать, по наитию. Гурджиев просто не имел права поколебать их наивную веру в его сверхчеловеческие, мистические возможности. Когда слышался жалобный и беспомощный скрежет шестеренок, они упорно твердили, что это учитель испытывает веру и преданность скептиков вроде меня. Кому под силу опровергнуть данный софизм, поколебать их наивную веру? Но я-то с внутренним удовлетворением и даже некоторым чувством превосходства убеждался, что Гурджиев радуется машине, как ребенок новой игрушке. Кстати, в первые же дни он ее чуть было не разбил, ну прямо как ребенок. В сущности, его откровенная радость не могла не вызвать симпатии (помню, как я радовался, когда впервые стал владельцем мотоцикла). Но одновременно мне оставалось лишь изумляться, какой власти может достигнуть человек, обретая магические атрибуты «Всемогущего Отца» или проецируя на окружающих свой, по терминологии Юнга, магический архетип. В результате подобного переноса люди теряют способность к критике, ибо и сами бессознательно стремятся подменить учителя Отцом. Гуру, как в Индии называют учителей, всегда прав. Он непогрешим. Каждый поступок мага имеет тайный, скрытый от всех смысл. Все — как раз о Гурджиеве.

Вот один пример: родители слабоумного ребенка вбили себе в голову, что Гурджиев может помочь их сыну. Приезжают из Англии, и через несколько дней у ребенка начинается понос, что, безусловно, связано с переменой питания. Казалось бы, дело житейское. Однако, к моему удивлению, эти вроде бы разумные люди заявляют, что Гурджиев приступил к лечению. То есть с помощью каких-то своих мистических спо-

собностей вызвал понос. Разубедить в подобных случаях невозможно. Самому бы не поддаваться увлечению такого рода софистикой.

А тут еще мои друзья из Общины вскоре стали меня донимать софизмами иного рода. Они денно и ночью убеждали меня, что мной овладела духовная гордыня и я, мол, этого не понимаю, потому что никогда не «работал» по-настоящему, то есть в полной мере и т. д. Я уже чувствовал, что мой отъезд не за горами.

Однако загадки личности, породившей ту самую проекцию, продолжала меня мучить. И наконец я пришел к выводу, что могущество и загадочность Гурджиева происходят от того, что он с поразительным упорством стремится к собственной тайной цели. У меня не было никаких догадок о том, какова может быть эта цель, однако я пришел к несомненному выводу, что она не имеет ничего общего с провозглашенной. А также и с моей собственной — помогать людям. Я чувствовал, что все это затеяно ради личных интересов. Придя к такому выводу, поделился кое с кем своей догадкой. Всерьез меня выслушал только один человек — писатель, личность весьма примечательная. Между нами завязалась переписка. Копий своих писем я не оставлял, но по выдержкам из его ответов можно получить представление об основных выводах, к которым я пришел.

«После того как мы с Вами расстались, мне удалось осмыслить свои многочисленные впечатления. Теперь я совершенно убежден, что все это не блеф. То есть что Гурджиев действительно обладает неким знанием и готов передать его двум-трем своим ученикам, которых сочтет достойным того.

Иначе говоря, Гурджиеву известен один из путей духовного развития. Только вопрос: какой именно? Существуют два пути: путь к Богу и путь к Власти (то, что индусы называют сиддхи). Так вот, по моему мнению, и так же думают мои друзья, с которыми я обсуждал этот вопрос, здесь речь идет о втором пути. Все методы и взгляды наставника, грубое обращение, пренебрежение любовью, милосердием, сочувствием и т. д. подталкивают на темный, дьяволический путь, которому обучают в некоторых монгольских монастырях. В каком-то из них, наверняка, и был посвящен Гурджиев. Когда избравший путь Власти (сиддхи) достигнет цели (если достигнет), окажется, что его душа навсегда закрыта для Бога. Он не сможет принести на «свадебный пир» важнейшего и насущнейшего — любви. Вы-то меня поймете, ведь то же самое и вы мне много раз твердили. Один мой знакомый глубоко изучил данный предмет, хотя и никогда не использовал свои познания. Он рассказывал, что во многих монгольских школах сознательно насаждают психологические издевательства, озлобление, грубость, брань (то, чего мы хлебнули у Гурджиева!). Но, кроме того, практикуется избивание — палкой, веревкой, кулаком. Допускаю, что в этом есть прок, однако обретается не Благо, а Могущество. Старуха Блаватская, учившаяся мудрости как раз в Монголии, славилась вспышками ярости, любила браниться и т. д. Путь, на который толкали подобные наставники, вел, или по крайней мере должен был привести, к власти над всей планетой. Если вам случится прочесть книгу «Beast, Men and Gods» («Звери, люди и боги»), обратите внимание на последние главы, где описывается Царь мира, они очень показательны. Не исключено, конечно, что мои умозаключения и догадки относительно Института и его директора могут оказаться ложными. Возможно, меня подвели и разум, и интуиция, но и то, и другое подсказали мне единый вывод, а на чем же еще основываться? Полное отсутствие любви и милосердия уже в самой учебной методике говорит о многом. Не приведет этот путь к Богу... Один из моих соотарищей утверждал, что такие добродетели, как любовь и милосердие, ничто без «власти». То есть если не имеешь власти, они бездейственны, попросту — сентиментальная болтовня. Если человек действительно об-

ладает даром любви и милосердия, то гурджиевские упражнения не лишат его этого дара. Я готов поверить, что Гурджиев способен кое-чему научить, но и убежден, что он или его инструкторы передадут свои знания только тому, кто их употребит в целях, преследуемых Гурджиевым, то есть — в дьяволических. А ведь большинство учеников до этого никогда не додумается. Вот какова моя точка зрения. Изложил вам ее с полной откровенностью, как у нас, помните, и водилось прежде».

На другое письмо мой друг ответил:

«Ваше письмо было исключительно для меня интересным. Читал, перечитывал, потом долго о нем размышлял. Очень важное для меня письмо. Теперь я окончательно понял, что такое Гурджиев и его Институт. Там постоянно тебе попадаются отметины копыт и рожек. С каждым проведенным там днем мои сомнения усиливались. Теперь я целиком и окончательно убедился в их обоснованности. Но всего до конца мы понять не сумеем. Гурджиев держится скрытно, и не без оснований. К нему не подступиться. Его мотивов мы никогда не узнаем. Но уверен, что они глубоко эгоистичны. Обещает он всегда больше, чем дает. Приближенные скорее боятся его, чем любят, это сразу бросается в глаза. Знаком ли Вам один русский по фамилии П., он недавно побывал в Институте? Я с ним лично не знаком, но слышал, что они с другом посетили Институт в прошлом месяце. Мне рассказывали, что ему приходилось каждый вечер запирается в своей комнате, чтобы всласть высмеяться. Но и он подтвердил, что на него произвела тягостное впечатление та самая всеобщая «запуганность». Ведь страх — главное чувство, испытываемое посвященными. «Все они рабы Гурджиева», — заключил он. Что же касается К., то я все больше убеждаюсь, что он остается в Институте потому, что уже «обратился». А может быть, от пресыщенности, отращения к жизни. Слишком слабый, чтобы сражаться с повседневностью в одиночку, он надеялся обрести поддержку, но тщетно. Что подтверждает и его упорное стремление отыскать «магическое» объяснение самому незначительному поступку и высказыванию Гурджиева.

Вернемся к более серьезным возражениям. Совершенно убежден, что добросовестный наставник никогда бы не пристрастился ко всей этой шумихе, да и не вызвал бы во мне такого стойкого и постоянно крепнущего недоверия. Мы сомневаемся во всем, но эти гурджиевские фантазии, театрализованные действия, признаки мании величия очень сомнительны. И это очевидно каждому».

Тому, кто прочитал данные соображения, станет ясно, почему я распросился с Институтом. И тем не менее я вовсе не утверждаю, что год, который я потратил на этот эксперимент, попросту для меня потерян. Во все нет, уверен, что мне было очень полезно приобщиться к гурджиевскому учению. Не описал я его лишь потому, что трудно поделить с другими духовными обретениями, полученными на личном опыте.

И все же я с величайшим удовольствием покинул Институт и вновь погрузился в, так сказать, «механическое существование».

## «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Рене Домаль умер тридцати шести лет 21 мая 1944 года. Еще через пару лет он стал знаменитостью. При жизни он успел опубликовать всего две книги: сборник стихов «Против» и волшебную сказку «Большая пьянка», в которой развенчал все современные способы познания и формы мышления. В 1952 году вышел его незаконченный рассказ «Подобный Горé», целиком в духе Учения Гурджиева, которым он увлекался с

двадцати двух лет. Этот рассказ получил весьма широкую известность. Когда я уже заканчивал эту мою книгу, вышел сборник эссе Домалья под названием «Всякий раз, когда занимается рассвет». Вот что писал о нем критик Андре Руссо в газете «Фигаро Литтерер»:

«Надеюсь, что Рене Домаль постепенно займет важное место в литературе XX века, принадлежащее ему по праву. К нашему стыду, при жизни он был его лишен. Пока еще мы только учимся понимать и любить эту личность, безусловно, призванную явить нашей эпохе героический образ человека, овладевшего основополагающими, сокрытыми от нас истинами, которые часто игнорирует современная культура».

Уверен, что читателю интересно будет выслушать двух старинных друзей Домалья, знавших его еще до того, как он увлекся Учением — Пьера Мине и Роллана де Реневиля. Пьер Мине упоминает также и Роже-Жильбера Леконта, своего соратника по литературной группе «Крупная игра», пытаюсь определить различие между двумя путями Познания. Из двух путей — «влажного» Леконта и «сухого» Домалья и других последователей Гурджиева — предпочтение он отдает первому. Но при этом нельзя утверждать, что Леконта он ценит выше, чем Домалья. Тут можно лишь строить догадки, так как прямого сравнения он избегает. Но в любом случае, мне кажется, письмо, которое я получил от Пьера Мине, поможет лучше понять личность Домалья, оценить героический выбор этого человека, определивший его жизнь и смерть.

Приведенное ниже письмо Пьера Мине очень многое объясняет.

## Письмо Пьера Мине

Я всегда считал Рене Домалья образцовой личностью, чуть ли не с рождения образцовой. Я и сейчас не просто люблю его, но и преклоняюсь перед ним. В юности, когда нам было по восемнадцать, мне доставляло наслаждение просто за ним наблюдать. Я робел в его присутствии, но даже и это чувство робости было упоительным. Он как бы пребывал на кромке той жизни, к которой он же и научил меня страстно стремиться, — бытия умиротворяющего и смиряющего. Когда мы говорили с Домалем об этом, я чувствовал себя ребенком, смутно ощущал свою беспомощность, когда надо было отыскать нужные слова. Если меня внутреннее раскрепощение вело к хаосу и бреду, то Домалья — к спокойной мудрости, воплотившейся даже и в чертах его лица. Однако в скупости его мимики словно таилась насмешка над самим собой, и стоило ему улыбнуться, как все лицо его приходило в движение. Это давало мне возможность всякий раз угадывать причину его веселья, распознав которую, я еще больше восхищался моим другом. Дело в том, что мой смех был самопроизвольным, бессознательным, неподконтрольным. Его же — высказыванием, едва ли не Учением. Я понимал его мысль, явившуюся на свет сразу точной и ясной.

С тех пор минуло четверть века. Казалось бы, все кануло в прошлое. Но нет, мои чувства по-прежнему живы. Я прочитал исключительно сильный рассказ Домалья «Подобный Горе», который мог бы сделать еще большим мое преклонение перед автором, если бы такое было возможно. В своем рассказе он добросовестно и на редкость талантливо доказал, что Познание — самая «нелитературная» из всех дисциплин, совсем не допускающая вымысла. И в то же время его рассказ свидетельствует, что именно Познанием он занимался упорно и с пользой. Так что лично я мог бы самым горячим образом одобрить рассказ, если бы сумел отвлечься от некоторых его моментов. Увы, для меня Домаль не только могучий ум, один из немногих осуществившихся людей нашего времени, но и перебежчик из стана тех, кто решился на при-

ключение духа, более суровое, более благотворное, более человеческое, чем оно предстает в его незавершенном рассказе «Подобный Горе».

Я прекрасно понимаю, на что иду. Знаю, что поднимать — и уже не в первый раз — этот вопрос опасно, что я рискую прогневать тех, кто полагает, что в наши дни нет иного пути, чем тот, что избрал Домаль. Подобные, разумеется, и слушать меня не пожелают. Что ж, я иду на это. Но все удары, которые на меня обрушатся, некоторые и по заслугам, не помешают мне сказать правду. И вот какова причина моего упорства: я все больше убеждаюсь, что остался единственным, кто способен разоблачить эту застарелую ложь. Если не решусь теперь, потом будет поздно.

Я сказал: более суровое, более благотворное, более человеческое. Поистине так. Между путями, что избрали Рене Домаль и Роже-Жильбер Леконт, существует безусловное и очень показательное различие. Умершие в одном возрасте, оба они поначалу относились к жизни весьма настороженно и вдумчиво. Заверяю, что уже лет в пятнадцать их мысль устремилась к заповедной стране Познания. Тогда мне приходилось слышать от них суждения, отличавшиеся глубиной, редкой и для зрелого человека. В отличие от меня, они не чувствовали особой склонности к бунту. Их умиляло мое бунтарство, но сами они считали бунт бессмысленным оттого, что он не способен был дать ответ на мучившие их вопросы, а больше их ничего не интересовало. Казалось, что в моих сумасбродствах они участвуют по доброй воле, но я не обольщался — это была как бы их уступка мне, единственная возможность общаться со мной на равных. И я еще преданней любил моих друзей — как раз за их превосходство надо мной, за их способность воспарять в духовные выси, за то, что у них было так мало общего с миром земным.

Если не ошибаюсь, наиболее мучительный для Жильбера Леконта период начался в 1925 году. В ту пору он смотрел на окружающий мир одновременно умиленным, строгим и разочарованным взглядом юного лорда, мучимого сплином. И в то же время он оставался человеком весьма чувствительным, тонко чувствовавшим поэзию в самом широком смысле слова. Уверен, что одна из причин его драмы, в сущности, в том и состояла, что ум Натаниэля (так мы называли Жильбера) находился в противоречии с его чувствами. С одной стороны, ему, прозревшему, внешний мир казался смехотворно скудным — следовательно, было необходимо его изжить. Но с другой — он не мог оставаться совсем уж равнодушным к его красоте. Можно было восхититься безразличием Натаниэля к обыденному существованию, но в то же время свойственный его поступкам автоматизм превращал его порой в робота. Думаю, для меня было большой удачей наблюдать вблизи подобного рода недоедание, почти играть в него, резвиться поблизости, попеременно — его исследовать и в него вовлекаться. Но и Натаниэль чувствовал себя ученым-исследователем. Свойственные его мышлению беспристрастность и неторопливость подчас сковывали его мысль, зато спасали от разного рода превратностей. Натаниэль тщательно обдумывал каждый свой поступок — с исключительным хладнокровием, не торопя, не испытывая нетерпения. Жильбер, в противоположность Домалю, как раз в то же самое время привнес в свой духовный поиск, может быть, даже излишнюю дерзость: так страстно вождедел он бытия. Жильбер прекрасно понимал, сколь многим ему придется пожертвовать, но был уверен, что обрести себя можно, только сперва потеряв. Ему было не до шуток — ирония поставила бы под сомнение все его достижения, и восхождение превратилось бы в «скатывание к вершине», что ли... Но прервусь. Сейчас я говорю именно о различии этих людей, о том, что их разделяло. Многие же уверены и пытаются убедить других, что все различие в том, что один употреблял наркотики, другой — нет. Дело не в наркотике. Наркотик убил Жильбера Леконта, но все же помог ему вынести.



душевную пытку, на которую он себя добровольно обрек. Мне кажется, тут уместна цитата: «Приверженность Жильбера Леконта той вере, в которой он был воспитан и которая наверняка подрезала бы ему крылья, уже шла на убыль. Она превратилась в огонь, на котором он сгорал. Если бы всю свою страсть он обратил на искупление грехов, то ему уже не хватило бы сил воспрепятствовать самосожжению. Если бы он не изжил своей детской веры, то результатом его тщательного самоисследования стали бы лишь беглые заметки да обрывочные свидетельства. Но вместо того, чтобы обуздать свою мысль, он преодолевал тяжкий путь познания, как больной — течение своей болезни. Тогда как другие ограничивались одним лишь созерцанием, неуклонно погружаясь в слабоумие, он сохранял полную, хотя и ненужную, ясность мысли. Причиной его падения были не слабость и не лень: его плоти, изнуренной пагубной страстью, отравленной наркотиком, было не под силу вынести могучее напряжение духа. Иногда ему удавалось каким-то чудесным образом вынырнуть из собственных глубин, тогда он в стихах повествовал о своих видениях. Он походил на тех мистиков, что растворились в созерцании, но его созерцание воссоединяло его только с самим собой — все больше он погружался во мрак, в который упорно вгрызался, пытаясь пробурить его насквозь...»

Обрывочные свидетельства?.. Да нет же! Творения Жильбера Леконта, опубликованные посмертно, позволяют назвать его крупнейшим поэтом последнего тридцатилетия. Этот, прозвучавший на весь мир, крик адской боли свидетельствует, сколь огромный путь удалось в одиночку одолеть Леконту.

Собственно, вот к чему я веду. Мне хочется противопоставить два пути духовного познания — Домалея и Леконта. И хотя бы немного осадить, призвать к порядку некоторых метафизиков, присяжных защитников той сомнительной точки зрения, что следует жестко экономить свои эмоции, с полным недоверием относиться чуть не к любому проявлению чувств, презирать «праздные» размышления, проявлять исключительную нетерпимость к страстям и вообще ко всему, что ничуть душу не возвышает, — сколь бы возвышенна сама по себе она ни была: последствия таких убеждений могут быть самыми пагубными. Они уверены, что предоставленный самому себе человек — не более, чем робот, и спасти его могут только дисциплина, благоразумие, здравый расчет. Данное учение лишает надежды, отвергает любые порывы — даже великодушия, бескорыстия. А для человека, для которого жить означает любить, — это гибель. Правда, не окончательная, он еще может возродиться, было бы желание. Знаю немало таких, кому это удалось... Но ведь не о том речь. Стоило Домалею познакомиться с Александром де Зальцманном и всей гурджиевской группой, как он тут же разочаровался в Леконте, осудил его путь и посулил ему неминуемый крах. Он мгновенно отрекся от своих духовных исканий, тяжелого и рискованного восхождения — чем далее, тем более мучительного. Он устал плутать в ночи, освещаемой лишь редкими вспышками видений, где нет других ориентиров, кроме собственных ненадежных умозаключений. Он отказался от индивидуального пути, решив, что тот — ложный, и решительно ступил на коллективный путь, стал прилежно следовать Учению. Не исключая, что тут сказалась свойственная ему мягкотелость, ведь Учение в первую очередь требует повиновения, отречения от собственной личности, которая что-то вроде излишней роскоши или, точнее сказать, залушки. А воссоздать себя можно только с помощью сосредоточения... Довелось и мне приобщиться к этому Учению. Свидетельствую, что оно очистило мою душу, то есть помогло прийти к здоровым решениям. Безусловно, этот путь весьма полезен — жизнь становится осмысленной. Но и только. Ты словно солдат в дозоре — не способен восхититься окрестностью, она для тебя лишь объект наблюдения. Жизнь от этого

обедняется, лишается своей гениальности, красоты и тепла. Перед тобой единственная цель — достигнуть ясности сознания, подчас очень мучительной, а все, что тому не способствует, твой разум считает чем-то враждебным — лишним напоминанием о твоей ничтожности, ведь достигнуть цели невероятно трудно. Собственно, достичь идеального состояния и нельзя — можно только последовательно приближаться к совершенному знанию, достаточно абстрактному, которым, кстати, и не овладеть.

Рассказ «Подобный Горе» в метафорической форме, роднящей его с лучшими философскими сказками XVIII века, в общем-то повествует именно о такого рода духовном поиске. Я не собираюсь делать критического разбора, потому не стану подробно говорить о выдающихся достоинствах этой книги, о чеканности стиля, сатирической мощи отдельных ее страниц. Заканчивая письмо, хочу только поделиться одним весьма тягостным чувством, которое она оставила: по отношению к самому любимому мною человеку, память о котором для меня священна, допущена несправедливость. Если бы речь шла о другом, я наверняка промолчал бы. Увы, Жильбер Леконт, совершивший необычайно крутое восхождение, оказавшееся непостоянным для его сотоварищей по группе, так и останется неизвестным потомству. А имя Рене Домале огненные выбито на доске почета новой духовности. Так оно обычно и бывает. Но лично мне довольно трудно с этим примириться.

*Пьер Мине*

### Письмо Роллана де Реневилля

Мне кажется, что когда я познакомился с Домалем в 1929 году, он уже основательно знал метафизику, был хорошо знаком с дальневосточной философией, как и Р.-Ж. Леконт, как и я сам. А поскольку философия Гурджиева немало позаимствовала из дальневосточной мистики, вряд ли гурджиевское учение явилось для Домале интеллектуальным откровением. Следовательно, не думаю, чтобы оно повлияло на его последующее творчество.

Видимо, в гурджиевской группе Домале привлекла возможность «практического применения» своего миропонимания. По крайней мере, он на это рассчитывал.

Лично я испытываю крайнее недоверие к тем, кто громогласно объявляет себя Учителем. И тем более не верю в духовное посвящение, которое может получить любой желающий — только внося ежемесячную плату (нечто на манер курсов Пижье или вечерней школы). Возможно, я и не прав. Это всего лишь ощущение, в котором я, однако, весьма укрепился с тех пор, как Домаль начал посещать группу Гурджиева. Мне довелось его наблюдать в самом начале увлечения Гурджиевым, когда его энтузиазм граничил с полной нетерпимостью к чужому мнению. Правда, потом он «притих» и стал более широк, что больше соответствовало его натуре. Кстати, в учении Гурджиева ни малейшей широты я не обнаружил. А если основываться на достаточно подробном его описании Успенским, то, по-моему, оно отвергает и любовь. Я не утверждаю, что оно вовсе не несет «Знания». Но, как известно, плоды древа познания без любви несут в себе зародыш смерти. Извиняюсь, что отступил от темы. Это мое личное мнение, возможно, вызванное плохим знанием предмета — очень боюсь оказаться предвзятым.

*А.-М. Роллан де Реневилль*

В июне 1946 г. газета «Фонтэн» под редакцией Макса-Поля Фуше опубликовала хвалебный отзыв о Рене Домале и его неизвестное сочинение под названием «Священная Война».

Это — воспоминания автора о занятиях в гурджиевской группе. То есть о том самом приключении, которое я попытался с доступной мне яркостью и пронизательностью описать на предыдущих страницах. В сочинении Домалья содержится вроде бы и безнадежный призыв к подлинному поэту, то есть поэту столь же ответственному, как тот, кому посвящена эта глава. К человеку, который способен не только что-то осознать, но и со-творить. «В истинной поэзии слово и есть названный им предмет». Если пробудившийся именуется предмет, то тем самым он дарует ему абсолютное бытие. А значит, любой другой и не способен стать поэтом, повелевать словом. Наша уверенность в своей способности творить, вера в свои силы — заблуждение, пустая претензия. Либо Слово становится плотью, либо оно ложно. Тем самым Домаль объявляет, и не без мрачного удовлетворения, что отныне умолкает навсегда. Или, вернее, что отныне, если он и произнесет слово, то лишь как призыв к самому себе вступить в сражение с самим собой, как боевой клич на битву со своими чувствами, мыслями, настроениями, знаниями, творческим честолюбием. То есть со всем, что составляет его индивидуальность. Раскроет рот только для того, чтобы приказать себе замолчать. В очередной раз он разоблачает наше творческое бессилие. Философия, наука, религия — все это не для тех, кто живет бессознательно, кто не решился на «священную войну». Никакое вдохновение тут не поможет. «Поскольку вдохновение только тогда действительно, когда Бог растаял в высях, когда противники твои — лишь некие неоформленные силы, когда сражение уже разгорелось. А пока все еще тянется наш блаженный отдых». Что же нам остается? Пребывать немыми, пока не выйдем на «Священную Войну» — в этом, собственно, и заключалась наша «работа» у Гурджиева. «Любое мое слово будет обращено к самому себе. Я призову себя к Священной Войне. Я громогласно разоблачу предателей, мной же и вскормленных. Я буду стыдить себя до тех пор, пока не добьюсь полной победы. Тогда и воцарится вооруженный мир в стане победителя».

О будущем мире он говорил с торжественностью, в которой подчас сквозила интеллектуальная заносчивость. Она же, а не простодушие, была причиной подчеркнутой прямоты его высказываний. Не думаю, однако, что сам Домаль достиг подобного мира. Для него то был бы не мир, а смерть. Перечитывая «Священную Войну», я ощущаю на каждой странице тоску поэта, готового принести в жертву — возможно, бесполезную — свободу и радость творчества.

Но как бы то ни было, его сочинение прозвучало как «встань и иди» для всех мыслящих людей, которых мне приходилось встречать в «группах». Поэтому не могу не упомянуть о нем в моем сборнике. Это слово правды насущно необходимо любому сообществу, посвятившему себя поиску истинного бытия. Однако некоторые последователи Гурджиева такой необходимости вовсе не чувствуют. Когда я уже заканчивал данную книгу, они довели до моего сведения, и с немалым озлоблением, что запрещают мне использовать сочинение Домалья. Гурджиевская группа с холодным бесенством отвернулась от моей книги. Впрочем, они поступили логично, они ведь делают все, чтобы сохранить свои тайны от своих же сотоварищей, в том числе тайны гибели посвященных. И все же мне хочется водрузить «Священную Войну» как хрустальное надгробие над моим сборником. Рискну процитировать несколько строчек из этой поэмы, относящихся ко мне и Гурджиеву, тех самых, что привел Жан Полан в недавнем номере «Нувель ревью франсез»\*:

\* Н. Р. Ф., январь 1954 г. Приводя цитату, Жан Полан особо подчеркнул: «Домаль был учеником и последователем Гурджиева, влияние учения которого чувствуется во многих строках «Священной Войны».

«Объявивший войну себе со своими ближними в мире. Пусть он отдает все свои силы жестокой битве — в самых сокровенных его глубинах царит всепобеждающий мир. И чем глубже тишина и покой, царящие в сокровенных глубинах, в самой его сердцевине, тем более рьяно бьется он с разногласием ложных мнений, с бесчисленными заблуждениями.

Среди глубокого затишья пребывающий там, куда не доносятся звуки сражения, своей вневременностью защищенный от напора внешнего, вечный победитель прислушивается к голосу иных затиший. Одинокий и осознавший свое одиночество, теперь он в своем одиночестве не одинок. Но между им и мной — целая армия призраков, которых я обязан уничтожить. О, смогу ли я овладеть той твердыней? На этих укреплениях я лег бы костями, чтобы только шум не ворвался в королевские покои...»

## СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ

Мы познакомились с Полем Сераном, когда я редактировал газету «Комба». Он тогда трудился в отделе международной политики. По ночам, после того, как был уже готов тираж для провинции, нам с ним частенько удавалось поболтать, пока печатался парижский выпуск. Сидели мы в кабачке на углу Монмартра и улицы Круассан, том самом, где застрелили Кораса. Беседы проходили под вечный рев моторов — тяжелые грузовики заполняли улицу. Сидим за стойкой бара среди коллег, обалдевших от постоянного напряжения, у них даже ноги заплетаются, когда они встают за очередной порцией коньяка или бросить монетку в музыкальный автомат. А вокруг — дети парижской ночи: шлюхи, клошары, пьяницы, безумцы. За окном чернильная темень, а в ушах все стоит треск линотипов и скрежет ротаторов. Именно тогда нашло на нас помрачение рассудка — не рассуждая ступили мы на тяжкий путь. Ибо «работа» с Гурджиевым требовала наивысших усилий, дабы расчистить в своей душе пространство покоя и свободы. Пребывая в самой людской толчее, слыша грохот машин, что распечатывают ложь и бред, которыми ежедневно пичкают человека, мы рассуждали о Традиции, о мужественном уходе Рене Генона, об учении гностиков, о технике медитации. Мы стояли, облокотившись о стойку бара, о которую разбивался девятый вал обманчивой реальности.

Навсегда у меня останутся в памяти эти чудные беседы, а в душе — чувства, ими рожденные. Тихо, шепотом, под шум машин, убивающих разум изможденных людей, ставших их рабами.

Полю Серану было, как и мне, за тридцать. Ночные разговоры, как те, времен «Комба», любили все парни нашего вечно распинаемого поколения, которому досталось преодолевать самые тягостные противоречия века. Пересказывать эти беседы я пока не стану.

Поль Серан опубликовал роман «Ритуальное убийство», посвященный его собственному и его супруги общению с Гурджиевым. Совсем недавно вышли в свет его комментарии к Рене Генону. В нашем поколении он один из лучших знатоков так называемого «традиционного» сознания.

Итак, вызываем свидетелей обвинения.

### Рассказывает Поль Серан

Почему я пришел к Учению? Отвечу на это словами Фернана Ди-вуара по поводу оккультизма: «Потому, что я созрел до него. И все тут». Тем не менее слегка поясню.

Закончилась война. Франция вернула себе свободу. Да и я свободен, как птичка. Иго семьи и школы позади — гуляй на все четыре стороны, избирай любое занятие. А на душе все-таки хмарно, не в радость обретенная воля. Душно, весь мир клокочет безумием и злодейством. А что впереди? Власть Советов, атомная война? А может, и то, и другое. Притом была возможность «продаться», хватало партий, готовых платить вперед или сдельно (последнее чаще). Но я был тверд, уроком послужила печальная участь дельцов времен оккупации, всех этих «коллорабационистов». До поры до времени они жирели, а потом над ними была учинена жестокая расправа, и богатство не в прок. Вот чем кончаются попытки «пристроиться» во что бы то ни стало. Да и не такой уж я был циник, чтоб увлек меня соблазн половить рыбку в мутной воде. Короче, окружающий мир меня ничем не прельщал, и я обратился к духовному, вечному.

Я был воспитан в христианстве, но оно не умиротворяло душу. Не сохранившая себя в чистоте среди всех мерзостей века Церковь не способна была удовлетворить мои духовные потребности. Надо сказать, что мое религиозное воспитание было чересчур сентиментальным, что порождало протестные сентиментального же свойства. Разумеется, они иссякли, когда я приобщился к грандиозным творениям мистиков и томистов. Но интеллектуальные радости еще не способны были придать существованию смысл. Теперь вы понимаете мое преклонение перед человеком, убедившим меня, что есть способ выпутаться из западни, избавиться от морока повседневности, обрести подлинную свободу. Учтем — наиболее серьезным из «обвинений» против религии для меня было то, что она вовсе не предлагает мирянам ни методики, ни учения, помогающих достигнуть того самого Озарения, о котором повествовали ее мистики и святые. Не будучи специалистом, я, однако, не сомневался, что не только на Востоке, но и на Западе существуют надежные способы психофизической тренировки, предназначенные для развития духовной жизни. Обнадеживало и то, что мне приходилось слышать об исихазме. Что ж, Гурджиев так Гурджиев!

Необходимость особой методики для достижения духовных состояний кажется дикой тем, кто не взыскует духа. Конечно, они не пережили чувства, когда тревога заполняет все существо и нет другого выхода, как беспощадно осудить все, чем ты жил и живешь. Когда такое накатит, а покончить с собой нет сил, ухватишься за любую соломинку, чтобы спастись.

Итак, я стал регулярно посещать гурджиевские группы. Вам любопытно, чем там занимались? Вы правы, занятия были довольно увлекательны, но припомнить их в точности я вряд ли сумею. Не из целомудрия (тут же оговорюсь, что не был свидетелем ни малейшей непристойности), а потому, что слова бессильны описать духовный опыт.

Вот как проходили занятия. Собиралась небольшая группа — пять, десять, от силы двадцать учеников. Занятия проводил «учитель», сам предварительно прошедший обучение у Г. Он воспитывал наше сознание. Сперва необходимо было понять, что до сих пор мы жили совершенно бессознательно. Во всех отношениях и во всех сферах: физической, эмоциональной и мыслительной. Мы никогда не были свободны, ибо отождествляли себя с собственными душевными порывами, настроениями, со зрительными образами. В этом смысле Учение стоит сравнить с психоанализом и марксизмом. Подобно тому, как психоанализ самые возвышенные переживания считает лишь сублимацией либидозных влечений, а марксизм в религиозной вере видит следствие общественных отношений, так и Учение объясняет все наше повседневное существование — в первую очередь духовное, не «внешнее» — воздействием неких сил, над которыми мы не властны. Учение помогает овладеть ими, то есть дает ключ к подлинной свободе.

Но как же вырваться из-под власти этих сил? Учение советует: ни с чем себя не отождествляйте. Вам следует покончить с бессознательностью собственного существования, пристально наблюдайте за собой и происходящим вокруг. Идете вы, к примеру, по улице, так попытайтесь, хотя б ненадолго, отвлечься от окружающего, от своих мыслей и целиком сосредоточиться на себе самом. Попали в шумную компанию — постарайтесь в самый разгар беседы повнимательней приглядеться к присутствующим как бы со стороны. Попытайтесь определить, соответствует ли образ жизни каждого его же воззрению. Да и до тех сам ли он додумался? Порождение ли это его разума или следствие определенного воспитания, строения психики, врожденных склонностей? Такие упражнения на внимание Учение называет «пробуждением».

Они вовсе не так просты — прежде необходимо научиться правильному расслаблению. Постоянная работа сознания — наилучшее средство овладеть собственными чувствами и мыслями. Однако и способности расслабиться научиться нелегко. Нас обучали расслаблению особого рода, более глубокому, чем требуется спортсменам, расслаблению одновременно и тела, и духа. Причем совместная «работа» здесь полезней самостоятельной. В одиночку подобное подвижничество невозможно, постоянно отвлекаешься; общество же единомышленников вдохновляет, в группе трудятся куда усерднее.

«Усердие» — вот оно, дивное слово, которое мертво для неприобщенных, но не для нас, опьяненных Учением, даровавшим надежду, явившим истину в духе и теле. Этим событием мы были захвачены, как никогда, особенно когда явственно ощутили, что изменилось не только наше «мировоззрение», а произошли глубинные перемены во всей духовной жизни. Казалось, усилия наши вот-вот сполна вознаграждаются, близок миг окончательного освобождения, которое в китайской традиции называется «возвратом к собственному естеству».

И все же я порвал с Учением. Спросите, почему?

Во-первых, некоторые свойства моей личности мешали мне глубоко его усвоить. Человек я крайне подозрительный, ни в одно дело не кидаюсь очертя голову. Подозрительность и рассудочность способствуют моим постоянным «сменам вех», к которым так призывает Монтерлан. Представьте, уселся я на пол вместе с другими учениками, — занятия мы всегда проводили, сидя в позе «лотоса», удобной для расслабления, — а в голове мысль: «Какого хрена я тут делаю? Мог бы вместо этого что-нибудь написать, в кино сходить или просто прогуляться с девочкой по набережной Сены». Учитель, впрочем, был не столь наивен, чтобы недооценивать силу подобных соблазнов, которые именовал «вредными влечениями». Однако от этих самых влечений мне так и не удалось полностью избавиться. Да и всегда я считал, что критичность только способствует духовному росту. Не было у меня охоты кому-либо слепо довериться. (Просто счастлив, что тогда удалось сохранить самостоятельность.) Сейчас, по прошествии пятнадцати лет, знаменитое «Поглупейте!» Паскаля меня порядком озадачивает. Посоветуйте неверующему: окропись святой водой, бей поклоны, посещай службы — вот и веруешь. Не получится, разве что он уже поколеблен в своем неверии.

Представляю, какой вой вызовет мое упоминание Паскаля среди тех, кто не признает права на иное мнение. Возопят, что я не смыслю в Учении, оно-де не имеет общего с религией, напротив, призывает ничего не принимать на веру, основываться только на собственном опыте. Ну, разумеется. Однако посвящает себя Учению лишь вдохновляемый надеждой, сильно смахивающей на веру. Такого рода вера мне претит, ибо по ней выходит, что величайшие творения искусства и мысли — лишь следствие неких «процессов» в мозгах безответственных и непрощенных личностей. Что-то в этом есть подозрительное.

Когда же я стал замечать, что большинство моих сотоварищей, причем тех, кто приобщился к Учению раньше, обладает непривлекательными свойствами, мои подозрения укрепились. Я обнаружил, что напряженная духовная работа породила в них некую смесь сомнений, эгоизма и спеси (точнее, довольства собой). Кто из смертных от этого уберется? Но печально, что тут все возвращалось намеренно, под названиями не-отождествления, просветления духа, самосознания. А как же, стоит усвоить истину, что все люди — машины, а ты — уже иной, как является величайший соблазн: коль они машины, не использовать ли их соответственно? Отделение себя от прочих весьма способствует сомнению.

Отсюда духовное перерождение, куда более опасное, чем *собственно* аморализм. Макиавелли рекомендовал государственным деятелям ложь и коварство, но не как путь к духовному совершенству — напротив, в качестве печальной обязанности для всякого реального политика. Мол, таковы люди, увы, иначе ими править невозможно. Или, к примеру, Дон Жуан, стремясь соблазнить всех женщин на свете, вовсе не воображал, что посредством этого взойдет к святости, наоборот, пожертвовал всем святым во имя похоти. Оба они и не думали посягать на основы морали. Иерархия ценностей непоколеблена. Добро остается Добром, Зло — Злом. Когда же Добро именуют Злом и наоборот, тогда и возникает истинная угроза для духовного здоровья.

Вред от подобной путаницы вряд ли поправим. Она, думаю, и стала причиной немалого числа душевных драм. О некоторых из них я расскажу.

Несмотря на все поводы для подозрений я продолжал «работать» (так называлось это в группах) еще некоторое время. Способы медитации подчас вызвали мои возражения, но в целом я считал, что медитация идет на пользу. Какое отдохновение давали мозгу эти чередующиеся образы, заполнявшие все сознание! Будто паришь в иных мирах, поведать о которых слово бессильно. Учение именует такие состояния ощущением «я» (ложное «я» враждебно истинной *Самости*). Примите на веру, они недоступны речи. Когда групповые занятия выявили мои возможности, я был допущен к изучению «движений». Речь шла об особых гимнастических упражнениях, помогающих достигать уже упоминавшегося расслабления. Что это были за «движения»? Припомнить в точности нелегко. Двигались мы под странную музыку, сочиненную самим Г. Система упражнений, разумеется, принадлежала ему же. Единственное, в чем могу заверить, что она требовала не меньших духовных усилий, чем физических. А цель, как и цель расслабления, — познать «на собственном опыте» нерасторжимость духовного и физического уровней существования. Помню, что из всех упражнений наитруднейшими были те, совершая которые одни мышцы следовало полностью расслабить, другие из всех сил напрячь. Усилия должны были прилагаться сознательно, иначе успех невозможен, как и в дзюдо (не все знают, что оно предназначено для развития не только тела, но и духа). Еще помню, что некоторые движения, совершаемые с огромной скоростью, были доступны лишь немногим, из числа давних учеников. Говорили, что Г. позаимствовал их у дервишей.

Наконец настал час высшего посвящения в Учение: я был приглашен на обед к Г. Забавное приглашение, и обед забавнейший! Стол у Г. был явно маловат, чтобы уместиться всем гостям: за ним расположились лишь самые приближенные. Прочие, и я в их числе, были вынуждены есть стоя, столпившись возле «учителя», дабы не пропустить ни единого его слова и жеста. Г. на всех, кто его видел впервые, производил обескураживающее впечатление. Разве что его пронзительнейший взгляд: вдруг как глянет — и весь ты у него как на ладони. А так, по

внешности и сложению, скорее смахивает на Тараса Бульбу, чуть, разве что, раздобревшего, чем на «духовного наставника». Как-то мне случилось посетить Ланцо дель Васто, и никаких неожиданностей: он и рта не успел раскрыть, а я уже ясно понял, кто передо мной. Нет, не таков был этот кавказский старик с непомерным черепом, говорящий на невообразимом жаргоне, щедро рассыпающий крошки перед всеми глупцами на свете. Даже лучшие из его учеников в силах лишь слабым голоском поддержать громоподобный хохот этого подлинного кудесника!

После застолья, изрядно выпив водки и отдав дань всему богатству русских кушаний, мы выслушали главу из пространной книги Г. (кажется, она уже вышла в Америке) «Рассказы Вельзевула своему внуку».

Мы расположились на полу вокруг ттеца, причем в самых неудобнейших позах. Сам же Г. погрузился в глубокое кресло и смолил сигареты одну за другой (уточню — «Сельтик»; предложенные как-то одним из учеников «Голуаз» отверг, обозвав дерьмовыми). Отдельные пассажи из собственных сочинений его веселили, и время от времени он раздражался своим могучим хохотом. Этот смех, вроде бы не к месту, учеников всякий раз ошарашивал.

Следующие два-три раза, что я бывал у Г., собрания проходили схоже. Поразительно, что между учителем и учениками был исключен диалог. Последние в его присутствии будто впадали в оцепенение. Как-то мне довелось побеседовать с Г. лично, чего добиться труда не составило. На вопросы мои он отвечал охотно, но и не без осторожности и лукавства, каковая смесь производила сильное впечатление.

Но не странности Г. подвигли меня отойти от «работы». Так же и не дурные качества некоторых посвященных, не протест разума. Я прекратил работу, ибо та не врачевала мою душу.

Уже говорилось, что я посвятил себя Учению, чтобы прежде всего избавиться от постоянной, полной отчаяния тревоги. Можно ли в ней винить Учение, уподобляясь больному, который после года безуспешного лечения заключил: «Печенка у меня болит только по вине этого чертова лекаря Х»? А доктор Х — как раз специалист по болезням печени, к которому больной обратился. Нет, не Учение породило мою тревогу, но оно видоизменило ее, сделав в чем-то еще более тягостной. Безусловно, окружающий мир меня уже трогал куда меньше, но необходимость быть постоянно сосредоточенным на себе самом в конце концов стала вызывать невыносимое отвращение. Как я мечтал о свободе от внешнего мира, так теперь мне бы освободиться от себя самого! Вместо того, чтобы разорвать цепи «бессознательности», не выковал ли я их еще и попрочнее, так как лишился непосредственности чувств и порывов, столь скрашивающих жизнь? Непосредственность, оказалось, присуща одним «машинам». Возможно, я и перестал быть «машиной», но не избавился от тоски по прежнему состоянию! Я добросовестно стремился разорвать все пути, но не страшнее ли тирания собственной личности? Ведь все и всё мне было безразлично, кроме меня самого.

Конечно, подобное ощущение и вообще нелегко описать, да и времени прошло порядочно. Но никак я не мог отвязаться от вопроса: кому все это нужно?

Прежде я отвечал: моему истинному Я. Но ведь, согласно другим учениям, человек должен принести себя в жертву чему-то более высшему, чем он сам. Это «высшее» Учение Г. помещало внутрь меня, именуя мной «я». Но сколько я ни погружался в собственные глубины, оно, это «высшее», не обнаруживалось. А находки не вызывали ничего, кроме омерзения.

И все же в том, что я прервал «работу», были свои издержки. Об-



разовалась некая пустота: в какое бы состояние ни ввергало меня Учение, оно захватывало все существо. Долгое время я ходил как неприкаянный. Притом что чувство омерзения никуда не делось. И уже не возмещалось той пользой, что, несмотря на все, приносила ежедневная «работа».

Вправе ли я целиком перечеркнуть Учение? Это был бы наилучший способ отмахнуться от серьезных вопросов. Воспользуюсь случаем объяснить по поводу романа «Ритуальное убийство», вышедшего три года назад, который я посвятил Андре Френо. Этот роман, написанный вскоре после моего разрыва с Учением, просто взбесил многих посвященных. Но если его сюжет и навеян воспоминаниями об ученичестве (а воспоминания — главный материал для любого беллетриста), то это отнюдь не автобиография, пусть и замаскированная. Речь идет о целиком придуманной истории о том, как влияние «духовного наставника» загубило любовь юной пары. В результате девушка покончила с собой, юноша превратился в циника. Некоторое сходство словаря «наставника» с гурджиевским еще не повод искать в нем прямое изображение Г., а также заключить, что влияние Г. я считаю пагубным. Романист, избравший плохого священника, непременно ли враг Церкви и христианства? Но Учение все иные взгляды считает вредными и держит их на подозрении. И в то же время названная публика постоянно чувствует некую угрозу. Я, мол, оплевал посвященных, издал клеветническое сочинение. Со стороны оно, конечно, виднее! Просто смех — бедные мальчики и девочки почли своим долгом обойти книготорговцев и умолить их отказаться продавать столь вредную книгу. Короче, был организован саботаж. Словно Цензурная конгрегация Сен-Жермен-де-Пре внесла мое сочинение в список запрещенных. Людей старательно убеждали, что даже заглянуть в книгу, содержащую грубый выпад против Учения, негоже. Что, впрочем, не помешало ей дойти до всех, для кого она представляла интерес.

Подобная контратака навела меня вот на какую мысль. Не потому ли посвященные так взбеленились, что я попал в точку, растравил их рану, указав на все опасности, таящиеся в Учении? Уточню: злобствовали фанатики Учения — отнюдь не утверждаю, что по приказу тех, кто возглавил группы после кончины Гурджиева. Бесились парижские мещане, о которых точно сказал Макс Жакоб: «Они взыскуют веры. Готовы стать кем угодно: буддистами, мусульманами, христианскими сциентистами, хоть учениками г. Дюран, неовегетарианки с улицы Вобур, лишь бы не католиками». Уважаемый Макс Жакоб мог бы пополнить перечень «посвященными в Учение». Общий недостаток сектантов — чувство собственной значимости: все, как один, против них злоумышляют, будто и дел других нет. (Так издатели газетки, не набирающей и полтысячи тиража, уверенно заявляют: «Это правительство мерзавцев было вынуждено уступить нашим требованиям». Словно тому только и забот, что читать подобные листки.) Чтобы закончить с романом, выскажу собственное предположение, вполне основательное: если был бы жив Г. и его прочитал, роман не только бы его не возмутил, а, наоборот, изрядно позабыл: вот ведь какое психологическое действие произвело Учение на неверного ученика.

В общем, у меня и в мыслях нет «выносить приговор» Учению. И сейчас убежден в плодотворности подобного духовного поиска. Продолжаю считать: чаще всего, да почти всегда, мы живем бессознательно, что и необходимо понять, дабы сознание начало пробуждаться. Не сомневаюсь, частью мы путаем то, что есть дух, со своими чувствами и страстями. И полагаем результатом «собственных заключений» правила, внушенные воспитанием и средой. Потом, подтверждаю, действительно существует методика, способствующая переходу от бессозна-

тельности к сознательности. Наконец, Учение стало хорошей школой, прояснившей мой дух, воспитавшей подозрительное, суровое отношение к собственным чувствам. Учение избавило меня от распространенных заблуждений. Короче говоря, я более всего ценил и сейчас ценю именно элитарность Учения, как, впрочем, и нищезанятия.

Вместе с тем его ненависть к стереотипам граничит чуть не с пренебрежением ко всем достижениям науки. Не отомрет ли тогда за надобностью не только разум, но и просто здравый смысл? Посвященные, из числа противников каких бы ни было разъяснений, выражали, например, свое презрение к лекциям Филиппа Лавастина, большого поклонника Г., именно из-за их доступной для слушателей формы. Как-то, мне кажется, не противоречит утверждению, что Сознание — понятие куда более широкое, чем разум. Существует замечательное высказывание по этому поводу Рене Генона: «Познание сверхчувственного возможно лишь после серьезнейшей теоретической подготовки». Не оттого ли, что Учение такой подготовкой пренебрегает, Генон, как я слышал, отвечал всем своим корреспондентам, спрашивавшим его мнение о Г.: «Бегите как от чумы».

Вернусь к непростому вопросу о, так сказать, переразвитии «я» у некоторых посвященных, к которому приводила «работа» в группах. Они даже и не понимают, чему именно обучаются. Замечая дурное действие, производимое Учением, они, ну что ж, готовы допустить, что и такое возможно — некоторым оно во вред. А тут бы задуматься: не вредны ли вообще данные способы медитации для человека Запада? Кстати, знаю немало индусов, решительно отговаривавших европейцев от занятий, к примеру, тантризмом, которые, по их словам, приведут лишь к безумию. Надо также заметить, что на Востоке Учение Г. не приводит к подобному душевному разладу. Вспомним, что Г. кавказец. Дело не в расе — существует различие культур. Вот, например, в «Бесах» говорится о святом старце с даром пророчества, Семене Яковлевиче, знаменитом не только в «наших краях», но и в окрестных губерниях, даже и в обеих столицах. К этому «святому старцу» обращались самые различные люди — великодушные, грубые, развязные, но в целом они до странности напоминали пациентов Г. Конечно, подобная личность могла прослыть пророком только в западной столице.

Причину тому следует искать исключительно в национальных особенностях, и нигде больше. Посмертный дневник Ирен Ревельотти, в котором она много размышляет об Учении, заканчивается такими трогательными строчками:

«Как заносчивы эти люди (из группы Гурджиева). Следует говорить не «Я существую», а «Он существует».

Ни одному смертному не доверю руководить моей духовной жизнью.

Мое спасение зависит исключительно от моих отношений с Богом. И ни от чего больше.

Только теперь осознала, что люблю Бога».

Это запись от 27 июля 1945 года. Примерно через неделю она умерла в Саланше, куда ее привезли с острым приступом суставного ревматизма. Ей было двадцать пять. Дневник меня поразил. Я ведь познакомился с Ирен незадолго до смерти и помнил очень ранимую, чувствительную девушку, но тогда ничего не знал о ее отношении к Учению. Я прочитал дневник как раз в ту пору, когда сам столкнулся с теми же трудностями, и воспринял его как дружеское послание мне лично, самое драгоценное.

Я уже говорил, что различие рас еще не все: Ирен Ревельотти, русская, с необычайной ясностью выразила то чувство, которое и побуждает порвать с Учением. Как для меня, так и для Ирен Ревель-

отти и многих других истинная духовная жизнь невозможна без диалога и без любви.

Аскеза, ограничение потребностей, безразличие ко всему, самоопустошение — это ли путь к Любви? Хорошо помню предостережение великих мистиков, что существуют чувства, с нею схожие, о которых жалеть не стоит. Но отказываясь от подобных, только бы не вытравить из души вообще способность любить.

Псчти не знаю среди оставшихся верными Учению тех, кто утверждает, что, следуя ему, постепенно обретает ожидаемое. Не осуждаю их. Для меня лично Г. явился в одном лице спасителем и *искусителем*. Вот как можно сказать: я благодарен Г. за то, что он вынудил меня вести борьбу с его влиянием, каковая расширяла мои представления о действительности. Некоторые посвященные отошедших от Учения считают попросту предателями (а с врагами — только ударом на удар). А ведь, может быть, именно воспитанная Учением ясность и трезвость сознания и побудила нас от него отойти. Почему бы, собственно, нет? Это естественно. Учителя сознательно вызывали на бунт своих учеников. Я понимаю «новообращенных», считающих, что в том и состоит верность «старикам», чтобы решиться на勇ное и дерзкое духовное творчество. Они ведь уверены, что и последние себя ему посвятили.

Все же, мои прежние сотоварищи, которые с легкостью попрали мораль, культуру, цивилизацию, религию, которых лишь забавляют призывы к здравому смыслу, вас-то отчего оскорбил отказ от Учения, что само отказалось от всего на свете? Вам ли не понять, что следует освободиться и от этой школы освобождения? Знаю, вы отвергли и логику тоже. Только хочу напомнить, что вы так же не вправе судить нашу духовную жизнь, как и мы — вашу. «Область духа, — по словам Генона, — всегда таит частицу невыразимого». А Лао-Цзы высказался еще рече: «Знающий — не говорит, говорящий — не знает».

\* \* \*

Так же, как и Поль Серан, не могу спокойно вспоминать Ирен-Кароль Ревельотти, умершую в двадцать пять лет. И все же обязан рассказать здесь ее историю, совсем, поверьте, не собираясь заводить скандал.

Во время немецкой оккупации Ирен заболела туберкулезом. Лечилась она в Верхней Савойе, на плоскогорье Асси.

На этом заснеженном целом полугодие плоскогорье собирались тысячи туберкулезников, чтобы выздороветь или умереть. Когда, провалявшись все утро да еще отдохнув после обеда, выходишь на прогулку, постоянно встречаешь молодых людей и девушек — целые цветники. У всех — щеки пухлые, лица розовые, глаза сияют. Как-то я несколько недель гостил у знакомой — тамошнего фармацевта — и наблюдал с балкона эту толпу, вроде бы полную жизни, чувственную. Но только с виду — каждый стремился подавить приступы отчаянной тоски. Постоянно слышался смех, но в нем сквозил дикий ужас. Глажу на гуляющих: веселые, выглядят бодро, а мысли только о температурном листке. Когда же они, укрывшись одеялом, остаются наедине с собой, находит иступление; в них бурлят и надежда, и отчаянье, и любопытство, и, конечно, ужас перед мигом, когда все эти монахи покинут обитель их бранных тел. Мы же, граждане страны жизни, уверенные в своем долголетии, пьем кофе, слушаем пластинку Шарля Трене и, перегнувшись через перила, вглядываемся, вслушиваемся в звуки этой перемены в школе страха, любимемся девственным окрестным пейзажем, просторным, несуетным.

Фармацевт была ученицей Гурджиева и уже успела познакомиться с Люком Дитрихом и его другом Ланцо дель Васто, как и с Рене

Домалем. В ту пору я уже с трудом переносил разговоры о Гурджиеве, и деликатность гостеприимной хозяйки позволила мне избежать бесед об Учении и спокойно подготавливать курс лекций о сюрреализме для пациентов всех санаториев в округе. Однако к тому времени, когда приехала Ирен, вошли в обычай общие сборы гурджиевских учеников, которые там лечились. Ирен, конечно, повстречалась с Люком Дитрихом, которого недавно прославила книга воспоминаний «Счастье Опечаленных», написанная по совету Ланцо дель Васто. Ирен был двадцать один год. Она мечтала стать писателем. Конечно же, Люк Дитрих произвел на нее большое впечатление: он употребил все свое обаяние. То, что он был знаком с Учением, придавало еще большее очарование их беседам. Он и этим пользовался. Стремился обольстить Ирен любым способом. Потом, несмотря на все предостережения Ланцо дель Васто, бросился в объятия к Гурджиеву. Последний полагал, что земная любовь — лишь искус, и, разумеется, сделал все, чтобы помешать Дитриху (Люк поначалу просто пламенел от страсти, это чувствовалось, только ею жил, верил, что любовь будет вечно) «отождествить» себя со своим влечением, достойным, разумеется, лишь робота, а никак не личности, достигшей «реального осознания действительности». В результате Дитрих согласился, что освобождение от любви — также род «работы», каковой себя и посвятил. Но при этом он обожал втираться в чужие сердца и сразу там обжиться, как «у себя дома». Чтобы соблазнить Ирен, пылкую и неопытную девушку, большого труда не требовалось.

Как все девушки и молодые люди ее возраста и душевных свойств, Ирен не разбиралась ни в окружающем мире, ни в жизни, ни в людях; не избавилась она и от юношеского одиночества, которое усугубилось еще и войной. Ужасы войны породили недоверие к старшему поколению, ко всем его ценностям, верованиям, надеждам и образу жизни. Ирен была погружена в себя. Писала ли она, рисовала — это было лишь выражением ее одиночества, скорее вынужденного, чем добровольного. И при этом сама же ясно ощущала, что ее мысли, картины, писания лишены какой-то основы. Так вот, Дитрих возвестил ей от имени Учения, что существует возможность обрести основу, то есть истину и совершенную красоту. Просто рай сулил его божественный глагол — избавление от одиночества в том числе. И все это в таинственном, романтическом ореоле. Да и внешность у него была хороша. В прошлом много романов, легкомысленный и чуткий, серьезный и лукавый, стремительный и нежный, окруженный друзьями и влюбленными женщинами.

Получилась гремучая смесь: тяжелая юность, затянувшаяся из-за войны, природная интровертность, писательское честолюбие, вдохновлявшее даже больше, чем возможность «обрести истину в духе и теле», размышления о жизни и смерти, порожденное болезнью, свойственное всему поколению стремление вырваться из повседневности и, наконец, нежная привязанность к Люку Дитриху. Можно было не сомневаться, что Ирен в конце концов отбросит последние сомнения.

На Асси Дитрих познакомил Ирен с некоторыми посвященными, например с Рене Домалем, восхитившим ее своими познаниями в восточной философии. Вернувшись в Париж, она окунулась в занятия со свойственным ей неистовством.

Но вскоре нехорошо себя почувствовала. Те же попытки бунта, чувство безысходности, что описал Пьер Мине в своем свидетельстве, которое вы только что прочли. В предсмертном письме Люк Дитрих советовал ей не так изнурать себя «работой». Она чувствовала себя совсем разбитой, растерзанной. Иногда ее охватывал страх, но она все же продолжала занятия в память о нем. Умер и Рене Домаль. Это ее подкосило, она колебалась, собиралась бросить «группу». Но как

раз в тот период, когда Ирен мучили сомнения в искренности некоторых гурджиевских учеников, подружившихся с ней, да и в своей способности стать, как ей посулили, «сверхчеловеком», один из посвященных предложил познакомить ее с Гурджиевым. Раньше они не были знакомы. Как раз его личности сомнения не коснулись, ведь как им восхищались Дитрих и Домаль! Подлинный Учитель, *Тот, кто открывает дверь*. Ирен получила приглашение на обед на улицу Колонель-Ренар. Вот тут-то события и начнутся. Конечно же, она на пороге «иной жизни».

Обед проходил как обычно. И вдруг старик обратился к ней по-русски, чтобы никто не понял, со странной просьбой: когда гости будут расходиться, сделать вид, что она тоже уходит, но тут же вернуться. Ирен была изумлена. Ей стало страшно. Ушла она со всеми, а потом позвонила Гурджиеву из кафе на проспекте Ваграм. Сказала, что мама будет волноваться, поэтому прийти она не сможет. Тогда он в оскорбительных выражениях прямо заявил, что от нее хочет. Лютая распутница! Для нее это было крушение, ужас, полная безнадежность. Наутро она пошла к ученику, представившему ее Гурджиеву, и решительно заявила, что порывает с Учением. Тот в ответ наговорил самых отборных гадостей, дал пощечину и выгнал. Обезумевшая, растоптанная, Ирен поехала на Асси, надеясь там прийти в себя. А через несколько дней с ней совершенно неожиданно случился сердечный приступ.

Вот первые строки ее прощального письма к матери (датированного 9 августа): «Милая мама, я умру, уверена, что Гурджиев навел на меня порчу». Умерла она 11 числа. От какой болезни — неизвестно.

Ее брат (известный джазист) уверяет, что когда он бодрствовал рядом с умершей, вдруг появился Гурджиев. Прежде он его никогда не видел, но *вспомнил*. Один из молодых друзей Ирен обратился к писателю, достаточно известному, так что Гурджиеву было бы трудно отказаться от беседы с ним. Он хотел, чтобы писатель расспросил Гурджиева о смерти Ирен. «Если вы в своем уме, не впутывайтесь в это дело», — посоветовал писатель.

Сразу же после Освобождения Ирен-Кароль Ревельотти начала печататься в газете «Каррефур». Именно главный редактор этого еженедельника Феликс Гарра и его друг Генри Миллер опубликовали дневник девушки в издательстве «Юная Парка».

Несколько страниц из него я позволю себе привести.

## Отрывок из дневника Ирен-Кароль Ревельотти

*Суббота, 27 марта (1942)*

Сегодня побывала у Люка Дитриха, чтобы высказать ему глубокую признательность за книгу «Счастье Опечаленных». Он сказал: «Поговорим как друзья. Не старайтесь произвести впечатление, отбросьте все условности. Будьте самой собой». Мне это почти удалось. Он рассказал об Искусстве, которое должно быть в первую очередь совершенно искренним, а добрым, изящным уже потом. Он говорил о себе, потом обо мне. Убедил продолжить писать. Все это радостно. Мне кажется, что теперь я смогу мыслить уверенней.

Я обязана быть суровой по отношению к себе самой. Взять себя в руки, поставить высшую цель, не удовлетворяться легкостижимым, обыденным. О, как мне хочется действовать, творить! Я на пороге чего-то нового. Наконец я здорова, все пути открыты. Только надо выбрать верный.

РАБОТА  
(И ее тяготы)

Изучать себя — значит изучать свою маску.

Я стремлюсь глубоко познать самое себя.

Я буду вглядываться в себя, чтобы сделать выбор: хочу научиться его делать. **УМЕТЬ ВЫБИРАТЬ.**

Не быть рабом собственных вкусов, уметь выбрать не что нравится, а что необходимо. Понять свое благо.

Как художник, я хотела бы наставлять толпу, а ведь до сих пор я не стремилась обособиться (внутренне) от толпы.

Чтобы научить других понимать себя, владеть собой, надо и мне сперва этому научиться.

Главное свойство детства — способность вырасти. Возврат к детству, но не чтобы насладиться присущими ему наивностью, бестолковостью, детским сюсюканьем, беспричинными всплесками чувствительности. Не впасть в детство, а вернуться в детство — то есть продолжить рост.

СХОДИТЬ В ЦИРК

...посещаю цирк. Цирк — это я. Постараюсь быть одновременно и зрителем, и самим цирком.

Понаблюдаю различных Ирен: искреннюю, лживую, притворщицу, лакомку, ребенка, или строящую его из себя, щедрую, скупую, нежную, бесчувственную, клеймящую, тщеславную, скованную, равнодушную, пылкую и т. д.

Постоянно **ЗА СОБОЙ НАБЛЮДАТЬ.**

А значит, всегда помнить о лучшей из своих индивидуальностей, которой и предстоит стать главной. Стараться себя одергивать.

Научиться одновременно и ненавидеть, и любить себя, то есть полюбить все истинное, подлинное во мне, а не мелкое, хилое, но так стремящееся разрастись. Ненавидеть, отчаянно ненавидеть все рукотворное: жесь, пластмассу и т. д., всю ложь и тщеславие.

*Виши, конец июля 1942*

Разум, хладнокровие, исключительная проницательность — вот что мне поможет добиться цели.

Я теряю мужество.

Перечитывая свои заметки, начинаю понимать, как сильно я переменялась с тех пор, как сюда приехала.

Между прошлым и настоящим — пропасть.

Предпочту ли я так же хорошо владеть собой, как раньше, но зато расстаться со своей нынешней мечтой? Я же совершенно переменялась. Все думаю о том «перерождении», о котором рассказывала мне Анетт К... Она права.

За два месяца я стала взрослой.

*11 июля 1945*

Только бы одолеть свою блаженную дремоту, иначе гибель. Мои мечтания меня погубят, окончательно овладев мозгом — всеми тремя центрами.

Боже, как мне тяжело дается обучение в гурджиевской группе. Все эти люди вызывают омерзение, как и их интересы.

Только его, красавца, я могу вытерпеть. Хочу узнать его даже лучше, чем его знает Ланцо дель Васто.

*Среда, 20 июня*

Бурное объяснение с г. Д. Надо было, чтобы гнойник прорвался. Мне только на пользу. Люк ненавидит самолюбование.

Если «их» цель — меня затравить, то, возможно, в конце концов они (группа Гурджиева) этого добьются.

Даже восхищение лунным светом — тоже самообман.

Пусть я машина, но такая, чья задача — сочетать слова, для которой все на свете — материал для литературы. Потому ненавижу свою неискоренимую лень и тщеславие. Вот главные мои недостатки. Я-то чего добьюсь?

Решусь ли я написать книгу, ведь мне нечего сказать, еще самой всему надо научиться?

Галлюцинация... скажут, что Люк виноват.

Самодовольство губительно, надо быть более требовательной к себе, постоянно себя преодолевать.

Я замечательно умею разглагольствовать. В сущности, я невероятно тщеславна.

С этим скоро будет покончено.

Я назначу срок, когда, наконец, займусь настоящим делом.

Как хорошо, что этим вечером я себя возненавидела.

*1 июля*

Я становлюсь все отрешенней и отрешенней... вскоре избавлюсь от привязанности к чему-либо, тогда и начну писать.

Увы, не слишком ли смахивает на Идиота Достоевского наперник моей скуки, которого я вдруг обнаружила?

«Их» (группа Гурджиева) разглагольствования, упражнения, постоянное умничанье — все не для меня.

У меня нет желаний, одни чувства.

*11 июля*

Группа Гурджиева. Ах, какие же ничтожества, ничтожества!

Сейчас меня одолевают демоны сомнения. Призываю Бога, и нет ответа, нет, мне страшно. Своей клеветой они стремились отвлечь меня от Люка, от Бога. Что же, я действительно мразь, проститутка? Да, я любила. Но то животворящее, жгучее наслаждение смогло бы заменить мне религию? Да, возможно, я не так себя вела. Но ведь и они не лучше.

Почему темно, уже ночь? Меня скрутил приступ, страшней которого не случалось. Тому причина — Бог, нет, моя вера в Бога. Страшно. Совершенная пустота. Одни только зло и лицемерие. Только бы дожидаться СВЕТА.

*26 июля*

Мне кажется, что мое состояние № 1, по преимуществу философическое, — это состояние полного безразличия ко всему. Вялый внутренний монолог, лишь изредка вспыхивающий искорками истины. Состояние № 2 — когда чувствуешь себя личностью. Его достигаешь, мужественно преодолевая бесплодное умствование.

А в каком, интересно, состоянии приходят ко мне миги озарения, когда в порыве восторга и сладкого ужаса так ясно видишь цель пути, а иногда и сам путь? Уверена, что это дополнение к состоянию 1, именно — бесплатное приложение.

Действительно ли я ужасная эгоистка?

Теперь уже не знаю. Неужели все мои влюбленности, порывы, вспышки гнева, восторга, радости и даже общение с Богом — только проявления упоенного и бесстыдного эгоцентризма?

27 июля

Я крестьянка. Связана с землей. Оттуда вышла, туда вернусь.

О Господи, взывая в пустоту, я все-таки дождусь ответа.

Мое рвение искренно.

Я буду Тебя молить, молить. Как прежде, всю себя посвящу Тебе, если такова Твоя воля. В первую очередь я принадлежу Тебе, а ни кому другому, ибо Ты единственный знаешь, кто я такая, что заслужила, и, придет час, воздашь по заслугам.

Как заносчивы эти люди (из группы Гурджиева). Следует говорить не «Я существую», а «Он существует».

Ни единому смертному не доверю руководить моей духовной жизнью.

Мое спасение зависит исключительно от моих отношений с Богом. И ни от чего больше.

Только теперь осознала, что люблю Бога.

Я сплю в сердцевине мира.

*Перевод с французского А. Давыдова*





## Рене Генон СИМВОЛИКА КРЕСТА

### Главы из книги

Каких-нибудь двадцать лет назад редкие упоминания о Рене Гено-не в российской (тогда еще советской) прессе непременно дополнялись бранными эпитетами в «мракобесии» и «фашизме», хотя он, в общем, бесконечно далекий от политики человек, не упускал слу-чая саркастически обмолвиться о «пресловутой арийской теории» или «фантастической и смехотворной интерпретации свастики как символа антисемитизма». «Зловещая тень прошлого» — вот какой была наиме-нее ругательная оценка великого мыслителя в устах отечественных «ис-следователей», которые, судя по всему, не утруждали себя чтением его работ. Меняются времена — меняются оценки. В послесловии к первой книге Генона, вышедшей недавно на русском языке, («Кризис современ-ного мира», М., 1991) сказано, что «Генон для России сегодня является не просто одним из западных авторов, которых мы открываем после де-сятилетий изоляции, Генон — это последний шанс России». Вот так, не больше, не меньше. Крайность оборачивается крайностью, бездна при-зывает бездну. Попробуем же, не вдаваясь в такого рода перегибы, ска-зать несколько слов об этом необычном, даже по меркам нашего столе-тия, человеке и о его трудах.

Он родился в 1886 году во французском городе Блуа, в благополуч-ной семье архитектора Жана-Батиста Генона и при крещении получил имена Рене-Жозеф-Жан-Мари, а завершил свой земной путь в 1951 го-ду, в Каире, правоверным мусульманином по имени Абд-эль-Вахед-Яхья, что значит «Служитель Единого». Двадцать лет он прожил в Египте, в стране, пропитанной традициями гностиков, где до сих пор плуг феллаха выворачивает из земли сосуды с тайными писаниями ран-нехристианских сект. А ислам принял еще во Франции, в 1912 году, — его духовным отцом был известный арабский богослов шейх Абд-эр-Рахман-эль-Кебир, памяти которого он, кстати сказать, посвятил один из основных своих трудов «Символика креста» (1931), две главы из которого впервые печатаются на русском языке в этом номере «Согла-сия».

Путь Генона к подножию пирамид, в страну тысячелетней мудро-сти, пролегал через путаницу тогдашних «окультуристских» учений; одно время он сблизился с «мэтром» чернокнижия Жераром Анкоссом, более известным под псевдонимом Папюс. Этот модный шарлатан с бородой Черномора и ухватками деревенского колдуна, автор многочисленных книжонок, переполненных инструкциями по части вызывания духов, именовал себя главой «Мартинистского ордена», а также состоял чле-ном почти всех сколько-нибудь значительных «тайных» обществ Европы. Сумбурные взгляды Папюса произвели на Генона впечатление «меша-нины из плохо переваренных каббалистических, неоплатонических и

герметических понятий, с грехом пополам сгруппированных вокруг двух-трех банальных и чисто современных идей». Впоследствии он даже не счел нужным расправиться с ним на страницах печати, как сделал это со сторонниками спиритизма и теософии. Его реальными наставниками стали люди, принесшие с Востока живые знания еще не угасших духовных традиций: уже упоминавшийся эль-Кебир, а также граф Альбер де Пузурвилль, много лет проведший в Китае и принявший там даосское посвящение, и шведский ориенталист Густав Агели, принявший ислам и имя Абд-эль-Хакк («Служитель Истины»). Они помогли Генону овладеть основами той науки, которую он упорно именовал «метафизикой», то есть учением о надприродных законах бытия и небытия. К их числу относятся понятия о двух аспектах или состояниях Абсолюта — активном и пассивном, первый из которых Генон именовал «бесконечностью», а второй — «вселенской возможностью». «Бесконечность» — это «Бог в себе», «Эйн-Соф» каббалистики, непостижимое и неизреченное Первоначало; «вселенская возможность» — это эманация Абсолюта, излучение Божественного света, порождающее бесчисленные миры, как материальные, так и духовные. Важно подчеркнуть, что многие из освещаемых Геноном проблем были впервые сформулированы в суфийских эзотерических доктринах, хотя параллели к ним известны и в других духовных традициях. Вспомним такие понятия, как «хал» (состояние бытия, человека, Бога), «макам» (стоянка на мистическом пути к Божеству, «ступенька» лестницы Иакова), «кутб» (полюс, вершина духовной иерархии космологического или Божественного порядка). Мусульманской по своему происхождению была и основная идея Генона, которую он разрабатывал в течение всей своей жизни, — идея Традиции, то есть сокровенной и нерушимой преемственности, восходящей, в конечном счете, к «первому из пророков» — праотцу человеческого Адаму. Целью традиционных знаний является восхождение человека по лестнице «состояний» вплоть до встречи и слияния или, как выражался Генон, «отождествления» с Абсолютом. В этом Традиция полностью противоположна «мирским псевдонаукам», основанным не на Откровении, а на опыте, и стремящимся — самое большее — улучшить материальные условия жизни человека в этом мире, не задаваясь и тенью вопроса об участи, которая может ждать его в иных мирах. Исторический процесс, согласно Генону, состоит в неуклонном помрачении первоначальных истин, на смену которым приходят живые теории прогресса, всеобщего равенства и обоготворения человека, приводящие, в конце концов, к торжеству отнюдь не человеческих, а поистине сатанинских идей, к преклонению перед стадным духом, превращению качества в количество и «производству предметов, столь же схожих между собою, как и люди, которые их производят».

Здесь, пожалуй, следует оговориться, что ни мусульманские, ни индуистские, ни даосские истоки «метафизики» Генона не были чем-то вроде набора экзотических специй, которыми можно приправлять любое философское варево, как это имело место в трудах Елены Блаватской и Георгия Гурджиева. «Традицию нельзя избобрести или создать искусственно, — писал Генон, — так можно получить только никчемную и безжизненную псевдотрадицию; подобного рода фантазии простительны разве что оккультистам и теософам». Его учение было не «синтезом науки, религии и философии», а своеобразным с нынешними историческими условиями вариантом «Священной науки» (*Scientia Sacra*), попыткой изложить строгим языком Декарта ее аксиомы, которые в их исходной трактовке уже непостижимы для представителей западной цивилизации. «Каирский отшельник» не только не считал себя философом, но и вообще отказывал философии в праве на законное существование, называя ее «порождением антитрадиционного духа».

«Метафизика» Генона — совершенный гнозис — превосходит и,

мягко говоря, отменяет любые научные и философские системы, ибо является самодавлеющим значением «нечеловеческого» происхождения, тогда как они суть чисто человеческие измышления, страдающие ограниченностью и субъективностью. Учение, касающееся невыразимого, может быть изложено только с помощью символов, служащих подспорьем для созерцания истины. Символическая система, согласно Генону, выше философской, поскольку она по природе своей синтетична, тогда как философия силится постичь реальность, только анализируя, расчленяя ее. Кроме того, философия рациональна, в то время как символика позволяет достичь сферы «супрарационального». Символы — это живая плоть традиционных доктрин; не имеющая ничего общего с мертвой шелухой «научных» построений «символика лежит в основе законов природы, которые, в свою очередь, являются лишь отражением или экстериоризацией Божественной воли». «Реальности низшего порядка, — продолжает Генон, — всегда могут рассматриваться как символы высших реальностей, которые определяют их смысл, происхождение и конец». Символом может служить как абстрактное понятие — число, геометрический знак, ритмическая единица, так и любой объект материального мира, будь то небесное тело, стихия, животное или растение, камень или металл.

Среди традиционных символов, встречающихся испокон веков почти по всей земле, наиважнейшим и всеобъемлющим можно считать символ креста. «Христианство, — пишет Генон, — как бы упустило из виду символический характер креста, рассматривая его лишь как отражение известного исторического факта; на самом же деле обе эти точки зрения не исключают одна другую, однако вторая в известном смысле представляется всего лишь следствием первой. Исторические факты, реальные сами по себе, наполняются более глубоким смыслом, становясь символами высшей реальности. Генон без колебаний прилагает эту формулировку к мистерии Голгофы: «Можно сказать, что Христос принял смерть на кресте именно в силу того символического значения, которым крест, с точки зрения всех земных традиций, наделен изначально».

Согласно этим традициям, крест знаменует собой систему космических координат или, по словам апостола Павла, «широту, и долготу, и глубину, и высоту», — систему, с которой должен отождествить себя человек, стремящийся к само- и богопознанию, чтобы выразиться метафорой того же апостола, «сораспяться Христу». Горизонтальные ветви креста соответствуют неограниченному развитию личных качеств человека, заложенных в нем возможностей и способностей, а вертикальный ствол определяет направление духовной реализации восхождение сквозь иерархический строй высших миров и высших состояний вплоть, как уже было сказано, до слияния с Абсолютом.

В более широком смысле крест — это древний символ взаимодополняющих противоположностей: его вертикальная линия соответствует активному, мужскому началу макро- и микрокосма, а горизонтальная — пассивному, женскому. Понимаемый таким образом крест можно считать схемой перводанного Андрогина, сочетающего в себе оба основных вселенских принципа, а также прообразом Мирового Древа во всех его разновидностях — от Древа жизни и Древа познания из Книги Бытия до каббалистического Древа Сефиритов.

Вариант креста, раскрывающий соотношения между Абсолютом и его эманацией, то есть Космосом, — это свастика, которую в отечественной, да и зарубежной науке стыдливо именуют «соляным знаком», тогда как на самом деле было бы правильно ее говорить о ее «полярной» символике. Центральная точка свастики — это символический «полюс» бытия, а изломанные под прямым углом или скругленные ветви этого знака — совокупность вселенского проявления, динамических сил, по-

рождаемых Абсолютом. В своих трудах Генон нередко уподобляет свастику Полярной звезде, той символической точке, совпадающей с зенитом, вокруг которой обращается все мироздание.

Нет необходимости перечислять остальные значения креста, поскольку читатель сможет сам познакомиться с некоторыми из трактовок Генона. Не все в его учении следует принимать безоговорочно, не нужно делать из него очередного кумира, однако основные положения традиционализма вряд ли оставят равнодушными тех, кто оказался теперь на духовном перепутье. Генон — не последний шанс России, но в наше трудное время, когда выморочные ценности недавнего прошлого обернулись пригоршней тлена, когда, в полном соответствии с известным присловьем, отечественное шило меняется на заморское мыло, было бы полезно вспомнить о крупицах вековечной мудрости, рассеянных по всему свету «каирским отшельником».

## ДРЕВО В СРЕДОТОЧИИ МИРА

Еще один символический аспект идентифицирует крест с тем, что разные традиции описывают как «Древо в средоточии мира». Иногда оно выступает под другими эквивалентными именами. Прежде мы уже показали, что это Древо — один из многочисленных символов «Мировой Оси»<sup>1</sup>. Оно есть то же самое, что вертикаль креста, олицетворяющая ось мира, и, поскольку более всего нас интересует крест, отметим: его вертикаль образует ствол Древа, а горизонталь (или две горизонтали, если речь идет о трехмерном кресте) образует ветви. Древо стоит в центре мира, или, правильнее сказать, — одного из миров, принадлежащего к той сфере, в которой такое состояние существования, как человеческое состояние, обретает свое раскрытие. Так, например, если рассматривать библейскую символику, то Древо жизни, посаженное посередине Земного Рая, будет образом, олицетворяющим центр нашего мира. В наше намерение вовсе не входит исследовать символику Древа во всех ее аспектах, однако некоторые связанные с этой символикой моменты непосредственно касаются темы данной книги.

В Земном Раю росло не только Древо жизни, но и еще одно Древо, сыгравшее не менее важную и, уж во всяком случае, более известную роль — речь идет о Древе познания добра и зла<sup>2</sup>. Сказано, что оно также росло «посреди рая»<sup>3</sup>; как сказано и то, что, вкусив от плода Древа познания<sup>4</sup>, Адам должен был лишь протянуть руку, чтобы сорвать и плод Древа жизни<sup>5</sup>. Во втором из приведенных нами отрывков налагаемый Богом запрет связан с «Деревом посреди Рая», о котором более ничего не сказано: но если мы обратимся к другим местам текста, где упоминается этот же запрет<sup>6</sup>, станет ясно, что имеется в ви-

<sup>1</sup> «Le Roi du Monde», ch. II; о Мировом Древе и различных его формах см. также: «L'Homme et son devenir selon le Vedanta», p. 68. Среди сочинений мусульманских эзотериков весьма известен трактат Мохаэддина ибн Араби, озаглавленный «Древо Мирово» (Шаджаратул-каун).

<sup>2</sup> О растительном символизме и связи его с Земным Раем см.: «L'Esoterisme de Dante», ch. IX; «Le Regne de la Quantité et les signes des Temps», ch. XX.

<sup>3</sup> Быт., 3, 9 [«И произрастия Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на види хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла»].

<sup>4</sup> Быт., 3, 3 [«Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть»].

<sup>5</sup> Быт., 3, 22 [«И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»].

<sup>6</sup> Быт., 2, 17 [«А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»].

ду Древо познания добра и зла, и в обоих случаях речь идет именно о нем. Вероятно, это сближение, основанное на отождествлении, и стало причиной того, что символика двух деревьев оказались тесно переплетены между собой, фактически — многие из эмблематических обозначений Мирового Древа имеют черты и Древа познания, и Древа жизни; однако остается необходимым объяснить то, на чем это сближение основано.

Природа Древа познания добра и зла двойственна, о чем говорит само его имя, ибо в нем соединены два термина, которые, воистину, не дополняют друг друга, а друг другу противоположны, и можно сказать, что *raison d'être* данных понятий как таковой в этом противопоставлении заключен, ибо, будь оно преодолено и снято, не может даже возникнуть самого вопроса о добре и зле. О Древе жизни подобного сказать нельзя; наоборот, выполняя функцию Мировой Оси, оно по сути своей означает единое. Соответственно, если обнаруживается, что так или иначе Древо выражает идею двойственности, то в данном случае подразумевается Древо познания, пусть в остальном этот символ, несомненно, имеет все черты Древа жизни. Именно так обстоит дело с Сефирическим Древом еврейской каббалы. Оно действительно соответствует Древу жизни, и все же его «ствол левой руки» и «ствол правой руки» выражают идею двойственности; однако между ними возвышается «серединный ствол», в котором достигается баланс двух противоположных тенденций, а тем самым восстанавливается единство Древа жизни<sup>7</sup>.

Прибавим к вышесказанному, что для Адама двойственная природа Древа познания проявляется лишь в момент Грехопадения, уже после того, как стал он «знающим добро и зло»<sup>8</sup> — оказался изгнанным из центра, который есть место Изначального Единства — именно ему и соответствует Древо жизни. И чтобы «охранять путь» к Древу жизни, поставлен у входа в Эдем Херувим («тетраморф», синтезирующий в себе четверицу элементарных стихий) с мечом пламенным<sup>9</sup>. Центр этот для падшего человека недоступен, ибо тот потерял «чувство вечности», которое также есть и «чувство единства»<sup>10</sup>; вернуться к центру, восстановив Изначальное Состояние, и достигнуть Древа жизни — значит вновь обрести «чувство вечности».

Кроме того известно, что и сам крест Христа символически отождествлялся с Древом жизни (*lignum vitae*) — основания для подобного отождествления достаточно прозрачны; однако согласно бытовавшей в Средние века «Легенде о Кресте» он был сделан из ствола Древа познания, и тем самым, послужив орудием Падения, Древо познания стало и орудием Искупления. В этом можно обнаружить связь идеи «падения» с идеей «искупления», которые в некоторых других отношениях друг другу противостоят; и в этом же сближении скрыта аллюзия на восстановление Изначального Состояния<sup>11</sup>; в таком случае, Древо

<sup>7</sup> О Сефирическом Древе см.: «Le Roi du Monde», ch. III. Точно так же в средневековом символизме Древо жизни и смерти имеет две стороны, и плоды одной из них соответственно олицетворяют добрые деяния, а другой — злые. Это Древо имеет явное сходство с Древом познания добра и зла, но в то же время его ствол, который есть Сам Христос, отождествляется с Древом жизни.

<sup>8</sup> Быт., 3, 22. Когда «открылись глаза у них обоих», Адам и Ева прикрыли свою наготу смоковыми листьями. Обратим внимание на то, что и в индуистской традиции Мировое Древо представлено смоковницей; напомним также и о роли, которую это дерево играет в Евангелии.

<sup>9</sup> Быт., 3, 24 [«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»].

<sup>10</sup> См.: «Le Roi du Monde», ch. V.

<sup>11</sup> С этой символикой, очевидно, связаны слова апостола Павла о двух Адамах (I Кор., XV). Изображение у подножия креста черепа Адама, ибо, согласно легенде, Адам был похоронен именно на Голгофе («месте черепа»), есть лишь иное символическое выражение все той же связи.

познания обретает новый облик и в чем-то уподобляется Древу жизни, когда двойственность эффективно реинтегрируется в единство<sup>12</sup>.

В этой связи можно вспомнить «медного змея», которого Моисей «выставил на знамя» в пустыне<sup>13</sup> — он также известен как символ искупления; тогда шест, на котором змея несли, есть эквивалент креста — и в нем также «просвечивает» Древо жизни<sup>14</sup>. Но, как бы то ни было, чаще всего змей ассоциируется с Древом познания; в этом случае акцент делается на губительном аспекте, присущем данному символу: как уже было указано нами в другом месте, нередко символы несут в себе два противоположных значения<sup>15</sup>. Змея, олицетворяющего жизнь, не следует смешивать со змеем, олицетворяющим смерть, как недопустимо неразличение змея, который символизирует Христа, и змея, символизирующего Сатану (пусть даже их комбинаторика дает столь необычный образ, как фигура двуглавого змея — *amphisobena*).

Можно добавить, что связь этих двух противоположных аспектов в чем-то подобна связи между Древом жизни и Древом познания<sup>16</sup>.

Чуть выше мы видели, что дерево, имеющее троичную форму, каковым является Сефирическое Древо, определенным образом может синтезировать в себе и природу Древа жизни, и природу Древа познания, объединяя их в одно целое, поскольку триада может расщепляться на единое и двойственное, суммой которых она является<sup>17</sup>. Порой можно встретиться не с одним деревом, а с тремя, чьи корни переплелись под землей, — тогда среднее из них будет Древом жизни, а два других соответственно будут олицетворять двойственность, присущую Древу познания. Нечто подобное прослеживается и в образе креста Христова, помещенного между крестами доброго и злого разбойников: стоят они по правую и левую сторону распятого Христа, как будут стоять избранные и отверженные на Страшном суде. Ясно олицетворяя собой добро и зло, в то же время эти два распятия, через свою связь с Христом, соответствуют Милосердию и Твердости — двум характеризующим атрибутам, применяемым по отношению к крайним стволам Сефирического Древа. Крест Христа всегда расположен в центре, это место принадлежит исключительно Древу жизни; когда его помещают между солнцем и луной, как на большинстве ранних изображений, об-

<sup>12</sup> Заслуживает внимания тот факт, что крест, в его изначальной форме, присутствует среди египетских иероглифов, и тогда понятийно соответствует «здоровью» (например, в имени Птолемаея «Сотер» [«Спаситель» по-гречески. — *Примеч. перев.*]). Знак этот весьма сильно отличается от *crux ansata* или «скрепленного вервнем» креста (*ankh*), который, в свою очередь, выражал идею «жизни» и часто использовался в качестве символа христианами первых двух веков н. э. Не совсем ясно, имел ли первый из этих двух иероглифов какую-либо связь с образом Древа жизни — и тем самым не привело ли это к соединению двух форм креста в одной, так что значение их стало отчасти идентичным; но, в любом случае, существует очевидная связь между идеей «жизни» и идеей «здоровья».

<sup>13</sup> Чис., 21, 8 [«И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалил змей какого-либо человека] ужаленный, взглянув на него, останется жив»].

<sup>14</sup> Таков же смысл посоха Асклепия; что касается кадуцея Гермеса, то две змеи, видимых нами, соответствуют двойственному значению этого символа.

<sup>15</sup> «*Le Roi du Monde*», ch. III.

<sup>16</sup> Змей, обвившийся кольцами вокруг дерева (или посоха): этот символ встречается почти во всех традициях; позже мы остановимся на том, каково его значение в свете геометрической репрезентации бытия и его состояний.

<sup>17</sup> Упомянутое в одном из пассажей «Астреи» Оноре д'Юрфе дерево с тремя побегами, очевидно, связано с традицией, имеющей друидическое происхождение.

<sup>18</sup> Идентичность креста Мировой Оси с наибольшей полнотой выражена в девизе картезианцев: «*Stat Crux dum volvitur orbis*». Ср. символ мировой Сферы, где полюс увенчан крестом, и тем самым кресту опять же отведена осевая роль (см.: «*L'Esoterisme de Dante*», ch. VIII).

щий смысл сохраняется — этот крест есть действительно Мировая Ось<sup>18</sup>.

В китайской символике встречается дерево, ветви которого попарно сплелись концами, выражая тем самым слияние противоположностей или растворение двойственного в едином. Иногда можно встретить одно такое дерево, чьи ветви расходятся в стороны, чтобы сплестись вновь, иногда — это два дерева, растущие из одного корня и сцепившиеся ветвями<sup>19</sup>. Все они являются изображениями процесса универсальной манифестации: все берет свое начало в едином и к единому возвращается; этому промежутку становления и присуща двойственность, разделение или различие, от которого и проистекает манифестированное существование. Тем самым эти символы, как и рассматриваемые нами ранее, соединяют в себе и идею единого, и идею двойственного<sup>20</sup>.

Существует также и изображение двух отдельно стоящих деревьев, объединенных общей ветвью (этот символ известен под именем «сросшихся деревьев»). В данном случае наличие на общей для двух деревьев ветви отростка ясно говорит о том, что мы имеем дело с двумя дополняющими друг друга принципами и порождаемым ими единством. Это порождение можно считать образным выражением самой универсальной манифестации, итогом единения «Неба» и «Земли» (которые есть дальневосточные эквиваленты Пуруши и Пракрити) или взаимодействием «ян» и «инь» (то есть действием одного из них на другое — и ответным воздействием последнего), мужского и женского элементов, от которых происходит все сущее и которые во всем сущем участвуют; сочетание их в совершенном равновесии дает (или воссоздает) изначального Андрогина<sup>21</sup>.

Но вернемся к образу Земного Рая: от его центра, то есть — от самого подножия Древа жизни, берут начало четыре реки, что текут на четыре стороны света, являя собой проекцию креста на плоскость земного мира и тем задавая план, соответствующий данной сфере человеческого состояния. Эти четыре реки, соотносимые с четверичностью элементов<sup>22</sup> и берущие начало из одного источника, который соответствует

<sup>18</sup> Эти два вида символов особенно характерны для вазовых рельефов ханьского периода.

<sup>20</sup> У дерева, о котором идет речь, трехдольные листья принадлежат сразу двум ветвям, а концы ветвей увенчаны цветами в форме чаши; вокруг вьются птицы, порой те же птицы сидят на дереве. О связи между символикой птиц и древесной символикой в разных традициях см.: *L'Homme et son devenir...*, ch. III. В этой главе приведены различные тексты Упанишад и евангельская притча о горчичном зерне. Если обратиться к примеру, взятому из скандинавской традиции, то мы встретим двух воро-

нов — вестников Одина, сидящих на ветвях ясеня Игдрасил, который является одной из форм Мирового Древа. В средневековой символике опять-таки можно найти птиц, сидящих на дереве *Peridexion*, у подножия же дерева изображен дракон. Имя этого дерева есть искаженное *Paradision*, и то, что оно подверглось такой деформации, кажется весьма странным, разве что с какого-то момента люди перестали понимать его смысл.

<sup>21</sup> Порой вместо «сросшихся деревьев» можно встретить другой символ: две скалы, что соединены вместе похожим образом; в любом случае, между деревом и скалой (являющейся эквивалентом горы) существует тесная связь; и дерево, и скала символизируют Мировую Ось, в большинстве традиций прослеживается и более общая параллель между камнем и деревом.

<sup>22</sup> Каббала соотносит эти четыре реки с четырьмя буквами, составляющими слово PaRDeS.

изначальному эфиру<sup>23</sup>, делят круговую ограду Земного Рая на четыре части (соответствующие четырем фазам циклического развития)<sup>24</sup>. Сама же круговая ограда может рассматриваться как горизонтальное сечение сферы, являющейся как бы образом вселенной<sup>25</sup>.

То, что Древо жизни возвышается посреди Небесного Иерусалима, не требует дополнительных объяснений, особенно в свете сказанного о связи Небесного Иерасулима с Земным Раем<sup>26</sup>: это есть знак деинтеграции всего сущего в Изначальное Состояние, когда конец цикла соответствует его началу — позже мы еще вернемся к этому более подробно. Обращает на себя внимание тот факт, что в символизме Апокалипсиса Древо жизни дает двенадцать плодов<sup>27</sup>, которые могут быть уподоблены двенадцати Адитьи индуистской традиции<sup>28</sup>. Эти двенадцать Адитьи есть двенадцать форм солнца; все они одновременно явятся в конце цикла, обретая таким образом неотъемлемое от их общей природы единство — ведь они есть несколько манифестаций одной единственной неделимой сущности, Адити, которая соответствует единой сущности самого Древа жизни, в то время как Дити соответствует двойственной сущности Древа познания добра и зла<sup>29</sup>.

Прибавим к этому, что в различных традициях образ солнца часто связан с образом дерева, словно солнце — плод Мирового Древа; в начале цикла солнце покидает дерево, чтобы вернуться в конце на то

<sup>23</sup> В традиции *Fideli d'Amore* — это Источник Юности (*fons juventutis*). Его всегда изображают у подножия дерева. Воды этого источника могут быть приравнены к Напитку Бессмертия (*amrita* индуистской традиции). Очевидна связь Древа жизни с ведической Сомой и маздеистской Хаомой (см.: «*Le Roi du Monde*», ch. IV, V). Упомянем также в этом ряду и Росу Света, которая, согласно еврейской Каббале, эмануируется Древом жизни; ею можно воскрешать мертвых (см.: *Ibid.*, ch. III). Важную роль роса играет в герметическом символизме. В дальневосточной традиции встречается упоминание о «Древе Сладостной Росы», растущем на горе Куань-Лунь, часто выступающей как эквивалент горы «полюса» Меру и других священных гор. (Мы сказали, что гора, как и Древо, является символом Мировой Оси.) В соответствии с уже упоминавшейся традицией *Fideli d'Amore* (см.: *Luigi Valli*, «*Il Linguaggio segreto di Dante e dei Fideli d'Amore*») этот источник есть также и Ключ Догмы, символически связанный с идеей сохранения изначальной традиции в духовном центре мира. В ином месте мы указали, что эта соотносительность Изначального Состояния и Изначальной Традиции позволяет понять истинную сущность Священного Грааля, проявляющегося то как Чаша, то как Книга (см.: «*Le Roi du Monde*», ch. V). Можно вспомнить и связанный с христианским символизмом образ агнца, стоящего на вершине горы с Книгой, запечатанной семью печатями; по склонам же горы стекают четыре реки (см.: *Ibid.*, ch. IX). Позже мы объясним соответствия, существующие между такими символами, как Древо жизни и Книга жизни. Иного рода символизм, заставляющий задуматься о весьма любопытных параллелях, может быть обнаружен у некоторых народов Центральной Америки: «На пересечении двух перпендикулярных диаметров, проведенных в круге, водружается священный кактус *пейотль*, или *хикоури*, который символизирует Чашу Бессмертия, расположенную в центре священной сферы и центре мира» *A. Rouhier*, «*La Plante qui fait les yeux émerveillees. Le Peyotl*», p. 154). О четырех реках: ср. также четыре Жертвенных Чаши *Ribhus* в Ведах.

<sup>24</sup> См.: «*L'Esoterisme de Dante*», ch. VIII, где, упоминая «Критского старца», олицетворяющего собой четыре возраста человечества, мы указали на существование связи по аналогии между четырьмя реками Гадеса [то есть Ада. — *Примеч. перев.*] и четырьмя реками Земного Рая.

<sup>25</sup> См.: «*Le Roi du Monde*», ch. XI.

<sup>26</sup> См.: «*Le Roi du Monde*», ch. XI. Сама форма Небесного Иерусалима, имеющего в плане не круг, но — квадрат, свидетельствует о том, что в данном цикле в конце было достигнуто равновесие. О цикле см.: «*Le Regne de la Quantite...*», ch. XX, p. 194—195.

<sup>27</sup> Апок., 22, 2. Плоды Древа жизни есть золотые яблоки сада Гесперид; Золотое Руно аргонавтов также висит на дереве, охраняемом змеем или драконом, — и есть не что иное, как еще один символ бессмертия, которое должен вернуть себе человек.

<sup>28</sup> См.: «*Le Roi du Monde*», ch. IV, XI.

<sup>29</sup> О Дэвах, приравниваемых к Адитьи, сказано, что они происходят от Адити (неделимость); от Дити (разделение) происходят Дайтьи или Асуры. В определенном смысле Адити при этом есть и Изначальная Природа, то, что по-арабски называется Эль-Фитра.



же место<sup>30</sup>. В китайских идеограммах обозначению заката соответствует условное начертание, показывающее солнце, зависшее над деревом на исходе дня (аналогичного концу цикла); понятию темноты соответствует изображение солнца, упавшего к подножию дерева. В Индии можно встретиться с изображением тройного дерева, несущего на своих ветвях три солнца — этот образ соответствует Тримурти.

Двенадцать же солнц дерева, о котором говорилось выше, соответствуют, как и Адитьи, двенадцати знакам Зодиака или двенадцати месяцам года: в некоторых случаях таких солнц десять — в пифагорейской доктрине десять есть число законченности цикла<sup>31</sup>. В целом же различные солнца соответствуют различным фазам цикла; они отделяются от единого в начале цикла и возвращаются к нему в конце, который совпадает с началом следующего по причине непрерывности всех модусов универсального Существования<sup>32</sup>.

## СВАСТИКА

Одной из самых поразительных форм «горизонтального» креста, то есть креста, спроектированного на плоскость, олицетворяющую собой определенную степень существования, является знак свастики.

Этот символ можно приписать непосредственно изначальной Традиции, ибо с ним можно встретиться в самых разных странах, часто весьма отдаленных друг от друга во времени и пространстве. Свастика вовсе не является исключительно восточным символом, как полагают некоторые: она распространена повсеместно, от Дальнего Востока до Дальнего Запада, и даже у некоторых коренных народов Америки зафиксировано ее существование<sup>33</sup>.

Верно то, что к настоящему времени символ свастики сохранили главным образом народы Индии да Центральной и Восточной Азии, как верно и то, что, возможно, в этих регионах истинное значение этого знака известно до сих пор; но даже в Европе свастика вовсе не

<sup>30</sup> Не в последнюю очередь это связано с переходом имен некоторых полярных созвездий на зодиакальные и «vice versa» («Le Roi du Monde», ch. X). В некотором смысле солнце может быть названо «сыном полюса», отсюда приоритет «полярной» символики над «солярной».

<sup>31</sup> Ср.: в индуистской доктрине десять Аватар, что манифестируют себя в течении Манвантары.

<sup>32</sup> Народы Центральной Америки выделяют четыре эры, на которые делится период великого цикла, и каждой из эр управляет свое солнце. Имена этих солнц происходят от четырех соответствующих первоэлементов.

<sup>33</sup> Совсем недавно нам попало сообщение, которое, кажется, ясно говорит о том, что традиции Древней Америки утрачены далеко не столь безвозвратно, как предполагалось раньше. Возможно, сам автор статьи в полной мере этого даже не осознал. Вот одна выдержка из его заметки: «В 1925 году восстала большая часть индейцев Куна. Восставшие убили живших на их земле представителей панамской полиции и основали независимую республику Туле, чей флаг — свастика на оранжевом поле, окаймленном красным кантом. Республика все еще существует в настоящее время» (G. Grandidier, «Les indiens de l'istme de Panama». «Journal des Debats», 22 Janvier, 1929). Особенно подчеркнем тот факт, что свастика здесь ассоциирована с именем Туле, или Тула, являющемся одним из древнейших обозначений высшего духовного центра, но также применимого и по отношению ко вторичным центрам.

исчезла полностью<sup>34</sup>. В древности этот знак встречался иногда у кельтов и в доэллинической Греции<sup>35</sup>, на Западе же в старину он был одной из эмблем Христа и употреблялся вплоть до конца Средневековья<sup>36</sup>.

Всюду мы утверждали, что свастика, по сути своей, есть «знак полюса»<sup>37</sup>. Если сравнить ее с фигурой креста, вписанного в окружность, будет ясно, что в некоторых отношениях это абсолютно эквивалентные символы; однако в свастике вращение вокруг фиксированного центра, вместо того, чтобы быть представлено окружностью, ясно выражено с помощью коротких линий, присоединенных к концам рук креста и образующих с ними прямой угол. Эти линии есть касательные к окружности, означающие направление движения в соответствующих точках. Поскольку окружность олицетворяет собой манифестированный мир, факт того, что окружность эта лишь «предполагается» в данном символе, ясно указывает на то, что свастика символизирует не мир как таковой, а, скорее, воздействие на этот мир со стороны Принципа.

Установив, таким образом, связь свастики с вращением сферы, в том числе и сферы вокруг небесной оси, мы должны увидеть свастику как проекцию на плоскость экватора, а в таком случае центр свастики, как уже объяснялось, окажется проекцией оси на плоскость, ей перпендикулярную. Что касается направления вращения, которое задает эта фигура, то оно важно лишь во вторую очередь и не влияет на основной смысл самого символа. Практически можно встретить как форму свастики, задающей вращение по часовой стрелке, так и обрат-

<sup>34</sup> В Литве и Курляндии крестьяне и по сей день рисуют этот знак на своих домах. Несомненно, им уже неведомо его значение, они видят в нем всего-навсего обережный талисман; однако самое необычное во всем этом то, что они называют данный знак его санскритским именем: *swastika*. Более того, из всех европейских языков литовский в максимальной степени сохранил сходство с санскритом. Нет смысла говорить об искусственном, даже антитрадиционном, использовании свастики германскими «расистами», давшими ей фантастическое и пелепое имя *Hakenkreuz*, или «крюкообразный крест», и весьма произвольно объявившими ее знаком антисемитским под предлогом того, что эмблема эта должна была принадлежать так называемой «арийской расе». Также указали бы мы и на то, что часто даваемое свастике на Западе обозначение «*sigma gamma*» — из-за сходства ее «ветвистой» формы с греческой буквой *gamma* — является ошибочным; знаки, издревле называемые гаммадами (*gammadia*), весьма отличались от свастики, хотя порой, в первые века христианства, на практике их и ассоциировали со свастикой в большей или меньшей степени. Один из таких знаков, известный как «Мировой Крест», образован четырьмя буквами *gamma*, чьи углы указывают на центр, а внутренняя часть этой фигуры имеет крестообразную форму и олицетворяет собой Христа, тогда как четыре гаммы по бокам — четырех евангелистов; тем самым эта фигура эквивалентна широко известному изображению Христа посреди четырех «живых тварей». Встречается и иная конфигурация, когда центральный крест окружен четырьмя гаммами, как бы вписанными в квадрат, углами они повернуты вовне — фигура имеет то же значение, что и предыдущая. Чтобы далее во все это не углубляться, добавим лишь, что знаки такого рода нашли себе место в символике масонских квадратов (форма которых происходит от гаммы) и непосредственно связаны с крестом.

<sup>35</sup> Свастика существует в нескольких формах: особо выделяется свастика с искривленными лапами (подобная двум вписанным друг в друга буквам S); как и ряд других форм, все знаки такого рода испытали влияние иных символов, и мы не будем здесь анализировать их значение. Из этих форм наиболее важен знак, называемый «*clavigerous*», или «ключевая»: свастика: лапы этой свастики образованы ключами. Мы предполагаем затронуть эту тему подробнее в другом нашем исследовании («*La Grande Triade*», ch. VI). Заметим, что некоторые фигуры, сохранившие чисто декоративный характер, как, скажем, знаменитый греческий «меандр» — «ключевой орнамент», ведут свое происхождение от свастики.

<sup>36</sup> См.: «*Le Roi du Monde*», ch. I.

<sup>37</sup> *Ibid.*, ch. II. Указав в данной работе на фантастические интерпретации свастики современными западными исследователями, здесь мы не будем возвращаться к этой теме.

ную<sup>38</sup>. Последнее вовсе не обязательно значит, что эти два знака находятся по отношению друг к другу в какой-либо оппозиции. В некоторых странах в определенные эпохи и впрямь могли возникнуть схизматические движения, встающие в оппозицию к ортодоксальной традиции, когда раскольники, чтобы подчеркнуть свой антагонизм с последней, могли умышленно взять фигуру, имеющую противоположную ориентацию по отношению к символу, используемому в среде, от которой они стремились отмежеваться. Но все это никоим образом не затрагивало сущностное значение, всегда остающееся неизменным. Кроме того, часто две формы свастики можно встретить рядом — и это говорит о том, что они олицетворяют одно и то же вращение — но рассматриваемое как бы с противоположных полюсов. Последнее связано с чрезвычайно сложной символикой двух гемисфер, которой мы не будем здесь касаться<sup>39</sup>.

Мы не считаем возможным подробно осветить все проблемы, которые связаны с символизмом свастики и которые выходят за рамки данного труда. Однако важность этого символа с точки зрения Традиции не позволила нам и вовсе пренебречь рассмотрением этой специфической формы креста.

*Перевод с французского А. Нестерова*



<sup>38</sup> На санскрите для обозначения анализируемого нами символа во всех случаях используется одно, и только одно слово: *swastika*. Термин *sauwastika*, который некоторые применяли по отношению к одной из двух форм с целью отличия ее от другой, подчеркивает лишь, что «истинной» считается только одна форма, а другая — зависящая от нее производная. Что до самого слова *swastika*, то оно происходит от *su asti*, формы благословения, имеющей точный эквивалент на иврите: *ki-tob* — выражение, известное по Книге Бытия. Весьма интересно, что эта формула повторяется в конце каждого сообщения о «днях Творения». Данный факт, как можно предположить, означает, что «дни» приравнены к соответствующему числу вращений свастики, или, иными словами, полному повороту «мирового колеса», вызывающему ту самую последовательность «вечера и утра», о которой упоминает данный текст.

<sup>39</sup> В связи с этим можно указать лишь на зависимость между символами свастики и двойной спирали. Последний весьма важен и обнаруживает тесное родство с дальневосточной символикой «инь» и «ян», которой мы коснемся позже.

### Юрий Стефанов

## СКВАЖИНЫ МЕЖДУ МИРАМИ

Есть в фольклористике такое понятие — «быличка», то есть рассказ о чем-то невыдуманном, «быль»; этот жанр не спутаешь ни со сказкой, ни с легендой.

В отличие от сложного сюжета волшебной сказки, сюжет былички в ее исходном, фольклорном виде обычно весьма прост: он сводится либо к неожиданному вторжению потусторонних сил в так называемую «реальность», либо к случайному или преднамеренному нарушению человеком неписаных законов или границ «иного мира», результатом чего в обоих случаях бывают более или менее плачевные, а то и трагические последствия.

...Покойник после смерти приходит домой, садится за стол, ложится с женой, помогает по хозяйству... Хозяйка поутру хочет растопить печь и с ужасом видит, как в ней сам вспыхивает огонь... В глухом лесу по ночам собираются проклятые, расставляют столы с угощением, пируют, пляшут, поют... Припозднившийся рыбак возвращается в деревню. Ему чудятся детский плач, мычание коров, автомобильные гудки: всем этим звукам подражает леший, в конце концов увлекающий парня в «гиблое место»...

Таковы распространенные темы русских быличек, записанных всего каких-нибудь два десятилетия назад в Восточной Сибири<sup>1</sup>.

А вот — для сравнения — несколько сюжетов, заимствованных из книги китайского писателя XVIII в. Цзи Юня «Заметки из хижины Великое в малом». Содержащиеся в ней тексты принадлежат к жанру «бицзи» («рассказы о необычайном»), который зародился на Дальнем Востоке еще в глубокой древности и обрел особую популярность в эпоху династии Цинь (XVII—XX вв.).

...Умерший оживает, его душа возвращается на белой лошади, которую сожгли во время погребального обряда... Лиса-оборотень не трогает семью, которая мирится с ее присутствием в доме, но когда новые хозяева начинают преследовать лису, дом сгорает... Во время охоты человек попадает на границу иного мира, где царствуют змеи...

Исследователи бицзи подчеркивают, что, подобно русским быличкам, «эти древние рассказы отличало сочетание фантастики и реальности, некое подобие исторической достоверности — имена, фамилии, прозвища персонажей, указание на место рождения и место жительства героев, упоминание времени действия...» Для авторов этого жанра «чудесное являлось мировоззрением, а не элементом художественного вымысла»<sup>2</sup>.

Столь же близки быличкам «Exempla» («Примеры») европейского Средневековья, предельно короткие рассказы, где «на пространстве в несколько (или несколько десятков) строк появляются два мира. Перед нами обыкновенный земной мир, точнее, незначительный, казалось бы, его фрагмент — монастырь, монашеская келья, церковь, ры-

царский замок, дом горожанина, деревня, а то и просто дорога или лес». И вот в этом мире «происходит необыкновенное, чудесное событие. Это событие представляет собой результат соприкосновения, встречи двух миров — земного, где фигурирует персонаж «примера» — монах, крестьянин, рыцарь, бюргер, кто угодно, — с миром потусторонним, не подчиняющимся законам протекания земного времени. Вторжение сил мира иного — добрых или злых — в мир людей нарушает ход человеческого времени и вырывает их из рутины повседневности»<sup>3</sup>.

Не будет преувеличением сказать, что жанры, родственные русским быличкам, искони существовали у всех народов, во всех культурах. Другое дело, что жанры эти не везде и не всегда считались достойными самостоятельного существования. Сообщения о встречах с потусторонним, о необычных или, как принято теперь говорить, «аномальных» явлениях, о благих или зловещих знамениях просто вкрапывались в более «серьезный» контекст в качестве хотя и любопытных, но само собой разумеющихся подробностей, о которых можно упомянуть чуть ли не скороговоркой. Чем, как не типичной быличкой, только сакрального, духовидческого характера, является библейский рассказ (Быт., 28, 19—22) о «страшном месте», где Иаков, «положивший себе изголовьем» древний священный камень, увидел во сне лестницу от земли до небес, по которой восходили и нисходили ангелы? А взять древнеегипетскую «Повесть о потерпевшем кораблекрушение», герой которой оказывается на «острове Змея», «острове Ка», — этот клочок суши можно с разным основанием считать как обломком Атлантиды, так и частицей «запредельного», потустороннего мира. Чем, наконец, как не быличками «шиворот-навыворот», хочется назвать сообщения Геродота и Элиана о поимке царем Мидасом полубога Силеня или апокрифические сказания о том, как царь Соломон пленил Китовраса?

В европейской литературе быличка явилась тем зерном, из которого выросли более изощренные и более ценимые жанры «чудесных путешествий» и «видений» — вспомним хотя бы ирландскую сагу о плавании св. Брандана или «Книгу откровений о кознях и хитростях демонов» франконского аббата Рихалма (1279). «Позже прямое использование видений можно указать в творчестве Кальдерона — это драма «Видение святого Патрика». На рубеже XIX в. визионерское начало использовано Кольриджем в поэме «Кубла-Хан»; затем мы обнаруживаем визионерские моменты в известной книге Т. де Квинси «Видения курильщика опиума»<sup>4</sup>. Развивая эту мысль, можно сказать, что мотивы быличек, «видений» и «чудесных путешествий» легли в основу английского «готического» романа конца XVIII — начала XIX века, оказали несомненное влияние на немецких романистов и могут быть без труда прослежены в творчестве так называемых «черных» фантастов XX века, таких, как Г. Майринк, Г. Ф. Лавкрафт и О. Блэквуд — к последнему мы скоро и обратимся.

Но перед этим стоит остановиться еще на одном вопросе — это вопрос о степени правдоподобности «рассказов о необычайном». Еще совсем недавно собиратели быличек и тому подобных фольклорных жанров объясняли их происхождение крайне просто. С одной стороны, это — «продукт суеверного сознания», с другой — тут замешаны «болезнь, недомогание, вызвавшие состояние бреда или галлюцинации»<sup>5</sup>. Читаешь такие «объяснения» и только диву даешься. Десятки страниц посвящает иной фольклорист природной сметке, наблюдательности и здравомыслию своих информантов, «незаурядных исполнителей», «мастеров устной речи», а когда дело доходит до самого главного — оказывается, что все они либо поголовные лжецы, либо душевнобольные. В этой связи хочется привести свидетельство крупнейшего отечественного ученого-скандинависта М. И. Стеблина-Каменского, который во

время своего пребывания в Исландии, где весьма развит жанр быличек, познакомился с писателем-коммунистом Тоубергом Тоурдарсоном, «сочетающим в себе ребяческую наивность и суеверие с обличительным пафосом передового политического деятеля». «Меня спрашивают, — говорит он, — как я, будучи коммунистом, могу верить в привидения. Но как я могу не верить в них, если я несколько раз видел их так же ясно, как я сейчас вижу вас?»<sup>6</sup>

Сходным образом выражаются «исполнители» сибирских быличек: «Я человек неверующий, а вот приходится верить...»; «Я вот не верю ничему этому, а в жизни вот приходится»; «...это действительно правда, даже и я верю». Но разве понятие «веры» приложимо к проблеме привидений, оборотней, стихийных духов, «гиблых мест»? Можно верить или не верить в Непорочное Зачатие, Троичность Божества или Тайнство Пресуществления, тогда как существование *иного* мира не является вопросом веры: неисчислимы свидетельства говорят о том, что сегодня, как и тысячи лет назад, он постоянно соприкасается с миром повседневности в пространстве и во времени, во сне и наяву, в сознании и в реальности. Разница лишь в том, что теперь его называют не *иным*, а *параллельным*. Все осталось по-прежнему, изменилась лишь терминология: «гиблое место» именуется ныне «геопатогенной зоной», привидение — «микролептонным полем», обыкновеннейший бес — «минус-фемто-объектом» (словечко-то какое!), а всевозможные бесовские наваждения — «контактом», «хронотопом», «полтергейстом». Причем все эти хитроумно переименованные существа и явления обрели в наше время подчеркнута материальный, устрашающе конкретный характер. Если раньше бесы по большей части только морочили, «бланили» людей, «отводили им глаза», то теперь их появление связано с выжженными на земле кругами («ведьмины кольца»), разбитыми оконными стеклами, испорченной электронной аппаратурой, облучением, временным или необратимым помешательством тех, кто стал «объектом внимания» нечистой силы. Размышляя о причинах этой все возрастающей «солидификации», материализации феноменов «тонкого» мира, невольно вспоминаешь великого французского эзотерика Рене Генона и его теорию «трещин в мировой стене». Эта символическая «стена», духовная твердыня традиционных знаний и мистического опыта, испокон веков отгораживала человечество от «тьмы кромешной», не давала силам зла всюю разгуляться в нашем земном, срединном мире. Теперь от этой ограды, подточенной совместными усилиями материализма, с одной стороны, и псевдоспиритуализма — с другой, остались лишь обломки. Мало того: материализм как бы воздвиг над нашей вселенной некий непроницаемый колпак, не дающий нам возможности общаться с высшими мирами, а всякого рода спиритические, теософские и антропософские секты и течения мало-помалу размыли «изнанку» человеческого космоса, продырявили ее тысячами незримых скважин и щелей, сквозь которые к нам просачиваются inferнальные испарения, сгущающиеся и уплотняющиеся при соприкосновении с нашим донельзя плотским, обезбоженным миром. Создается впечатление, что мы сами, по собственной воле, занимаемся магическим «донорством», вымания из преисподней ее недовоплощенных обитателей и давая им возможность обрести известную степень телесности за счет нашей собственной плоти и крови. «Я люблю НЛО!» — восклицает некий С. Юсов, с восторгом отмечающий, что «у многих парапсихические способности просыпаются именно после контактов с неопознанными летающими объектами»<sup>7</sup>.

Может, оно и так, да уж больно дорогую цену приходится платить за эти пресловутые «способности»! Мы расплачиваемся, прежде всего, неспособностью к различению белого и черного, верха и низа, добра и зла, утратой подлинно духовных ориентиров и, наконец, массовым расчеловечиванием, бесовской одержимостью: свято место, как известно,

не бывает пусто, а бесы любят селиться в опустевших, заброшенных, оскверненных святилищах. Человеческая природа, в точном соответствии с природой, ее окружающей, незаметно для глаза трансформируется, превращаясь в зловещий инкубатор, где плодятся выводки демонов.

Все это говорится отнюдь не ради красного словца. Наши предки, задолго до появления НЛО и сообщений о проделках всяческих «барабашек», с поразительной отчетливостью предвидели ход и последствия этого колдовского процесса, этой трансмутации наизнанку, вызванной вторжением «пришельцев» в земной мир и человеческое естество. Чего стоит хотя бы деталь одной из картин Босха, где Космос представлен в виде «выеденного яйца» с приставленной к нему человеческой головой — яйца, в котором пляшут и блудят демоны. Еще более потрясающее описание «инкубации», размножения нечисти в человеческом теле содержит древнерусская «Повесть о бесноватой жене Соломонии», которую, кстати говоря, можно считать своего рода быличкой, но разросшейся, уснащенной массой жутких в своей реальности подробностей, превратившейся в некий лубочный «готический роман». Злосчастная героиня «ощутила у себя в утробе демона лютого, резавшего утробу ее, и была она все время в иступлении ума от жившего в ней демона». «И родила Соломония шесть демонов, а с виду они были синие... В другой раз родила одного демона и потом снова родила двоих демонов. И, рожая, хлеба не ела, но приносили ей невидимые темные те синьцы птичью кровь, и траву, и коренья, и тем ее кормили»<sup>8</sup>. В конце концов только вмешательство святых Прокопия и Иоанна исцеляет бесноватую от «иступления ума» и «прогрызения дьявольского».

Любопытно отметить, что в повести о Соломонии упомянут «некий волхв, человек лукавый и недобрый, окаянник и угодник сатанинский», который и натравил на нее бесов. Здесь налицо зловещая, но закономерная связь между всплеском слепых стихийных сил и вмешательством «волхва», то есть представителя почти угасшей, агонизирующей «языческой» традиции, давно утратившей все свои положительные аспекты и превратившейся в отстойник магической энергии низшего порядка, в «конденсатор» тех inferнальных испарений, о которых только что говорилось. Кудесник, некогда бывший «любимцем богов», обернулся колдуном русских быличек, расстраивающим свадьбы, отнимающим молоко у коров, напускающим змей на покосы, словом, всячески вредящим человеку, беззащитному перед его темными чарами. Остается лишь обратиться к «ведуну», «белому магу», способному обуздать своего зарвавшегося «черного» соперника. Почему именно к нему, а не к священнику, в чьи обязанности испокон веков входило противоборство с нечистой силой, заклятие бесов, короче, все то, что на Западе именуется экзорцизмом? Потому, во-первых, что «исчезновение упомянутых обрядов связано с экономическими и культурными преобразованиями в жизни людей. Например, в Читинском районе нет ни одной действующей церкви»<sup>9</sup>. Если Соломония «с трудом в ум приходила, но неотступна от церкви была всегда», то современным творцам и героям быличек, за отсутствием церкви, волей-неволей приходится взывать к чудом уцелевшим шаманам и бурятским ламам, то есть либо к представителям первозданной Традиции, либо к адептам махаяны, северной ветви буддизма, сохранившим не только всю чистоту своего вероучения, но и способным при случае применить на практике отдельные его положения, касающиеся заклятия злых духов. Во-вторых, потому, что как на Западе, так и на Востоке христианская церковь, сохраняя изначальную внешнюю форму своих догматов и обрядов, превратилась в чисто экзотерическую организацию, неспособную осознать всю ценность вверенных ей духовных сокровищ и, следовательно, воспользоваться ими для защиты своей паствы от ангелов тьмы.

В цикле новелл английского писателя Олджернона Блэквуда (1869—1951), озаглавленном «Случай из практики доктора Джона Сайленса», в роли такого «белого мага», готового прийти на помощь людям, пострадавшим от нечистой силы, выступает «оккультный детектив» Джон Сайленс, чье имя намекает на традиции исихазма, православного мистического учения, проповедовавшего самоуглубление, созерцание и священное молчаличество: на Афоне, среди последователей св. Григория Паламы, его звали бы «Иоанном Молчалником». Автор обрисовывает его таким образом, что невозможно догадаться, к какому же именно вероисповеданию он принадлежит. Порой он появляется в облике католического священника, чем-то похожего на патера Брауна из рассказов Честертона, порой предстает знатоком тайных обрядов древнеегипетской магии («Огонь карающий»), а иной раз — просто «Божьим человеком» с «повелительным, исполненным простоты и благодати лицом, какие некогда можно было встретить на берегах Галилеи». Это «спокойный, самоуглубленный человек», «истинный чтец в душах», обладающий необычайными ясновидческими способностями. «Он неустанно наблюдал, выжидал, обдумывал каждый свой поступок. Невероятным, если не сказать — магическим напряжением ума он умел войти в контакт с самой сущностью тайны». От него исходит чудовищная жизненная энергия, его маленькая фигурка дышит такой мощью и таким величием, что кажется, будто видишь перед собой «исполина, крушителя миров». Короче говоря, Сайленс — это собирательный образ посвященного, достигшего высших степеней духовной реализации: существо, внешне ничем не отличающееся от простых смертных, но таящее в себе немыслимый заряд теургических сил и запас эзотерических знаний. Для таких, как он, принадлежность к определенной конфессии уже не имеет никакого значения. Джон Сайленс, «Иоанн Молчалник», проникся чувством «трансцендентного единства» религий, позволяющим ему постигать каждую из них изнутри, памятуя о том, что все они — лишь ответвления изначальной Традиции.

«Уж не розенкрейцер ли вы, сэр?» — спрашивает у него один из спасенных им простаков, сунувшийся в западную, расставленную силами зла. Сайленс, в полном соответствии со своим именем, отвечает на этот вопрос фигурой умолчания, но вдумчивый читатель вправе предположить, что «оккультный детектив» и впрямь принадлежит к таинственному Братству Розы-Креста, последней подлинно инициатической организации Европы. Не исключено, что «розенкрейцеры действительно обладали сверхъестественными способностями, которые им приписывались, что они действительно были гражданами двух миров: их физические тела были материальными, но они были способны, благодаря полученным ими от Братства инструкциям, функционировать в таинственном эфирном теле, не подверженном временным и пространственным ограничениям. Посредством этой «астральной» формы они были способны проникнуть в невидимый мир Природы и именно там, невидимые для профанов, они обитали в своем храме»<sup>10</sup>. Стоит добавить, что этот надмирный храм розенкрейцеров, обитель «белых светоносных существ», с паразитальной убедительностью воссоздан в последних главах романа Густава Майринка «Ангел Западного окна», где главный герой попадает в «фантастическую лабораторию, по темно-синим стенам которой движется вечный хоровод мерцающих созвездий, а в глубине, в недрах земных, видно, как кипят эссенции алхимического действия...»<sup>11</sup>

Джон Сайленс, подобно вездесущему Хызру мусульманских легенд, появляется всюду, где сгущаются inferнальные испарения, угрожая жизни и рассудку человека. Сам облеченный в незримые духовные доспехи, он всеми силами старается облечь в них и тех, кого взял под свое покровительство: «Упорно внушайте себе, что вы защищены проч-



ным панцирем, выкованным вашим воображением, мыслью, волей, и что в этом панцире вы совершенно неуязвимы для какого бы то ни было нападения»; «Укрепите свой мысленный панцирь», — то и дело внушает он своим подопечным.

Беда неукрепленного, необузданного человеческого сознания в том, что оно, подчас во вред своему обладателю, мечется из стороны в сторону, забредая в такие сферы, откуда ему не выбраться без посторонней помощи: «Что бы ни сделал враг врагу или же ненавистник ненавистнику, ложно направленная мысль может сделать еще худшее», — говорится в Дхаммападе. Персонажи Блэквуда нередко позволяют себе мысленные шатания, опасные еще и тем, что напряженная, страстная, но сбивчивая, а то и сумасбродная мысль способна порождать фантомы, оборачивающиеся против нее самой. Те устрашающе конкретные «мыслеобразы», которые описаны в тибетской «Книге мертвых», могут получить призрачное воплощение не только в потустороннем мире, но и в земной реальности.

Скромный торговец шелками из рассказа «Тайное поклонение» с такой живостью, такой интенсивностью воссоздал свое прошлое, что сразу же вошел в контакт с силами, которые вне этой «игры ума» оставались бы бесплотными тенями минувшего. Школа, где когда-то учился мистер Харрис, давно спалена по приказу старейшин общины, но «двойники, призраки главных участников тех событий, все еще творят свои дьявольские дела». Творят в своем, потустороннем пространстве, в «заколдованном месте», не соприкасающемся с миром людей. Однако достаточно одной неосторожной, опрометчивой мысли, чтобы все эти «Братья-дьяволопоклонники» вновь объявились на пепелище своей «школы». И вот мечтательный торговец остается один на один со сборищем «сильных, духовно развитых, но исполненных Зла людей... которые и после смерти стараются продлить свое гнусное, неестественное существование», в ситуации, весьма напоминающей атмосферу быличек, где по заброшенной деревне «люди ходят, все как будто живые», а в оскверненной, переоборудованной в склад церкви является женщина, «вроде как в саване, волосы длины вот такой». Ожившие призраки, «осененные темной звездой, облеченной всем могуществом духовного Зла», набрасывают удавку на шею мистера Харриса, и лишь мысленно — опять-таки мысленно! — воззвав к таинственному незнакомцу, случайно встреченному им в гостинице, бывший питомец сатанинской школы избавляется от зловещих чар, а заодно и от собственных опасных мечтаний. Стоит ли напоминать, что незнакомцем этим оказывается Джон Сайленс, словно бы заранее предвидевший и ход мысли Харриса, и действия воскресенных этой мыслью поклонников «Брата Асмодея»?

Еще один пример спонтанной материализации «мыслеобраза» приведен в рассказе «Лагерь пса», где дана попытка более или менее вразумительного толкования таинственного феномена, известного под названием «ликантропия», то есть превращение человека в волка. Былички, связанные с ликантропией, известны со времен античности: еще Геродот писал о племени невров, которые «ежегодно на несколько дней обращаются в волков, а затем снова принимают человеческий облик». «Меня эти рассказы, конечно, не могут убедить, — добавляет здравомыслящий автор, — тем не менее так говорят и даже клятвенно утверждают это»<sup>12</sup>. Слухи о волкудлаках, вервольфах, броксолаксах были распространены по всей Европе. «По русским поверьям, вовкулаки бывают двух родов: это или колдуны, принимающие волчий образ, или простые люди, превращенные в волков чарами колдовства»<sup>13</sup>. Слухи и поверья не всегда оставались пустым звуком: так, в 1603 году суд города Бордо приговорил к сожжению Жана и Пьера Гренье вместе с их сообщниками, которые признались, что получили от «Лесного владыки» — всад-

ника в черной одежде и на вороном коне — возможность оборачиваться в волков и в таком обличье рыскали по окрестностям, похищая и пожирая детей<sup>14</sup>.

Если раньше считалось, что человек может «скинуться волком», напялив на себя его шкуру или натеревшись его салом, то современная оккультнистская литература объясняет феномен ликантропии «проецированием эфирного тела или эктоплазмы». Подробное описание такого «выброса» содержится, например, в книге Дион Форчун «Психическая самозащита»: «Один человек, которому я бескорыстно оказала значительную помощь, причинил мне серьезный вред, и я воспылала жаждой мести. Однажды вечером, лежа в постели, я размышляла о своей обиде и во время этих размышлений погрузилась в дрему. Мне на ум пришла мысль отбросить все ограничения и дать волю своему неистовству, подобно древнескандинавскому воину. Передо мной встали древние нордические мифы, мне вспомнился волк Фенрис, ужас Севера. Я немедленно ощутила, будто из моего солнечного сплетения что-то вытягивается, и вот рядом со мной на постели материализовался большой волк... Я чуть-чуть пошевелилась; очевидно, твари это не понравилось, так как она повернула морду и зарычала, оскалив зубы. Тут я по-настоящему испугалась...»<sup>15</sup> Сходный процесс расчеловечивания, только не предумышленный, а, как уже говорилось, спонтанный, описан в «Лагере пса». Джон Сайленс становится свидетелем того, как под влиянием неутоленной любовной страсти некий молодой человек начинает проецировать ее во внешний мир, где она обретает форму твари, похожей на огромного пса или волка: «Сказать, что в человеке проснулся зверь — это не всегда просто метафора». Поясняя природу этого явления, Сайленс говорит, что «двойник» или астральное тело человека при определенных условиях получает возможность воплощаться в иные, нечеловеческие формы, обусловленные теми идеями и желаниями, которые являются для человека основными. Об «астральной проекции» пишет и современный православный богослов Серафим Роуз, подчеркивая негативный характер этого феномена, который «часто вызывается бесами, чья конечная цель — соблазнить и погубить человеческие души»<sup>16</sup>.

Как все это понимать? Как оккультнистский бред, как «продукт суеверного сознания»? Но давайте-ка задумаемся в тот факт, что, вопреки постулатам материализма, все человеческие феномены так или иначе порождаются ничем иным, как сознанием. Ребенок предсуществует в страстных грезах любовников, «Архипелаг ГУЛАГ» смутно мерещился еще Платону и Томмазо Кампанелле, космические ракеты были зачаты воспаленным воображением калужского юрода Циолковского. Понятно, что воплощение идеи — это всего лишь возможность, один шанс из миллиона, и что, может быть, вся необъятность запредельных миров битком набита «абортированными», несостоявшимися помыслами и страстями. Но коль скоро то, что мы называем «материальным миром», существует, нельзя не признать, что наиболее жизнеспособные, всепоглощающие желания все-таки материализуются. И почему бы не предположить, что в отдельных, исключительных случаях материализация эта свершается в обход известных нам «законов природы»? Неужели сгусток «эктоплазмы», не вполне отделившийся от «тела страстей», должен считаться большим чудом, чем новорожденный ребенок, появившийся на свет благодаря тем же самым телесным страстям?

Для Джона Сайленса, как, впрочем, и для самого Блэквуда, все эти вопросы показались бы пустой риторикой. «Я никогда не сталкивался с проблемами, — утверждает он устами своего героя, — не имеющими естественного объяснения. Необходимо только соответствующий объем знаний — и та смелость, которой должен обладать исследователь».

Эту фразу можно считать ключом ко всему творчеству Блэквуда,

лишь по легкомыслию критиков числящегося в рядах «фантастов». За редкими исключениями, его повести и новеллы — отнюдь не «игра воображения» и не религиозные притчи, поданные в форме сказок, как это имеет место, например, у К. С. Льюиса, а своего рода «рассказы о необычайном», магические былички, основанные на личном опыте писателя, приобретенном в тайном обществе «Золотая Заря», и глубоко проработанные в психологическом отношении.

Трудно представить, чтобы та сцена из рассказа «Огонь карающий», где Сайленс и его подопечные выманивают из подземного логова Дух огня с помощью миски, наполненной свиной кровью, могла быть «придумана», «сочинена» даже самым незаурядным «фантастом», наверняка загромоздившим бы ее массой причудливых подробностей, не идущих ни в какое сравнение с подчеркнута приземленными и оттого особенно убедительными реалиями Блэквуда. К тому же в этом эпизоде, при внимательном его прочтении, можно усмотреть рискованную перекличку с легендами о Граале, Священной Чаше, в которую будто бы была собрана кровь Христова. Грааль — «Чаша благословения», пьющий из нее «пьет жизнь вечную». Эманации, исходящие из миски со свиной кровью, — это «тот материал, из которого существа бестелесные могут создавать себе временное обличье». «Припоминая» эту сцену, Блэквуд не мог заодно не вспомнить те строки из Первого послания к Коринфянам (10, 20—21), где апостол Павел говорит, что «язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить Чашу Господню и чашу бесовскую». Писателю-фантасту просто не пришли бы на ум столь глубокие и контрастные параллели: «Чаша Господня» — и «чаша бесовская», миска со свиной кровью; «вечная жизнь», обещанная смертному человеку, — и «временное обличье», обретаемое «бестелесным существом»; «жертва Богу» — и «жертва бесам». Будь герой Блэквуда ортодоксальным христианином, его передернуло бы при одной мысли о таком жертвоприношении, но для посвященного, возвысившегося над буквой Писания, куда важнее оказать непосредственную помощь попавшему в беду человеку, чем соблюсти экзотерические религиозные предписания. «Есть и другие, менее неприятные методы, — оговаривается он, — но они требуют времени, а события зашли, на мой взгляд, слишком далеко, чтобы можно было думать об отсрочке». «Иоанн Молчальник», «Божий человек», одно имя которого наводит ужас на «собратъев Асмодея», не пьет, разумеется, «чашу бесовскую», но ему, целителю человеческих душ, волей-неволей приходится пользоваться «неприятными методами», вышибать клин клином. Кроме того, в данном случае речь идет, собственно, не о борении с нечистой силой, а об укрощении «слепой природной стихии», которая «по своей сущностной природе безлична, но может быть сконцентрирована и одушевлена теми, кто обладает таким умением, а именно магами, для определенных целей, точно так же, как пар и электричество используются практичными людьми нашего столетия».

Вообще говоря, мотивы явной, «классической» бесовщины, звучащие в таких рассказах, как «Тайное поклонение» и «Старинное колдовство», нельзя считать главными в творчестве Блэквуда. Куда чаще он обращается к центральной теме быличек, как бы они ни назывались, — к теме столкновения двух миров, встречи обычного, ничем не выдающегося человека с неведомыми, непостижимыми и непредсказуемыми явлениями и существами. Эта встреча обычно происходит на том участке земной поверхности, который принято называть «заколдованным» или «гиблым» местом, — именно там особенно активно проявляют себя стихийные энергии и олицетворяющие их духи.

В старом Китае существовала (а на Тайване и в Гонконге существ-

вует и по сию пору) учение о силах «фын шуй» («ветер и вода»), своего рода прикладная сакральная топография, позволяющая избегать таких мест и избирать для постройки жилищ и храмов, для полей и пастбищ более благоприятные местности, где гармонично сочетаются силы «инь» и «ян», сплетаются «вены тигра» с «венами дракона», жар уравнивается прохладой, сухость — влажностью, ветер — затишьем<sup>17</sup>. Незавидной считалась участь самонадеянного невежды, который, не посоветовавшись со жрецами, сведущими в этой священной «геобиологии», решился бы поставить дом или распахать участок в том месте, где космическая энергия «ци» утрачивает гармоничность и превращается в круговерть какой-нибудь одной, ничем не уравновешенной и необузданной силы. «Как считали верующие, силы «фын шуй» гораздо чаще оказывали вредное действие, чем благотворное, ибо сами были злонамеренны по своему существу. Но это их вредное действие могло быть приостановлено и даже изменено в благоприятную сторону, если удавалось призвать на помощь другую, высшую силу»<sup>18</sup>. Традиционная китайская наука, в полном соответствии с эзотерическими доктринами Запада, утверждала, что человеческий организм, «микрокосм», во всем аналогичен «телу Земли», «макрокосму», и что оба они пронизаны некими «силовыми полями», по которым струится энергия «ци», «мировой эфир». Попадая под воздействие «гиблого места», человек начинает испытывать недомогание, ничем не объяснимую слабость или, наоборот, повышенное возбуждение, поскольку вибрации «мирового эфира» в его теле перестают соответствовать вибрациям этой энергии в «теле Земли». Иногда подобный разлад достигает такой остроты, что у человека, забредшего в «геопатогенную зону», прорезывается нечто вроде болезненного «шестого чувства», позволяющего ему воочию увидеть обитающих там стихийных духов или хотя бы смутно ощутить их присутствие. Об этом вполне определенно пишет и сам Блэквуд: «Только тем немногим, чьи внутренние чувства обострены каким-то странным глубинным страданием, выпадает на долю нелегкое знание о близости этого огромного мира и о том, что в любой момент сочетание разнонаправленных сил и устремлений может заставить нас перейти его зыбкую границу».

Именно такое случилось с героями рассказа «Ивы», которые бездумно «нарушили границу, вошли в мир, где им быть нельзя». Это произведение целиком построено на символике «фын шуй», в которой прекрасно разобрался Блэквуд, всю жизнь интересовавшийся восточными эзотерическими учениями, особенно даосизмом и мистическими аспектами махаяны. Образы «воды и ветра» омывают и пронизывают весь этот текст, начиная с самых первых страниц: «Дунай шумно гонит свои воды по широким протокам, крушит песчаные берега, унося целые куски вместе с ивами»; «березы просто режут на ветру»; «ветер дул против течения, пытаюсь хотя бы замедлить поток»; «вода поднимется, ветер будет еще сильнее». Попав на крохотный, заросший ивами островок посреди разбушевавшегося Дуная, герои рассказа чувствуют, что они ненароком раздразнили могучие и таинственные силы, держащие их в своей власти. «Смутный ужас» исходит от ивовых зарослей, «сомкнувшихся над водой, словно допотопные чудовища на водопое», они «настойчиво берегут душу самим своим количеством, так или иначе представляя воображению какую-то новую силу, очень большую, а главное — довольно враждебную». «Мы вторглись в чужой мир, — подытоживает рассказчик, — мы сами тут чужие, незваные, нежеланные, и нам, быть может, грозит большая опасность».

Почему действие новеллы происходит именно посреди Дуная, а не Рейна или, скажем, Сены? Во-первых, потому, что Рейн и Сена — реки, так сказать, цивилизованные, «прирученные», вдоль их берегов негде разгуляться силам «фын шуй». Во-вторых, и это очень

важно, потому, что само название Дуная «употребляется как нарицательное для всяких больших и малых рек»<sup>19</sup>: арийский языковой корень «дун-дан» обозначает просто-напросто воду, реку, «шуй». Таким образом, герои оказываются не только посреди реальной реки, но и как бы в символическом средоточии водной стихии, стремящейся размыть, пожрать, растворить в себе все твердые, устойчивые элементы Космоса, начиная с клочка суши, где разбита палатка путешественников, кончая их рассудком. Вода — источник жизни, средство очищения и возрождения, но она же, в своем негативном аспекте, символизирует подсознательные, стихийные порывы души, тягу к саморазрушению и смерти. В работе замечательного русского фольклориста Александра Потебни «О некоторых символах в славянской народной поэзии» есть глава под названием «Вода и ветер». Потебня скорее всего не был знаком с китайским толкованием этого понятия, но тем важнее, что в его заметке «ветер по свойствам, вытекающим из быстроты, сближается с водой»: «ветер приносит человека, ветер и уносит человека, вода тоже»<sup>20</sup>. Крайне любопытно, что в качестве иллюстрации этой формулировки ученый приводит строки из украинской песни, где выражение «заплыть за Дунай», то есть, как поясняет сам автор, «Бог знает куда», значит «погибнуть».

А причем тут ивы? В старом Китае это дерево служило символом необыкновенной живучести, долголетия и, в конечном счете, бессмертия. В Европе же, как Западной, так и Восточной, с ивой связаны мотивы печали («плачущая ива»), смертной тоски и, наконец, самой смерти: об иве поет перед гибелью несчастная Дездемона, в ее зарослях застревает тело утопленницы Офелии. Ива — воплощение вечной жизни стихий и в то же время напоминание о смертной участи человека. «Только стихий бессмертны!» — в отчаянье восклицает один из героев рассказа, очутившись среди «киного, чуждого мира, где обитают только ивы да души ив». «Завеса между мирами истончилась здесь; через это место, как через скважину, глядят на землю незримые существа. Если мы задержимся здесь, они перетащат нас за эту завесу, лишат того, что мы называем «нашей жизнью». Духи стихий, населяющие это «заколдованное место», стремятся расчеловечить путников, увести их «дорогой ветра и воды» в свой запредельный мир, вернуть в элементарное, стихийное состояние, приобщить к бессмертию природных сил ценой отказа от человеческого «я»: «Это гораздо хуже смерти, тебя даже не уничтожат, ты изменишься, станешь другим, потеряешь себя».

Обезбоженный человек, как об этом уже говорилось в начале статьи, — отличный объект для расчеловечивания. «Братья Асмодея» силятся превратить мистера Харриса в «живого мертвеца», канадец Сангри из новеллы «Лагерь пса» сам подсознательно стремится высвободиться из своей человеческой оболочки, принять обличье хищного зверя, полковник Рэгги из «Огня карающего» вполне подготовлен к тому, чтобы в него вселился дух древнеегипетского бога Гора. В тех рассказах Блэквуда, где не участвует «Божий человек» Джон Сайленс, подобные метаморфозы нередко доходят до своего логического конца.

Околдованный чарами Вендиго, зловещего демона лесной канадской глухомани, теряет рассудок и личность, а затем гибнет физически охотник и проводник Жозеф Дефаго — гибнет потому, что не пытается противостоять зову темной стихии, а сам бросается в ее недра. Ничего, «достойного публичного упоминания», не остается от духовного вампира мистера Фрина из рассказа «Превращение». «Этот человек владел даром молча подчинять себе и высасывать из тебя все силы, мгновенно усваивая их... Он жил, присвоив сгустки жизненной энергии других». Но оказавшись однажды рядом со своим подобием, «Запретным Местом», безобразным клочком земли, где не росло ни цвет-

ка, ни дерева, «воплощением смерти среди пышного цветения жизни», он становится легкой добычей для этой изголодавшейся пустоши: она мгновенно опустошает его, превращает в пустую телесную оболочку, а сама, напитавшись человеческой энергией, расцветает и начинает плодоносить.

Тема «заколдованного места», «скважины между мирами» разработана Блэквудом с поразительным знанием дела и большой психологической убедительностью. Скважиной может служить не только островок среди разбушевавшегося Дуная или подземелье, где упрятана оскверненная египетская мумия, — она разверзается и в традиционном для английской литературы «доме с привидениями» («Женщина и приведение», «Он ждет»), и в спальнях опустевшей турбазы на берегу мрачного озера («Заколдованный остров»), и даже в подсознании отдельного человека, наделенного памятью о своих былых воплощениях и редкостной способностью прозреть за обманчивой видимостью вещей их внутреннюю, потаенную суть («Безумие Джона Джонса»): «Он всегда с трепетом осознал, что стоит на пороге иного измерения, где пространство и время — лишь формы сознания, где древние воспоминания открыты взгляду, где обнажены все силы, влияющие на человеческую жизнь». Герой этого рассказа, скромный страховой агент, «чья душа не затронута грязью, шумом и низкой суетой внешнего мира», на самом деле является «безличным инструментом в руках Невидимого, которое распределяет справедливость и подводит баланс в расчетах», орудием Кармы, «огромной фигуры под покрывалом, с обнаженным мечом и сверкающими глазами, склоняющейся к нему в суровом одобрении». Подобно своему тезке Сайленсу, духовидец Джон Джонс «никогда не чувствовал в себе ни малейшей склонности к возрождающемуся дешевому оккультизму» и не интересовался никакими религиями — ведь все они являются лишь внешней оболочкой того врожденного и невыразимого словами тайного знания, которое составляет их сердцевину и основу. Не будучи настоящим посвященным и не обладая, подобно Сайленсу, сокровищницей доктринальных эзотерических данных, он с известной точки зрения выглядит фигурой более героической и трагической, чем «Иоанн Молчальник». Ведь если Сайленс, облеченный в «неуязвимый мысленный панцирь», просто не может не выйти победителем из любой схватки с силами мрака, то Джонс, не задумываясь, жертвует собой, чтобы один-единственный раз восстановить космическую справедливость, навсегда замуравить очередную «скважину между мирами».

Можно предположить, что оба эти образа являются чем-то вроде «двойного автопортрета» самого Олджернона Блэквуда. Первая «створка» этого воображаемого диптиха — отражение личности писателя до вступления в общество «Золотая Заря», когда его врожденные метаспсихические способности пребывали в неоформленном, латентном состоянии, а на второй запечатлены результаты духовно-алхимического процесса, закрепляющего и «кристаллизующего» эти способности, превращающего веру в уверенность, интуицию — в знание, чувства и страсти — в самоотрешенное созерцание. Один из двойников Блэквуда сознает, что «все его чувственные восприятия есть по существу не что иное, как неудачное воспроизведение той истины, которая скрыта таинственной завесой, — истины, к которой он всегда стремился и которой ему лишь изредка удавалось достичь». Другой же его двойник, «применяя свои непостижимые методы и способы», мгновенно входит в контакт с силами, проявляющимися в необычных феноменах, и по собственной воле поднимает или опускает «завес истины», ибо ему, говоря языком алхимии, дана власть «вязать и разрешать».

Но существует и третья, главная, на мой взгляд, ипостась автора

и обоих его персонажей. Это ребенок, бесстрашно исследующий «Дальние покои» родительского дома и собственного подсознания, где продолжают призрачное существование его предки, или тайком «подкармливающий» мертвыми птичками и зверюшками изголодавшееся, проклятое всеми «Запретное Место».

«Большинство людей,— пишет Блэквуд,— проходит мимо приоткрытой двери, не заглянув в нее и не заметив слабых колебаний той великой завесы, что отделяет видимость от скрытого мира первопринципов». В детстве эта завеса кажется прозрачной. Незамутненный суевериями и догмами взгляд ребенка свободно проникает туда, куда лишь изредка осмелится посмотреть взрослый. Сны для ребенка столь же реальны, как окружающая его действительность, а действительность готова в любой миг обернуться хорошим или дурным сном. То же самое можно сказать и о «потусторонних» явлениях и существах: они предстают детскому сознанию в той степени реальности и материальности, какой оно само решает их наделить. Если Дух, согласно воззрениям Платона и Аристотеля, является перводвигателем Космоса и его формообразующим началом, то ребенок, как говорится в известной притче из ницшевского «Заратустры»,— это наивысшее воплощение Духа: «Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения». «Его не жалят ядовитые насекомые, не когтят хищные звери, не трогают птицы-стервятники»,— сказано в Дао дэ Цзине.

Мальчик Тим из рассказа «Дальние покои» попадает в «Галерею Кошмаров» — под таким названием в его детском воображении предстает все та же «скважина между мирами». Попадает — и ничему не удивляется: ведь он уже бывал здесь прежде, во сне, да и сейчас ему не совсем ясно, наяву или в сонных грезах дразнит он жутких обитателей Галереи. Пересильная страх, «он повернулся лицом к преследующему его Кошмару. И страх пропал. Безмерный ужас исчез. То был всего лишь кошмарный сон. Осталась одна комедия. Он улыбнулся».

Все эзотерические доктрины утверждают, что, в отличие от абсолютной и независимой от человеческого сознания реальности высших духовных сил, «ангелы мрака» в известной мере суть порождения наших собственных иллюзий, страстей и греховных помыслов, хотя, разумеется, это не мешая им вершить свои козни так, словно они наделены самостоятельной и самодовлеющей формой бытия.

Беда в том, что, как уже неоднократно подчеркивалось, мы сами, бездумно жертвуя своим человеческим «я», помогаем «выходцам из скважин» доволотиться и окончательно материализоваться. Мы забыли «святое слово утверждения», утратили вместе с детской невинностью детскую ясность и прямоту взгляда — именно поэтому нас всю жизнь преследуют Кошмары, кишашие уже не только в «гиблых местах», но и по всей нашей планете,— Кошмары, к которым мы не смеем повернуться лицом.

Будь иначе — «былички» Олджернона Блэквуда показались бы нам не «творческим отчетом» о посещении *параллельных* миров, а всего лишь кошмарным сном. И мы, вместе с бесстрашным Тимом, улыбнулись бы.

## Примечания

<sup>1</sup> Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1987. С. 7.

<sup>2</sup> Цзи Юнь. Заметки из хижины Великое в малом. М., 1974. С. 32.

<sup>3</sup> Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. С. 19.

- <sup>4</sup> Грибанов А. Б. Заметки о жанре видения на Западе и Востоке // Восток—Запад. Вып. 4. М., 1989. С. 65.
- <sup>5</sup> Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. С. 392; 396.
- <sup>6</sup> Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л., 1967. С. 170.
- <sup>7</sup> Не может быть: Альманах чудес, сенсаций и тайн. Вып. 2. М., 1991. С. 166.
- <sup>8</sup> Звездочет: Русская фантастика XVII века. М., 1990. С. 187—200.
- <sup>9</sup> Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. С. 393.
- <sup>10</sup> Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение Массонской, Герметической, Кабалистической и Розенкрейцеровской Символической Философии. Новосибирск, 1992. С. 510—511.
- <sup>11</sup> Майринк Г. Ангел Западного окна. Готовится к изданию в Санкт-Петербургском издательстве «Северо-Запад».
- <sup>12</sup> Геродот. История. Л., 1972. С. 213.
- <sup>13</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1869. С. 530.
- <sup>14</sup> Dumas F. R. Dossiers secrets de la sorsellerie P., 1971. P. 129—138.
- <sup>15</sup> Форчун Д. Психическая самозащита. М., 1993. С. 45—46.
- <sup>16</sup> Серафим Роуз (Иеромонах). Душа после смерти. М., 1992. С. 107.
- <sup>17</sup> Edde G. Géobiologie chinoise le feng-schui // Le chant de la Licorne. № 23. P. 18.
- <sup>18</sup> Сихменов В. Я. Китай, страницы прошлого. М., 1987. С. 51.
- <sup>19</sup> Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2. М., 1869. С. 220.
- <sup>20</sup> Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 330—331.

---

## К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» №№ 1—8 за 1991 год, №№ 1—12 за 1992 год, а также №№ 1—12 за 1993 год. Цена договорная.

Журналы можно приобрести в редакции по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

---



## К сведению читателей

В журнал «Согласие» № 2 за 1994 г. по независимым от редакции причинам  
вкрались досадные опечатки — особенно их много в цитатах на стр. 216.

Напечатано:  
3 стр. св. Му-ы  
20 стр. св. не позабыл, е, я уверен  
18 стр. сн. похорнили  
2 стр. сн. блистаэ

Следует читать:  
Музы  
не позабыл, о, я уверен  
похоронили  
блистал

Типография и редакция приносят читателям свои извинения.

---

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке  
наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.

---

---

### ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

---

---

### АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28  
Телефоны: гл. редактор — 235-15-56,  
редакция — 235-14-40

Технический редактор *С. М. Сурикова*

Корректор *Г. С. Сидорова*

Подписано к печати 16.06.94. Рег. № 01872 от 10.12.92.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Физ. печ. л. 14,5. Тираж 3000 экз. Заказ 1544. Цена договорная.

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ,  
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403



## SUMMARY

The concept of the «esoteric» issue of the *Soglasye* as a whole, up to the Mad Edgar's Raven as a device (see p. 3), was worked out by Vladimir Kryukov and Yury Stefanov. The former has also contributed his essay «The Fantastic Reality of Medieval Grimoire» (a preface to the issue) and the latter his poem «The Octopus Horse» and his article «The Narrow Passages to the Other Worlds» (an afterword to the same).

There is also a selection of poems by Yury Solovyov entitled «The Witnesses of Hecate» as well as «The Apocryphical Dream of an Angel» by Alexandr Davydov and a rather extravagant portrayal of Andrea Verrocchio (visiting the Moscow Museum of Fine Arts) by Alexei Shishkin.

We continue the publication of short stories by Georgy Ivanov (1894—1958). This portion is mystic — alike the rest of the issue — namely: «The Biron's Stick», «The Fourth Dimension» and «The Bride in the Mists».

Gustave Meirinck (Austria), the author of *Golem*, is represented by his last novel «The Angel of the West Window»; the Rumanian philosopher, prose writer and great authority in occult sciences, Mirtcha Eliade, by his short story «Dr. Honigberger's Mystery», i. e. a mystery of Shambalah. Three authors represent Great Britain, the birthplace of Gothic genre; they are Algernon Blackwood, Dylan Thomas and Arthur Machen.

As to history of materia esoterica, there are Louis Pauvel's recollections of Georgy Gurdjiev (1877—1949) and «The Symbolism of Cross» by Rene Guenon (1886—1951).

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1994, № 3

# РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,  
Г.П.Алференко, В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков